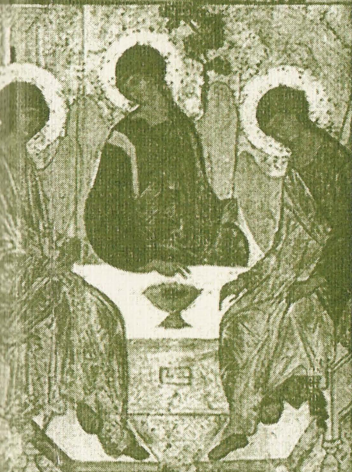




ПОЛЯКИ И РУССКИЕ:

**взаимопонимание
и
взаимонепонимание**



ПОЛЯКИ И РУССКИЕ:

**взаимопонимание
и
взаимонепонимание**

*Эта книга издана при финансовой поддержке
Сената Республики Польша,
Фонда «Помощь Полякам на Востоке»
и при организационном содействии
Посла РП в России Анджея Залуцкого,
Советника по науке и культуре Посольства РП
Влодзимежа Яна Сандеукого
и Директора Польского института
при Посольстве РП в Москве,
Советника Посольства РП Марека Зелиньского*

*Авторский коллектив выражает
глубокую признательность
этим польским организациям
и этим Дружьям Полякам,
воспринимая такой жест
как свидетельство польско-российского
взаимопонимания*



Редакционный совет:

А. В. Липатов (Институт славяноведения РАН, РГГУ, Москва),
А. Менцель (Варшавский университет, Варшава),
Я. Прокоп (Педагогическая академия, Краков),
Л. Суханек (Ягеллонский университет, Краков),
И. О. Шайтанов (РГГУ, Москва)

Составители

А. В. Липатов, И. О. Шайтанов

Технический секретарь

Н. Ю. Стефанович

Российский государственный гуманитарный университет

—♦—♦—♦—♦—♦—
Российская академия наук
Институт славяноведения

—♦—♦—♦—♦—♦—
Польский институт при посольстве РП в Москве

ПОЛЯКИ И РУССКИЕ:

**взаимопонимание
и
взаимонепонимание**

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2000

Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А. В. Липатов, И. О. Шайтанов. — М., 2000. — 240 с.

Наряду с российско-польскими конфликтами и вопреки им в русском культурном самосознании хорошо известна та особая роль, которую начиная с XVII в. сыграли польская литература, искусство и наука, когда при польском посредничестве — еще до Петровских времен — началось вхождение Московии в западноевропейскую современность.

Параллельно культурному притяжению государственное противостояние и конфессиональная непримиримость порождали и поддерживали негативные образы и отрицательные стереотипы во взаимных представлениях поляков и русских.

Наука, не подчиненная преходящим требованиям политики, а поэтому не ограниченная идеологическими схемами, помогает объективно осознать реальность и тем самым преодолеть создаваемые институтами власти и властной элитой искусственные барьеры великодержавных, националистических и конфессиональных предрассудков.

В этой книге диалог российских и польских ученых охватывает проблемы истории, культуры, религии, государства и права, литературы и философии. Устремленные к объективности, совместные усилия ученых двух стран облегчают сотворенные и творимые правителями и идеологами трудности нашего соседства.

Содержание

Трудное соседство (от составителей)	7
Россия и Польша: близость и противостояние	15
<i>А. В. Липатов</i>	
Россия и Польша: «домашний спор» славян или противостояние менталитетов?	17
<i>Ян Прокоп</i>	
Антирусский миф и польские комплексы	30
<i>Анджей Менцель</i>	
Отношение к России: взаимопереплетение или насилие?	39
<i>Ксендз Станислав Опеля</i>	
Католичество и православие: история и современность	52
<i>Игумен Игнатий (Крекишин)</i>	
Экуменический этюд	61
Наше прошлое	63
<i>Х. Ковальска</i>	
Формы актуализации традиции в Речи Посполитой и Московской Руси	65
<i>И. О. Шайтанов</i>	
Пушкин и польский вопрос в контексте идеи всемирной истории	76
<i>А. В. Липатов</i>	
Мицкевич и Пушкин: образ на фоне историографии и историософии	85
<i>В. А. Хорев</i>	
Роль польского восстания 1830 г. в утверждении негативного образа Польши в русской литературе	100
<i>Морис Бонфельд</i>	
Польская культурная среда в Вологде середины XIX века	110
<i>И. Л. Великодная</i>	
Петр Вяземский и Франтишек Моравский. Эпизод из истории русско-польских литературных отношений	120

<i>Д. П. Бак</i>	
Польша и поляки в русской литературе 1860-х годов (роман Николая Лескова «Некуда»)	126
Наш век XX	133
<i>П. Вечоркевич</i>	
Законодательные органы (Дума и Государственный Совет) как платформа русско-польского политического примирения	135
<i>Н. Д. Тамарченко</i>	
Польская тема в художественном творчестве Л. Толстого 1900-х гг.	147
<i>А. Разьны</i>	
Россия в глазах Мариана Здзеховского	155
<i>А. Дудек</i>	
Польская душа и русская идея в творчестве Вячеслава Иванова	162
<i>Д. М. Магомедова</i>	
Польская тема в «военных» статьях Вяч. Иванова	170
<i>Л. Суханек</i>	
Русская эмиграция третьей волны и поляки	176
<i>В. Л. Британишский</i>	
Польша в сознании поколения оттепели	185
<i>А. Э. Гурьянов</i>	
Обзор советских репрессивных кампаний против поляков и польских граждан	199
<i>Н. Ю. Стефанович</i>	
Польская рецепция русской литературы советского периода (60-е — 90-е гг.). Литературно-критическое творчество Анджея Дравича	208
Указатель имен	230

Трудное соседство

С глубокой древности праславянских времен через летописи Средневековья дошла до наших дней легенда о трех братьях — Чехе, Лехе и Русе — праотцах чехов, поляков (лехитов) и восточных славян (русинов) — белорусов, русских, украинцев.

Приняв христианство, Польша (966 г.) и Древняя Русь (988 г.) вошли в новую для них (после праславянской) — теперь уже не этногенетическую, а культурную — общность Европы, а тем самым в ее историю и духовность, связанную с теми универсальными ценностями, которые объединяли разнородный и разнородный мир в границах одной цивилизации *Pax Christiana*.

Однако все эти близости и притяжения изначально — в силу самой многомерности (политической, экономической, национально-психологической) реального мира — имели и свои «зеркальные» противоположности.

Абсолютная внутренняя гармония присуща только верованиям, утопиям и идеологиям, которые порой тесно переплетаются. Таков, например, живущий по сей день (ибо по сей день идеологически эксплуатируемый политиками) миф славянского единства. Вне своего утопического контекста, без обволакивающего кокона возвышенно-романтических ли устремлений гуманитариев или же рационально-прагматичной стратегии и трезвой, продуманной (а порой и циничной) тактики государственных мужей и партийных витий этот миф разваливается при первом же конкретном сопоставлении как с внутринациональной историей прошлого (вспомним бесконечные распри Древней Руси, Польши и других западно- и южнославянских государственных объединений), так и нашего времени (распад СССР, Чехословакии, Югославии). Миф славянского единства рушится и при сопоставлении его с внешней историей межславянских отношений: известные примеры традиционных антагонизмов соседствующих славянских братьев — русских и украинцев; украинцев, русских и поляков; поляков и чехов; болгар и сербов; сербов и хорватов — от древности до наших дней достаточно красноречивы. Миф славянского единства раскалывается также при сопоставлении с исторической принадлежностью славян к разным конфессиям (православию, католицизму, протестантизму, мусульманству) со всеми вытекающими отсюда последствиями в сферах национальной культуры, менталитета, отношения к другим этносам, внутри- и внешнеполитической ориентации.

Таким образом, этногенетическая общность славян, языковая общность, ощущение своей специфичности на общем фоне других этнических общностей европейского континента (романской, германской и др.) обретает зеркальное отражение в славянской же культурно-конфессиональной разобщенности, политической дифференциации, а порой — и противостоянии, что в итоге является ложным следствием тех исторических закономерностей, которые имели глобальный (а отнюдь не этнически локальный) — общеевропейский — характер и масштаб. Локальными же были национальные последствия этих закономерностей в разных частях, составляющих одну цивилизацию.

Итак, сосуществование центробежных и центростремительных сил в пространстве определенной этногенетической общности — удел отнюдь не только славянства. В такой же мере это свойственно народам романского и германского миров.

Точно так же это просматривается и в сфере конфессиональной. Объединяя народы духовно, христианство не смогло предотвратить политические конфликты, национальные распри, государственные притязания, равно как и личные амбиции правителей внутри самой христианской эйкумены. Более того — на протяжении своей истории оно само распалось сперва на Восточную и Западную Церкви, а затем эта последняя раскололась на целый ряд реформаторских конфессий, что, неизменно накладываясь на светские сферы межнациональных конфликтов, дополнительно их усугубляло и распространяло.

Внутренняя дифференциация христианства стала одним из существеннейших факторов культурно-исторической дифференциации народов Европы. И именно в их круге (а не в некоем этногенетически «своем», изолированном от межэтнической общности континента) также и для славян водораздел в общественно-политическом устройстве, культурно-правовом мышлении, философии, эстетики и самом менталитете стал пролегать не в плоскости национальной, а конфессиональной.

В отношении русских и польских соседей это означало принадлежность к разным культурным кругам (соответственно византизму и латинизму, православию и католицизму), составляющим одну цивилизационную целостность христианской Европы.

При всей межконфессиональной конфликтности круги эти не были взаимонепроницаемыми в силу самой первоначальной общности христианских ценностей и основанной на них универсальной (наднациональной) культуры Европы, точно так же как политика,

экономика и культура не только разъединяли, но и соединяли разные народы и государства одного континента. Все это в достаточной полноте проецировалось на взаимоотношения русских (и шире — всего связанного с православием восточного славянства) и поляков.

Наряду с войнами и вопреки им в русском культурном самосознании хорошо известна та особая исключительности роль, которую сыграла Польша — ее культура, наука и словесность — для русских на протяжении XVII века (как значительно раньше для украинцев и белорусов в силу самого их бытия в границах Польско-Литовского государства), когда при посредничестве польского барокко — еще до петровских времен — началось вхождение Московии в западноевропейскую современность. Сформировавшиеся тогда связи (коренящиеся в предшествующей традиции) заложили основы такого культурного взаимодействия, которое с разной степени интенсивности просматривается вплоть до нашего времени (достаточно вспомнить роль польской литературы, кинематографа, музыкального искусства, наконец, самой моды у нас со времен оттепели).

Параллельно — с давних времен — собственно политические конфликты, связанная с ними официальная — национально-государственная — идеология порождали, формировали, с большим или меньшим постоянством поддерживали и актуализировали в зависимости от конкретных исторических обстоятельств негативные образы и отрицательные стереотипы во взаимных представлениях друг о друге как у русских, так и у поляков. Это отложилось не только в общественной памяти двух народов, но и порой в научных представлениях, не говоря уже о литературе и публицистике, а в наше время — во всех тех сферах, которые в совокупности именуются «средствами массовой информации».

Поляки не могут забыть — стереть из своей индивидуальной и общественной памяти — насилия России над их Родиной, ибо сама Российская империя, а затем ассоциирующийся с ней империальный СССР постоянно эти насилия возобновляли, исторически наслаивали, выковывая непрерывную цепь национального порабощения, а тем самым провоцируя героические и трагические попытки непокорной нации эту цепь разорвать.

Соучастие России в разделах Польши и ликвидации ее государственности, жестокое подавление восстаний, вызванных неуважением официальных властей к нации и ее культурно-исторической традиции, ограничениями гражданских прав и общественной жизни, наконец, насильственной русификацией, — таков был удел поляков от второй половины XVIII века до 1918 года, когда они обрели неза-

висимость. Новая угроза только что обретенной государственности возникла уже в 1919–1920 гг., когда Красная Армия двинулась на Польшу, чтобы, реализуя большевистскую идею мировой революции, войти в Германию и содействовать немецким коммунистам в установлении своей власти. Потом наступил период преследования советских граждан польской национальности, ограничения и последовательное сведение на нет польской культуры в пределах СССР, совместное с фашистской Германией нападение на Польшу в сентябре 1939 г., массовые репрессии и депортация поляков с «освобожденных» земель, а в 1940 г. уничтожение свыше 21 тысячи польских военнопленных в Катыни, Осташкове, Старобельске и других лагерях и тюрьмах. Затем, начиная с 1944 г., осуществлялось насаждение на польских землях марионеточного правительства, последовавшие вслед за этим репрессии, общественные и культурные ограничения, бесцеремонное вмешательство во внутреннюю жизнь нации, постоянная поддержка и контроль установленного тоталитарного режима под названием «Польская Народная Республика» вплоть до 1989 г..

Эта долгая традиция трудного соседства не могла не сказаться на самой психике поляков, их менталитете, не могла не внедрить в их сознание комплекс врага, создать синдром постоянной «угрозы с Востока», что уже на наших глазах воплотилось в стремление войти в НАТО. Для поляков это был не акт антирусской агрессивности, а способ самосохранения от исторически постоянной угрозы. Одновременно это и проявление глубинного стремления к самоосвобождению от комплексов страха перед «Востоком», неуверенности в своем национальном самостоянии в соседстве Большого Брата во славянстве.

В то же время параллельно этому, по крайней мере, начиная с Мицкевича (который в период политической высылки вглубь империи познал Россию изнутри, обрел здесь близких друзей и литературное признание), в части польского сознания присутствует осмысление исторического бытия как бы двух России: официальной — чужой и враждебной — и неофициальной, которую составляют традиционная (народная) культура и высокая русская культура, притягательная и близкая своими общими для Европы ценностями.

Сейчас, когда Россия, пытаясь сбросить балласт, отягощающий ее вхождение в общеевропейский дом, стремится к осмыслению своих исторических свершений и исторических просчетов, своего вклада в сокровищницу общечеловеческих ценностей и своих пре-

грешений перед человечеством и человечностью, особенно остро ощущается необходимость преодоления традиционных стереотипов мышления. Подобная проблема остро ощущается и в Польше, стремящейся к освобождению — не только от наследия тоталитаризма, навязанного ей из советского «извне», но и от своих «исконных» национально-исторических стереотипов и комплексов провинциализма и отсталости от Запада. А для этого, чтобы лучше понять себя — свою историю, свою культуру, свое место в прошлом и настоящем окружающего нас мира — стоит увидеть себя также и глазами других. Такой ракурс поможет не только более адекватно воспринимать этих «других», понимать их боли и обиды, но тем самым одновременно — увидев себя со стороны — сбавить свою гордыню, умерить претензии на свою исключительность, а то и признать свою вину.

После крушения коммунистического режима у нас много говорится о покаянии, связанном с осознанием вины перед Родиной, родным народом, родной культурой. Но будет ли полным такое покаяние без осознания своей вины перед другими? Смогут ли эти другие без нашего самоосознания увидеть в нас не только географических соседей, но и признать в нас соседей под общим кровом европейской цивилизации? И вообще, насколько хорошо мы знаем друг друга? Насколько нам удалось преодолеть зашоренность официальной науки, ограничения насаждаемых официальными властями в историческом и недавнем прошлом идеологических стереотипов, догматичность, узость и однобокость учебно-образовательных программ советского времени?

Такие вопросы привели нас — коллег по работе на историко-филологическом факультете РГГУ — к необходимости встречи с польскими коллегами, теми, кто был открыт на открытый диалог.

Прямые, неофициальные, лишенные какой-либо бюрократической чинности переговоры с коллегами из Варшавского и Ягеллонского университетов, Краковской педагогической академии стремительно привели к совместному решению о том, что «Российско-польский семинар» (как мы называли предстоящую встречу) начнется 11 ноября 1997 г. Просто в силу профессиональной занятости раньше не могли поляки, а позже мы.

Божий перст? Стечение обстоятельств? Буквально накануне — в суете приготовлений — мы осознали, что для наших гостей это национальный праздник: 11 ноября 1918 г. была провозглашена независимость Польши. К двум «официальностям» (международная встреча плюс национальный праздник) прибавилась третья:

оргкомитет был извещен о том, что нас желает посетить польский посол Анджей Залуцкий и сотрудники посольства, занимающиеся вопросами науки, культуры и образования.

Все эти три «официальности», наложившись одна на другую, не устроились, а аннигилировались, что было предопределено составом участников и самой созданной ими атмосферой встречи. Четыре дня общения завершились круглым столом, в котором наряду с учеными принимали участие литераторы, журналисты, представители других профессий — все те, кого интересует русско-польское прошлое, привлекает русско-польское настоящее, волнует русско-польское будущее. Так сугубо научные проблемы обрели непосредственный выход в общественно-культурную жизнь современной России и Польши.

Осознание необходимости совместного преодоления русско-польского взаимонепонимания в прошлом и настоящем для достижения взаимопонимания теперь и в будущем, ощущение профессиональной совместимости и искренней благожелательности — все это привело к тому, что польские коллеги предложили продолжить начатый диалог, сделать его постоянным. Было намечено провести следующую встречу в Кракове — там, где в 1364 г. открылся первый польский университет, в котором наряду с поляками учились представители Западной и Восточной Европы.

Вторая встреча состоялась в октябре 1999 г. Она была названа «Польско-российский семинар. Интеллигенция. Традиции и новое время». Ее материалы будут изданы в Польше. Об атмосфере этой встречи, ее научной и общественной значимости свидетельствует единодушное решение запланировать следующий семинар.

Предлагаемая публикация содержит большинство из прозвучавших на московском семинаре выступлений (не все докладчики смогли подготовить к изданию свои тексты) и некоторые новые материалы, восполнившие образовавшийся пробел.

Естественно, что открытый обмен мнениями в силу самой своей внутренней сути предполагает, а тем самым оправдывает любые высказывания. Некоторые давние расхождения в оценках и позициях в какой-то степени видны и в статьях сборника, причем такого рода «разночтения» прошлого в настоящем связаны отнюдь не с национально-государственной принадлежностью автора, а с авторским типом мышления. Это уже знак нашего времени. Нынешняя возможность открытого обсуждения не предполагает необходимости во всем и со всем соглашаться: императив всеобщего единомыслия присущ идеологии и внеположен науке. Насаждаемое в го-

сударственном обществе единомыслие упраздняет подлинную науку, делает ее ненужной: режиму для самосохранения нужна идеология. Свободное же мышление порождает науку и делает ее необходимой для самостояния культуры, самореализации личности и самосохранения гражданского общества.

Именно такая — не подчиненная преходящим требованиям политики, а поэтому не ограниченная схемами идеологических стереотипов мышления — наука помогает объективно осознать творимую человечеством реальность, а тем самым преодолеть созданные человеческим прошлым искусственные барьеры националистических, великодержавных, конфессиональных предубеждений, освободиться от мессианских и утопических мифов, которые веками создавала идеология.

На фальши и лжи невозможно строить взаимоотношения не только межличностные, но и межнационально-государственные. Сокрытие истины, извращение фактов не может сближать: это лишь отталкивает и разделяет. Высказанная у нас правда о тайном договоре между СССР и нацистской Германией, Катыни и Варшавском восстании не проложили очередного водораздела между русскими и поляками. В Польше, где «неофициально» все это было всем и всегда хорошо известно, официальное признание фактов вызвало чувство уважения и доверия к тем, кто на такое решился вопреки идеологическим табу. В России, где все это было вне массового сознания и общественной памяти, очередная — в процессе ликвидации «железного занавеса» и снятия «ежовых рукавиц» внутреннего правления — правда помогла глубже осознать не только суть своего недавнего прошлого, но и сущность отношения поляков к «русскому вопросу» своей национальной истории. Эта правда также помогла понять, почему насаждаемое во времена «реального социализма» единство «стран народной демократии» мгновенно рассыпалось в прах с крушением СССР и возвращением его войск в собственные пределы, почему бодрые гимны «дружбы советского и польского» (как, впрочем, и всех других, называемых тогда «братскими») народов обратились в траурные марши, а общность цели («вперед, к коммунизму») раскололась на решительное движение Польши (и всех других «братских стран», а также некоторых бывших «советских республик») к ЕС и НАТО, а официальной России — к бессильно-агрессивной тоске по утраченной великодержавности и гневному неприятию такой самостоятельности недавних «младших братьев».

В глазах, не затуманенных очередным идеологическим чадом, в сознании, не помутневшем от политического угара, эта слепая реак-

ция властей уподобляет всю Россию (с которой правящая элита себя самоуверенно отождествляет) истеричности брошенной женщины, не желающей знать, как жалко ее поведение выглядит со стороны, и поэтому не находящей силы и разума взять себя в руки, чтобы окончательно не опуститься, сохранить собственное достоинство, осознать саму себя в изменившейся жизни, устанавливая новые отношения в новых обстоятельствах. Политика — дама переменчивая, капризная и коварная, порой и не дама вовсе, а поверхностная, ограниченная и вздорная бабенка, временами же — как с солдатской прямоотой изрек Пилсудский — просто курва. Так можно ли такой особе полностью доверять? Стоит ли только ее уполномочивать в определении «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов»? В состоянии ли она одна выяснять и указывать, какие должны быть отношения между народами, их культурами, их представлениями о прошлом и настоящем, их планами на собственное будущее?

В условиях недостаточности, а порой и отсутствия общего языка в межгосударственной и межнациональной политике общий язык науки обретает смысл и значение, выходящие за собственные ее пределы. Состоявшийся и получивший естественное продолжение диалог российских и польских ученых может способствовать тому, что не всегда под силу политикам: раскрывая правду, облегчать сотворенные и творимые правителями и идеологами трудности нашего соседства. А от него нам не уйти : географию, в отличие от политики, законодательства, моды или супружества, нельзя ни изменить, ни переделать.

А. В. Липатов

**РОССИЯ
И
ПОЛЬША:
БЛИЗОСТЬ
И
ПРОТИВОСТОЯНИЕ**

Россия и Польша: «домашний спор» славян или противостояние менталитетов?

Русские и поляки близки друг другу географически.

Русские и поляки приговорены к близкому соседству исторически.

Русские и поляки сближены самой своей общей славянской родословной, общими истоками праязыка и пракультуры.

Наконец, русские и поляки спаяны принадлежностью к общей цивилизации, которая возникла на основе универсальных ценностей христианства.

А при этом и вопреки этому между русскими и поляками издавна пролегает полоса отчуждения.

Не пришла ли пора разобраться в этом онтологическом парадоксе, понять этот этноисторический оксюморон?

И именно теперь, когда на наших глазах строится общеевропейский дом и европейцы не без упорного, кропотливого и длительного труда, внутренней напряженности, разумной взаимотерпимости и взаимоочищающего осознания собственных вин освобождаются от шовинистического атавизма, националистических шор, агрессивных стереотипов государственно-идеологической исключительности и конфессиональной несовместимости.

В этих общих — межнациональных — усилиях реализуется светская идея эпохи Просвещения о равенстве и равноправии всех народов и рас, объединяемых космополитичными — наднациональными и внегосударственными ценностями человеческого и человеческого бытия. В этом общем — духовном сближении народов, чьи религиозно-культурные традиции и национальная история связаны с разделившимися на отдельные конфессии христианством, реализуется экуменическая идея вступивших в диалог церквей.

Без этих ценностей — светских и конфессиональных — строительство общеевропейского дома неминуемо уподобится возведению вавилонской башни.

Нынешние русские и поляки, дабы войти в современную Европу и принять участие в ее обустройстве, должны, преодолев духовно и интеллектуально разделяющую их полосу отчуждения, понять друг друга. А это значит: осознать основы универсальные (православие — католичество как восточное и западное составляющие европейское целое) и основы национальные (традиции и характер государственности, облик культуры и общественный менталитет) двух народов. Понять — значит не только, как гласит древняя мудрость,

«простить», но также и уважать, ценить, сочувствовать. А это уже порождает взаимность. Без нее нет ни межнационального сотрудничества, ни наднационального европеизма.

Пути к сближению народов открывает наука — та, которая без национального или идеологического прилагательного. Национальной или идеологической может быть только дурость. Истина же одна и едина для всех. Поэтому-то одна и едина для всех наука, стремящаяся к ее постижению. Именно такая наука сближает ученых разных национальностей и способствует сближению их стран.

До сих пор разобщала народы и государства политика. Открывая правду и объясняя ее народам и государствам, ученые способствуют просвещению политиков, которые своей практикой могут не только разрушать, но и наводить мосты над полосоми этнического отчуждения. Это давняя мечта «республики ученых», как называл Вольтер межнациональное содружество интеллектуалов эпохи Просвещения.

На излете XX в., который вписался в историю двумя мировыми войнами, существенно расширился тот круг политиков, которые мыслят категориями новой современности. Поэтому-то растет надежда, что усилия ученых не будут ограничены стенами кабинетов и аудиторий (не говоря уже о колючей проволоке).

В нормальном обществе ученого может ограничивать только избранный им самим метод исследования. Традиционный подход к прошлому с точки зрения истории событий показал как свои возможности, так и их пределы. Это не значит, что он исчерпал себя. Это означает, что он не может быть исключительным. Понимание прошлого окажется более углубленным и многомерным, если его очеловечить и наряду с фактами политики, идеологии, социологии и т. д. ввести то, что придавало им плоть и кровь, образуя новые измерения: менталитет — национальный и личностный, связанные с этим стереотипы восприятия, самоидентификации и культуры, а также общественная память¹.

Предлагаемые размышления — лишь доступ к протяженной во времени и исторически меняющейся сущности и особенностям русского восприятия польскости.

¹ Об этой последней см.: *James Fentress, Chtis Wickham. Social Memory. Oxford, 1992; Po co nam historia? Warszawa, 1985; B. Baczeko. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei w pamięci zbiorowej. Warszawa, 1994; B. Szacka. O pamięci społecznej // Znak, № 5, 1995; Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy / Pod red. J. Łaptosa. Kraków, 1996.*

В далеком прошлом Российской империи, в недавнем прошлом СССР и в настоящем России, которая именует себя демократической, отношение к Польше и полякам исходило из русского самопонимания народа и личности, русского самоосознания потребностей своего государства и его подданных. Отсюда непрекращающаяся череда конфликтов, обид, претензий и недоразумений².

На уровне общественной памяти это обрело отражение в стереотипе «неблагодарных поляков». Времена Российской империи: «неблагодарные поляки» — получили после Венского конгресса от Александра I конституцию, о которой сами русские и не мечтали, а ответили на это восстанием 1830 г.

«Неблагодарные поляки» — Россия оградила их от их же собственных внутренних и внешних — неурядиц, а они ответили восстанием 1863 г.

Времена советские: период Второй мировой войны — «неблагодарные поляки» — мы им помогаем создать армию для совместной борьбы с Германией, а они нас покидают (уход армии Андерса из СССР после открытия немцами массовых захоронений польских офицеров в Катыни).

«Неблагодарные поляки» — мы их освободили от немецкой оккупации, а они в нас стреляют (последний год войны и первые послевоенные годы).

«Неблагодарные поляки» — мы им помогаем строить социализм, последнее от себя отрываем, чтобы им жилось лучше, а они бунтуют (период от познанских событий 1956 г. до эры Солидарности).

Времена нынешние: «неблагодарные поляки» — мы с ними Восток Европы, мы с ними славяне, а они отвернулись от нас к Западу и устремились в объятия НАТО.

Чтобы понять эти польские «странности», нужно не только посмотреть в зеркало на себя, но и попытаться увидеть других не сквозь призму своих собственных представлений, своих собственных устремлений, своих собственных интересов, но и сквозь приз-

² Первый русский опыт объективного подхода к этой проблеме связан с именем А. Н. Пыпина («Польский вопрос в русской литературе») // Вестник Европы, 1880, кн. 2, 4, 5, 10, 11). Из новейших польских работ см.: A. Lazari. «Poczwiniencstwo». Z badań nad historią idei w Rosji. Łódź, 1988; A. Kępiński. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990; A. Walicki. Aleksander Herzen. Kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. Warszawa, 1991; J. Orłowski. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Warszawa, 1992; W. Karpiński. Polska i Rosja. Warszawa, 1994.

му польских представлений, польских устремлений, польских интересов, предварительно осознав, что не только мы, но и любая другая нация и страна имеют право на собственное обустройство, соответствующее их собственному (а не чуждому) менталитету, за которым стоит своя историческая, своя национальная и своя культурная традиции, которые и обуславливают свои особые национальные потребности.

Такая попытка увидеть других не через себя ведет к преодолению национально-идеологических стереотипов, которые сложились на протяжении прошлой истории. Тем самым этот новый подход будет способствовать не только объективному пониманию самих себя, но одновременно и тех, с кем необходим диалог на языке европейской современности. Этот путь к самим себе, а тем самым и к другим — тернист, ибо прошлое довлеет нашему сознанию не только инерцией традиционных государственных идей, но и притягательной силой национальных гениев.

«Клеветникам России» — патриотический ответ Пушкина Европе, возмущенной жестоким подавлением восставшей Польши. Великий русский поэт выступает как человек своего времени: русский патриот, что вполне естественно; российский государственный, что вполне закономерно. Это характерная черта не только России и русских XIX в. (Чаадаев был исключением — он слишком опережал свое окружение и свое время, отчего и был объявлен сумасшедшим), это тип мышления того прошлого, в котором мы задержались и которое теперь тянет нас назад — к временам государственно-националистических противостояний, державно-идеологических претензий на диктат не только внутри, но и вне своих границ. Теперь, после трагического опыта Второй мировой войны, когда на Западе Европы возобладаало осознание наднациональной общности национально дифференцированного человечества, а отсюда и понимание всеобщности человеческих интересов, такая обращенная в прошлое российская политическая мысль не может не вселять опасений не только западноевропейцам, но и тем, кто испытал ее на себе как часть социалистического лагеря или как часть СССР³.

Спор с Польшей никогда не был «домашним» (как утверждал поэт), ибо славяне, будучи одной из этногенетических общностей Европы (наряду, например, с романской, германской, угро-фин-

³ Отсюда известные внутренние опасения и известная внешняя обращенность к НАТО бывших советских социалистических республик — Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.

ской) никогда не являл собой государственной либо конфессиональной целостности. С принятием христианства они постепенно разделились как в плане конфессионально-культурном, так и государственно-политическом, составляя с соответственно более им близкими по религиозному (а не этническому) мироощущению этносами Византийский и Латинский круги европейской цивилизации⁴. Поэтому-то русско-польский конфликт — вопреки утверждениям Пушкина — не был и «семейной враждой». Отраженные в пушкинских строках притязания России на особую роль среди славян (входивших в разные геополитические пространства Европы и отождествляющих себя с разными кругами европейской культуры) были связаны с государственно-политической доктриной империи и служили исключительно ей. Именно здесь корни конфликта России не только с католической Польшей, но и, например, с православной Болгарией (что последовало вскоре после обретения ею независимости вследствие русско-турецкой войны), не говоря уже о православной Украине, которая в XVII в. добровольно присоединилась к России, а в следующем столетии была лишена всех прав, включая право изданий на родном языке.

Польша, разделенная Австрией, Пруссией и Россией, никогда не считала их своим новым домом. Это осознавала и Западная Европа, конфессиональной, культурной и геополитической частью которой было пространство Речи Посполитой. Поэтому-то польский вопрос оставался одним из невралгических пунктов европейской политической жизни на почти полутора-вековом протяжении бытия поляков без Польши. И не случайно, что одним из важнейших последствий Первой мировой войны было возрождение польской государственности, как отнюдь не случайно и то, что Вторая мировая война была вызвана нападением Германии именно на Польшу, которая имела гарантии безопасности со стороны Великобритании и Франции.

Преемственность имперско-патерналистской доктрины России в отношении славянства отразилась в советской политике после ялтинского договора, когда началось насильственное устройство «социалистического лагеря», превращая освобождение от Германии в некий вариант новой оккупации. Во времена же «реального социализма» — после подавления «Пражской весны» — эта преемст-

⁴ Ср.: А. В. Липатов. Славянская общность: историческая реальность и идеологический миф // Павел Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня рождения). М., 1995; История литературы западных и южных славян. Т. 1. М., 1997.

венность обрела исторически очередной облик в так называемой брежневской доктрине ограниченного суверенитета социалистических стран, которую сполна ощутила на себе и ПНР. Появление этой доктрины и ее обоснование в государственных документах и средствах массовой информации дает богатейшую иллюстрацию к исторически очередному — «социалистическому» — воплощению живучего и живущего стереотипа российской великодержавности и имперского менталитета российской элиты власти — независимо от исторического времени и государственного устройства.

Преимственность политики СССР в польском вопросе после большевистского переворота отразилась как в постоянной антипольской пропаганде, где место «кичливого ляха» занял «пан»⁵, так и в новом разделе страны, которую в сентябре 1939 г. осуществили Гитлер и Сталин, спровоцировав Вторую мировую войну. Прозвучавшая тогда по поводу вновь уничтоженной Польши фраза наркома иностранных дел Молотова — «ублюдок версальского договора» — всего лишь продолжение давней оправдывающей разделы Речи Посполитой концепции российской и германской официальной историографии о неспособности поляков к собственной государственности.

Этот великодержавный российско-германский стереотип поляки разбивали восстаниями XIX в. и 1905 г., завоеванием и провозглашением собственной государственности 11 ноября 1918 г., а во времена немецкой оккупации — созданием феномена «подпольного государства». Наступление Красной Армии несло полякам освобождение от гитлеризма и одновременно насаждение сталинизма. Отсюда новое сопротивление и полоса борьбы, порой квалифицируемая в историографии ПНР как «малая гражданская война». И вновь, хотя и на новый лад, звучит это пушкинское «кичливый лях».

А что если теперь — с дистанции времени — взглянуть нам на этого «ляха» не с точки зрения наших национально-государственно-патриотических стереотипов? А что если попытаться разглядеть его в свете разделяемых нами универсальных представлений европейской цивилизации о добре, доблести и чести, которые были столь свойственны еще средневековому рыцарству как наднациональному сообществу? Рыцарству — художественно и этически столь близкому и притягательному (как все Средневековье) романтикам пушкинской поры, самому поэту и его друзьям — декабристам? Тем, кто, к слову сказать, имели пря-

⁵ См.: А. W. Lipatow. *Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej* (Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne) // *Teksty Drugie*, № 5 (47), 1997.

мые связи с польскими заговорщиками, которые пять лет спустя восстали против того же царя, что и декабристы?

Это были те самые пушкинские «кичливые ляхи», которые в освобожденной Варшаве устроили символическое погребальное шествие, неся пять гробов в память казненных друзей Пушкина. Это были те самые «кичливые ляхи», которые на знамени восстания написали, обращаясь одновременно к русским и полякам, «За Вашу и нашу свободу». И по-рыцарски самоотверженно и благородно «Вашу» поставили перед «нашу». Уже одним этим «кичливые ляхи» провозглашали, что восстают не против пушкинского «верного росса», а против той российской государственной машины и той деспотичности, которой пять лет до этого противостояли друзья Пушкина на Сенатской площади. И, наконец, среди «кичливых» поборников этой идеи был воссоздавший мучения поляков, жестокость царского режима и бездушие его сатрапов польский поэт, до этого заточенный, потом судимый и высланный в глубь России, где сблизился с Пушкиным, обрел русских друзей (а среди них и будущие декабристы). Позднее он воспел столь близких ему пятерых казненных, да и самого Пушкина в лирико-драматической поэме «Дзяды», которая стала библией польского романтизма и гимном польского патриотизма. Этот поэт, познавший Россию изнутри, разделял русский народ и российскую власть. У него, столько претерпевшего от имперских сатрапов, не найти ни одного оскорбительного слова или даже оттенка пренебрежения к русским как нации. Есть боль за нее. Есть глубокое уважение к ее талантам, искренняя симпатия к русской душе... И тревожная мысль: что ожидает этот народ? что ему суждено свершить?

Таков в отношении русских и России Мицкевич. Это же свойственно крупнейшим художникам польского романтизма — трагичной и героичной эпохи — Словацкому, Красиньскому, Норвиду, Шопену, которых жестокий режим лишил Родины.

...Такие вот «кичливые ляхи»...

Подавленный, униженный и лишенный собственной государственности поляк не превращается в покорного подданного чужой империи, раба чуждого ему абсолютистского режима — чуждого по сути и духу — в силу традиций шляхетской демократии и взаимосвязанного с нею национального менталитета ⁶. Поэтому-то гордый своей историей и культурой, сохраняя и отстаивая вопреки чуждому режиму свое гражданское общество и

⁶ Ср.: А. В. Лунатов. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.

присущее ему чувство внутренней свободы, поляк не только не склоняет головы, но и восстает, постоянно сражается за свою польскость: Т. Костюшко, Я. Х. Домбровский, Ю. Понятовский, наконец, герои и мученики ноябрьского восстания 1830 г. — это только то, что было на памяти поколения Пушкина.

Поляки сражаются самоотверженно «За Вашу и нашу свободу» не только в Польше, начиная с самого Костюшко — героя борьбы за независимость северо-американских штатов. Сражаются упорно — от победы к победе за пределами Польши и от поражения к поражению на польской земле. А при этом их не ослепляет ненависть, не сжигает горечь, не сламывает поражение. Ибо это «За Вашу и нашу...» отражает широту их мысли и глубину их чувства, когда польская свобода видится как часть общего дела. Поэтому польский патриотизм в романтические времена обретает облик польского мессианства.

Так кичливость ли это или свободолюбие, непокорность чувства собственного достоинства, гордость своей историей, культурой, государственной традицией, а в конечном итоге — несломленность национального духа и его устремленность к всеобщности — человеческой и человеческой?

Пушкин выступает как подданный своего государя. Пишет так, как должен был писать поэт-патриот своего времени и своей страны. Мы же с перспективы, которую дает двухтысячелетие христианства и связанная с ним европейская цивилизация, имеем возможность установить подлинные пропорции «своего» и «чужого», а устанавливая их, способствовать адекватному пониманию поляков, а тем самым — и самих себя.

Истина наднациональна, ибо одна и едина для всего человечества. Постигая ее, наука выходит за свои академические пределы, способствует взаимопониманию, а тем самым — сближению народов.

Польша не только внешняя, но и внутренняя составляющая российской истории. Поэтому-то для нас постижение польскости — это и более глубокое понимание русскости.

После 1795 г. значительная часть поляков, лишенных Польши, оказалась в границах России. Тем самым бытие нации оказалось включенным в систему координат иного типа государства. Условия и условности, создаваемые самими поляками, сменились условиями и условностями, создаваемыми помимо них для них.

Обрело ли политическое искусство расширять территорию Российской империи свое продолжение в искусстве использовать завоеванное? Пришла ли на смену суворовской военной «науке побе-

ждать» столь же результативная «наука управлять»? Последовавшая после ликвидации польской государственности почти непрерывная череда конспиративных движений, революционных брожений и национальных восстаний дает однозначный ответ.

Военные победы, силовые нажимы и бесцеремонное вмешательство во внутреннюю жизнь Речи Посполитой — то, что со времен Петра I приносило мгновенные результаты, выработало убеждение, что такого рода действия и приемы будут результативны также и на длительный срок в совершенно иной сфере — в системе управления захваченными польскими территориями и подчинения поляков совершенно иной по своему типу государственности. Главный и живучий (ибо продолжавшийся вплоть до Первой мировой войны, а затем и во времена «реального социализма») просчет заключался в том, что не учитывался менталитет поляков. Их можно было победить в войне, но невозможно покорить. Они не поддавались нажиму не только духовно, но и характерологически. Насилие не подавляло, а распаляло их духовное упорство и провоцировало их физическое сопротивление. Их нельзя было интегрировать в другой круг культуры, ассимилировать идейно, а тем более — конфессионально, ибо за ними стояла не только богатая история самостоятельного и притом великодержавного существования в геополитическом пространстве Запада, не только особая и общепризнанная роль его форпоста и одновременно восточного авангарда католической церкви и латинской культуры, но и особая, собственными усилиями созданная, а затем (в соответствии с закономерностями обратной связи) воспроизводящая, питающая и развивающая нацию, ее самосознание и ментальность система шляхетской демократии. При всех ее плюсах и минусах она являла собой такой феномен государственного устройства и стиля правления, где национальная гордость сословной общности была неразрывно связана с индивидуальным чувством собственного достоинства.

Шляхта, создавшая притягательный (уже с XVI в.) также и для других социальных слоев тип национальной культуры, была нетерпима к любому нажиму своей государственной власти. Какой же эмоциональный, нравственный и социальный протест вызывало у нее посягательство на свой кодекс чести, убеждения и сам неотрывный от них образ жизни со стороны чужой и по духу чуждой власти государства, уничтожившего Речь Посполитую?!

Дифференцированная и в перспективе времени результативная политика России в отношении народов, принадлежащих к разным кругам культуры, оказывалась — как это ни парадоксально на

первый взгляд — нерезультативной в отношении славян-поляков и украинцев. Этническое родство как бы провоцировало нивелирование (естественно, разное, в разной степени и в разных плоскостях реализуемое по отношению к православной и униатской Украине и католической Польше). Политическая и психологическая нетерпимость к национальной самобытности выростала из этнической близости. В случае поляков и русских — это общие славянские корни, историческое соседство, экономические, культурные и матримониальные связи со времен Древней Руси и Польши Пястов, с одной стороны, и разный исторический выбор, с другой: Византия и Рим, православная соборность и католический персонализм, абсолютизм и республиканство, древнерусское благочестие и древнепольская секулярность. Все это предопределило формирование разных менталитетов, обусловленных принадлежностью к разным кругам культуры, разным типам конфессий и разным системам государственного устройства. Эта антиномия близости и различий действовала как раздражитель особой силы, который не выступал во внутренней политике России по отношению к другим этническим общностям. Отличие поляков разрушало не только государственно-идеологическую разновидность концепции панславизма, не только распатывало не обязательно связанную с ней культурологическую идею славянофильства и демистифицировала эксплуатируемый в политических целях миф славянской взаимности. В контексте европейской культуры это отличие раздражало и как живой укор: жесткое, переходящее в жесткость подавление народа, связанного с ценностями западноевропейской культуры, обнажало не только национально-политическую суть «семейной вражды», не только «домашний спор» «кичливого ляха» и «верного росса»⁷, но и традиционное противостояние «византинизма» и «окцидентализма», исторически очередное столкновение двух начал, олицетворяющих Московское государство и Речь Посполитую: деперсонализация, абсолютная подчиненность личности государству, незыблемый, патерналистский и освященный Церковью авторитет монарха, с одной стороны, и государство для личности (естественно в рамках правящего сословия), монарх, зависимый от правящего сословия, выбираемый им и присягающий этому сословию соблюдать особые шляхетские права — с другой. Все это противоречило также официальной истории русской государственности и связанной с ней идеологии (формирующей мен-

⁷ Цит. из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». См.: А. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1954, с. 127.

тальность), из которой были вычеркнуты традиции Новгорода и Пскова, как, впрочем, и Домонгольской Руси, оказавшиеся в тени Московской централизации и связанного с ней типа правления.

Неприятие идеологически чуждой России польской ментальности, психологическая нетерпимость к ней, перерастающая в презрительность, отразилась даже в языке. Почерпнутые из польского «гонор» и «панибратство» обрели в русском языке противоположное изначальное значение. Гонор — это не «честь» (согласно изначальному латинскому смыслу, а спесь — польская спесь). Панибратство — характер отношений и стиль общения внутри шляхетского сословия как равных — независимо от имущественного ценза и занимаемого положения (что отразилось в поговорке «szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie») на русской почве трансформировалось в понятие бесцеремонно-фамильярного тона — не учитывающего субординацию чинов и пренебрегающего иерархичностью, что обретало формы раболепия, которые отражались в самом официальном церемониале. (Только в 1768 г. появился указ Екатерины II, по которому во всех деловых обращениях слово «раб» заменялось на «подданный», но сколько еще это, уйдя из церемониала, продолжало жить силой инерции и традиций в национальной ментальности?)

Взаимоотношения России и Польши издавна осуществлялись не только в сферах политики, экономики, военной стратегии. Это было и контактирование двух ментальностей, различия которых осложняли взаимопонимание во всех сферах. Именно с этими различиями было связано раздражительное отношение России к Польше и полякам, предопределяя порой возобладание эмоционального над рациональным в решениях польского вопроса. Отсюда — как это на первый взгляд ни парадоксально — польская политика России (которая по сути своей преследовала интересы империи) была антирусской по достигнутым результатам. В Польше со времен разделов и до восстановления собственной государственности в 1918 г. были личности (и стоящие за ними политические течения), которые мыслили рационально и, учитывая реальную расстановку сил и общую геополитическую ситуацию, ставили на сосуществование с Россией в исторически обозримом времени⁸. Уже в первые два десятилетия XIX в. они были представлены патриотическими офицерами, сражавшимися ранее на стороне Наполеона, и политиками Княжества Варшавского,

⁸ Естественно, речь не идет о проходимцах, людях, лишенных национального (как, впрочем, и собственного) достоинства, которые были готовы служить любой власти ради денег и званий.

которые затем приняли реальность Королевства Польского. А. Е. Черторынский, А. Велопольский, С. Грабский символизируют польские усилия к достижению понимания с Россией. Однако именно Россия лишала их возможности реализации своих идей и давала козыри в руки польских радикалов — как правило молодежи с ее свойственной возрасту особой чуткостью и нетерпимостью ко всем проявлениям несправедливости и насилия.

Подавляя национальные чувства поляков, имперская политика все более их усиливала: она все время дула на раскаленные угли национального самосознания. Думая их задуть, она их все более воспламеняла.

До сих пор вспыхивают среди поляков дискуссии: нужны ли были восстания, и что кроме новых лишений, страданий, гибели цвета нации нового подавления национальной жизни они приносили? Все аргументы *pro et contra* рациональны по отношению к политическим, милитарным и прочим аспектам, но при этом внеположны изначальной сути. А суть в том, что поляки просто не могли иначе, ибо такова их ментальность⁹. Восстания были ее естественным и неизбежным самопроявлением в конкретных исторических условиях, созданных (или спровоцированных) внешними силами. Это явственно просматривается от Барской конфедерации 1768–1772 (а именно она начинает традицию восстаний против оскорбляющих национальные чувства давлений извне)¹⁰ до Варшавского восстания (1944). Без Варшавского же восстания при всей традиционной уже для поляков горечи утрат, поражений и кажущейся безысходности, без опыта функционировавшего тогда «подпольного государства» не было бы Солидарности, уже на наших глазах сыгравшей столь важную роль в воссоздании независимого и демократического польского государства — Третьей Речи Посполитой.

Если история — это то, что свершилось, то она не имеет альтернатив. Поэтому дискуссии о целесообразности и нецелесообразности восстаний могут играть лишь роль интеллектуальной гимнастики.

⁹ Здесь (как и на протяжении всей статьи) имеется в виду некий обобщенный, а поэтому как бы идеальный образ нации, с которым отождествляют себя и сами поляки. Естественно, что наряду с этим стереотипом были и другие — изменники, соглашатели, люди, лишенные моральных принципов.

¹⁰ См.: *Przemiany tradycji barskiej* / Pod red. Z. Stefanowskiej. Kraków, 1972. (Об этой книге см. мой реферат в журнале «Общественные науки за рубежом. Литературоведение. Сер. 7, № 4, 1974. См. также: А. В. Липатов. Литературно-социологические исследования в Польше // Вопросы литературы, № 11, 1974.)

В силу своей ментальности поляки последовательно отвечали на национальное унижение конспирацией, духовным сопротивлением и восстаниями — и это был единственно возможный для них исторический выход, единственно возможная самореализация нации, ее самозащита и самопроявление польской натуры.

И если ликвидация Польши была для соседних государств исторической необходимостью с точки зрения их интересов (так, как трактовались они в те времена), то для поляков исторической необходимостью было отстаивание самих себя — такими, какими они себя чувствовали — отстаивание всеми возможными с точки зрения именно их ментальности методами, способами и средствами.

Понять другой народ можно, только поняв собственные его боли и желания, а не отчужденно обозревая его сквозь призму нашего самопонимания, видения других в перспективе только лишь нашей истории, в свете нашей привязанности к своей стране и своей культуре, не говоря уже о нашей самоидеализации и вере в свою особую миссию. Да и как мы — давняя Российская империя, недавний СССР, нынешнее наше государство, самоназывающееся демократическим, — можем притязать на главенствующую роль по отношению к другим, если на протяжении собственной своей истории не смогли обустроить самих себя? Какой притягательный пример мы можем давать миру, если каждый раз огромная Россия теряла себя не под ударами внешних врагов, а саморазрушаясь изнутри?

В своих великих идеях святости и всемирности искренне, истово, одухотворенно — с русским размахом — любя всех и стремясь всех заключить в свои объятия, мы не понимаем, почему этих объятий так избегают? Почему в этих объятиях опасаются быть задуренными?

Не пришла ли пора спуститься со своей высокой колокольни высочайших и благороднейших идеалов на свою же грешную и многострадальную землю сложной и неосознанной реальности? Не пора ли, стоя на этой родной российской земле, постараться понять других, не вторгаясь на их земли и не навязывая им свои идеи и свое присутствие? Не пора ли при этом хотя бы постараться увидеть себя и их глазами? Это поможет лучше понять других. А поняв других, не поймем ли мы и самих себя — если не умом (что по Тютчеву невозможно, и он, наверное, проникновенно осознавая русский менталитет, прав), то чувством, состраданием, болью, что так сродни русскому народному милосердию, русской народной душе, русскому народному характеру. Но не властям России, не российским правителям, не российскому государству: они никогда свой народ не жалели. Свой! А что же говорить о других?

Антирусский миф и польские комплексы

«Назначение мощи своей Россия видит единственно в том, чтобы, подобно Александру Великому, возможно больше стран покорить и над ними деспотически властвовать. В глазах ее алчности пылает огонь, вечно она чего-то желает и вечно ей чего-то не достает. То же, чем она владеет, кажется ей ничем, новое ей подавай. Все свои силы, весь маккиавеллиевский разум министров своих потребляет она на то, чтобы сделать своей добычей все окрест, куда только ни взглянет. А взор ее зорче зоркого; видит она далеко-далеко». Так писал Франтишек Макульский в 1770 году, рисуя, вместе с другими, образ московского хищника¹. С тех пор представление об азиатских (т.е. нецивилизованных) алчности и коварстве России утвердилось в польской национальной мифологии. Оно как бы подкрепляет и утверждает в наших глазах наш собственный образ — образ всегда неповинной жертвы, которая закована в кандалы, опущена живою в могилу и т. д. Но также утверждает нашу бесспорную принадлежность к цивилизованному Западу в противоположность азиатской, т. е. якобы варварской, России.

Коллективные мифологии необычайно устойчивы, передаются из поколения в поколение, накладывая сильнейший отпечаток на наши суждения о себе и о других. Поэтому довольно часто события современности оцениваются в соответствии с готовым стереотипом. Мучительная и вызывающая тревогу изменчивость истории подменяется ее повторяемостью, которую легче понять и с которой легче освоиться. Познание новой ситуации сводится к узнаванию старой, действительность укладывается в схему, известную с давних пор. Такая реакция помогает сохранить психологический комфорт.

Формулируя свои суждения о России, мы не в последнюю очередь заботимся как раз об этом душевном комфорте, возникающем в некой степени из приятного чувства инерции, но в той же мере позволяющем выразить и наше собственное нрав-

¹ О демонизации России, как и о потребности польского сердца, писал иронически Stefan Chwin («Przegląd Polityczny», 1991, 2/14). Недавно Агнешка Мадзиак-Мишевская опубликовала сборник статей разных авторов — поляков и россиян — на тему польско-русских противоречий и возможности диалога (Polska i Rosja. Warszawa, 1998; см. также Stereotypes and Nations. Kraków, 1995). Текст Макульского издал Ł. Kądziała в: Kółkają i inni. Warszawa, 1991. Мне самому пришлось писать на эту тему в: Lata niby-Polski. Kraków, 1998.

ственное — и цивилизационное — превосходство над противником.

Итак, основной темой моих размышлений станет эмоциональный (т. е. отчасти возникающий вне рациональности) образ восточного соседа в глазах поляков после 1989 года, особенно в глазах поклонников националистических движений, которые в то же время заверяют в своей приверженности к латинской цивилизации, — то есть своего рода негативный миф России, вызывающий то ли антипатию, то ли страх, в степени, искажающей наше восприятие предмета, который обретает отрицательную, аффективную оболочку. Одновременно это же станет предметом моей рефлексии над польскими комплексами.

* * *

Во время разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) наша народная память жила в тени двух врагов: России и Германии. Непосредственная советская угроза в 1989 и 1990 годах исчезает, и страна начинает медленно выбираться из полувековой сателлитской зависимости; можно ли было ожидать тогда, что вскоре трансформируются образы обоих врагов: поощряемой официально ненависти к немцам и таившейся в глубине сердца ненависти к Советской России, которая на наших глазах преобразовывалась в новый политический, идеологический, культурный, национальный организм? Враждебность антинемецкую удалось отчасти (не целиком) разрядить. Но как складывались судьбы ненависти к восточному соседу — чувства, подавляемого под дырявым плащом извечного, но принудительного братства?

Образ России в XIX веке таил в себе некую двусмысленность: с одной стороны, поляки ненавидели царизм, пытались постичь тайну восточного деспотизма, с другой стороны, в соответствии с романтическим политическим видением (народы, поработанные деспотами) часто сочувствовали русскому люду: «жаль мне тебя, бедный славянин», — восклицал Мицкевич. Подобным же образом в период советского господства, особенно в годы военного положения (1981–1984), подпольные публикации различают плохую советскую власть и «другую Россию», Россию Солженицына и Сахарова. С этой другой будущая дружба казалась чем-то возможным и желаемым. Россия представляла как страна, поработанная атеистической псевдорелигией, а Польша — как бастион христианства — предвещала восточным братьям освобождение в соответствии с традиционным (1830 г.) лозунгом «за нашу и вашу свободу». Конфликт

возникал, следовательно, не столько между этносами — польским и русским, — сколько между христианством, носителем которого была Польша, и его отрицанием — безбожным коммунизмом (тоталитаризмом), угнетающим несчастных россиян.

После переломных лет — 1989 и 1990 — ход событий на востоке оказался, однако, для многих обозревателей неясным. Некоторые писали о тактическом маневре КГБ, имеющем целью введение Запада в заблуждение: власть якобы должна была сохранить та же самая группа, которая бы лишь модернизировала политико-экономическую структуру. Имперская идея должна была бы по-прежнему остаться ведущей силой трансформаций общественного строя.

Тем временем в теперешней России страшно высокую цену хаоса, ставшего следствием распада старых структур и безрезультатных попыток хозяйственных реформ, платят рядовые граждане бывшей советской империи. Они же, терпя сегодня бóльшую нужду, чем прежде, с ностальгией возвращаются к годам коммунизма, когда водка и хлеб были всем доступны. Зато с польской стороны эта ностальгия охотно интерпретируется как довод в пользу имперских замыслов «вечной» России, царской и коммунистической, одной и той же «сверху во власти» и «снизу среди народа, поддерживающего империю». Коммунизм в этом измерении не был бы чем-то новым, идеологическим вирусом-мутантом, который поразил несчастный русский народ, а просто выражением извечного русского характера. Известный писатель утверждает: «Польша по-прежнему, только на сей раз неявно, тайно остается под российской властью, управляема людьми российской цивилизации [...] русский медведь, тяжело раненный в борьбе с великанами Запада, отошел отсюда (видимо, ненадолго), затаился в своей берлоге, оставляя здесь свои зловонные экскременты [...] Польская цивилизация, когда-то, во времена Первой Речи Посполитой, самая могущественная и, несомненно, самая красивая (наряду с испанской) цивилизация Европы, собственно, уже не существует; то, с чем мы имеем дело (т. е. сейчас в Польше. — Я. П.), является мешаниной цивилизации западной с цивилизацией российской: немецкий или американский мусор, валяющийся на русской, подмосковной свалке [...] То, что мы называем советским тоталитаризмом или советским коммунизмом, является только новым воплощением российской империи [...] Формы российского управления поляками, чеченцами, грузинами и литовцами по неясным причинам развиваются, изменяются: империя ведет себя не очень понятно, бывает — и неизвестно почему — то сонной и вялой, то грозной и голодной, как зверь, что выходит из норы и выпускает

когти, а потом дремлет, позволяет выжить и даже ожить своим жертвам, чтобы немного позже неожиданно снова мучить, убивать»². Наконец, известный лидер правых говорит, что «поддержка имперского статуса России коренится в политической традиции этой страны и никогда не подвергнется изменению»³. Таким образом, это не является спором о ценностях, борьбой идей (христианство — атеистический коммунизм), но фатально неизбежной конфронтацией двух непримиримых враждебных «рас» — двух этносов.

Парадоксально, но отсутствие непосредственной «физической» угрозы после 1989 года не разрядило напряжения и недоверия, не ослабило чувства страха. Поляки, как и евреи, считая себя Народом Обиженным *par excellence*, может быть, ожидали однозначных жестов покаяния со стороны российского народа и его новых властей? За годы унижений, возможно, ожидалось демонстративные признаки раскаяния: какое-нибудь общероссийское *просим прощения*? Однако с такими актами морального возмещения, а следовательно, общенародного покаяния, как денацификация в постгитлеровской Германии, а также с актами материальной репарации — за ущербы, причиненные коммунизмом, — ни новые постсоветские власти, ни российское общественное мнение совсем не спешили. Зато в прессе хватало голосов, обвиняющих поляков в черной неблагодарности за освобождение от гитлеровского ига. Эти высказывания польские средства массовой информации иногда цитировали как доказательство настойчивой антипольскости россиян, редко вникая в сложные проблемы российского общества, которое с большим трудом после многих десятилетий идеологической отравы выкарабкивалось из-под развалин старой системы, общества *nota bene*, считающего себя скорее жертвой большевистского насилия и геноцида, чем исполнителем коммунистических преступлений в покоренных странах, и, таким образом, иначе, чем немцы, трактующего вопрос собственной вины и ответственности за прошлое.

Одновременно с польской стороны в средствах массовой информации росла волна прежде подавляемых цензурой сообщений о репрессиях, жертвой которых пали миллионы наших земляков, особенно после вступления советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года... О советских преследованиях писалось теперь впервые совершенно открыто, как бы компенсируя многолетнее вынужденное молчание. В комментариях же на тему России преобладали

² Jarosław Marek Rymkiewicz // Tygodnik Solidarność, 1996, № 18.

³ Jan Olszewski. «Czas», 14.06.1996.

притязания и требования многообразных компенсаций: например, когда российские войска покинули страну, общественное мнение встревожили сообщения журналистов о страшном разорении территорий бывших баз. Так нарастала повторная демонизация образа России. Но неприязнь была направлена уже не против коммунистического Советского Союза, угнетающего своих и чужих во имя античеловеческой, наднациональной атеистической доктрины; виноватыми оказывались россияне как извечные носители имперской заразы, как народ (этнос), генетически неспособный к освобождению от тоталитарных склонностей, как «вечная Россия», всегда нам враждебная — от Ивана Грозного до Ельцина. Что особенно важно, эта Россия теперь лишалась нимба великой литературы и искусства, отрывалась от духовной глубины древнерусских икон, от драматических дилемм Достоевского, Соловьева, Бердяева, от страсти и сочувствия великих писателей-реалистов — Гоголя, Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Андреева, Пастернака, от произведений эмигрантов и изгнанников — Бунина, Шестова, великих свидетелей Гулага Шаламова, Солженицына... Особенно характерным будет здесь приведенное выше высказывание писателя Ярослава Марка Рымкевича, который типичные плоды русской цивилизации видит в «зловонных экскрементах медведя», а не в иконах Рублева или поэзии Мандельштама.

Поиски соглашения с Россией будут в этом случае считаться — особенно в национально-христианских кругах — противоречащими интересам польского государства, потому что программа имперских разделов никогда в Москве «не претерпит изменений». Россия не рассчиталась за ущерб, причиненный Польше в годы коммунизма, а сегодняшние высказывания ее руководителей совсем не свидетельствуют о смене великодержавной политики... Отсюда следующие выводы, часто подразумеваемые, если не формулируемые впрямую: не стоит помогать восточным соседям в рехристианизации, демократизации или европеизации, единственным благоразумным ответом на то, что происходит в Москве, должен быть строгий карантин (поворачиваемся целиком на Запад, сокращаем до минимума экономические и культурные контакты), стало быть, необходимо замуровать Россию, чтобы наиболее эффективно отгородиться от процессов разложения, происходящих в ее недрах. Фундаментальную недоверчивость и отказ от сотрудничества, если это касается восточного соседа, особенно проявляют националистические круги, подчеркивающие привязанность к традициям независимости. Это становится одной из важнейших отличительных

особенностей данной идейной формации. Достаточно популярная газета такой ориентации следующим образом формулировала отношение к извечному врагу: «История Польши в неимоверно сжатом виде: 966 — начало, 1772 — вошли русские, 1793 — вошли русские, 1795 — вошли русские, 1831 — русские вышли, но снова вошли, 1863 — русские вышли, но снова вошли, 1918 — русские вышли, 1920 — русские вошли, но сразу вышли, 1939 — вошли русские, 1944 — вошли русские, 1981 — как будто должны войти (русские), 1992 — русские говорят, что сейчас выйдут, 1993 — русские вышли, 1994 — русские говорят, что еще войдут, 1995 — русские говорят: «НАТО — еще не время!», 1996 — русские выдумали «коридор», чтобы было чем войти»⁴.

Можно, таким образом, сказать, что в обиходном восприятии укрепился слишком политизированный и демонизированный миф-стереотип, отождествляющий все российское и все советское с общим понятием имперской идеи, изначально угрожающей существованию польского народа. На сей раз, как я уже говорил, миф обретает форму конфронтации скорее этносов, чем идей и ценностей, например, веры и атеизма. Обращается он, впрочем, к глубоко укоренившимся в результате многовекового негативного опыта бессознательным предрассудкам, противопоставляющим два мира: мы и они. Под таким углом зрения исчезает цезура Октябрьской революции, преступления коммунизма становятся продолжением преступлений царизма, а недифференцированные россияне — неизлечимые носители системы — в полной мере несут ответственность за советский строй, который вырастает из их духовной традиции; впрочем, они еще причиняли огромные страдания соседям, черпая из этого выгоды для собственной империи. Тем самым Народ-Обидчик (россияне, а не атеистический коммунизм!), как было всегда в нашей истории, противопоставляется Народу Обиженному (полякам), как Империя Зла противопоставляется Королевству Света по образцу гностических битв Ахримана и Ормузда, но на сей раз это, несомненно, борьба народов, отождествленных с идеей, а не борьба наднациональных универсальных ценностей с антиценностями.

В соответствии с «гностическим» ключом осуществляемые сегодня на родине Ленина и Сахарова перемены расцениваются, таким образом, не как отчаянные поиски новой формы для гигантского постсоветского скопления людей, а как хорошо рассчитанный маневр, имеющий целью выманить деньги у Запада,

⁴ Gazeta Polska, 1996, № 16.

чтобы тайком восстановить пошатнувшиеся великодержавные позиции прежней Страны Советов. При таком положении дел полякам якобы не следует добиваться роли посредника, помоста между Востоком и Западом, не стоит помогать возможным силам мнимой «новой России» или искать «друзей москалей». Следовательно, единственной разумной реакцией с польской стороны якобы должно быть усиление непроницаемости границы и окружение санитарным кордоном бывшей Страны Советов.

* * *

Итак, испытанные в прошлом гонения встают в памяти, способствуя своеобразной изоляции польского мученичества: страдания поляков в известной степени отрываются от страданий других «народов Советского Союза», а таким образом и от страданий самих россиян. Неужели — как и евреи — поляки так охотно подчеркивали неповторимость, уникальность, исключительность только собственной жертвы? А в свою очередь в россиянах *en bloc* видели прежде всего виновников преступлений и редко — таких же жертв геноцида, жертв бесчеловечной коммунистической системы, воплощенной в жизнь особым «интернационалом», в котором не последнюю роль играли наши земляки (Дзержинский, Мархлевский)? За атеистический коммунизм ответственность приписывается почти исключительно россиянам — Обидчикам *par excellence*.

Нужно ли делать отсюда вывод, что польскими глазами трудно объективно смотреть на российские проблемы, что изведенная обида, а стало быть, врожденная травма довольно часто деформирует польское видение этой страны? Можно ли полагать, что страх, исторически объяснимое предубеждение по отношению к России, миф-стереотип извечного врага сверх меры искажают в нашем воображении очень непростую ситуацию, сложившуюся после падения коммунизма на востоке? Способны ли мы понять эту сегодняшнюю российскую *смуту*, это хитро-сплетение различных возможностей, откуда может вылететь как «светлый мотылек», так и «темная бабочка, грязной ночи племя» (Мицкевич)? Разве тот, кто придерживается старых представлений и застывших стереотипов, сможет различить, что в самой России является остатком международной коммунистической идеологии, что — продолжением царской имперской идеи, а что уже предвещает иную — также в будущем возможную — нетоталитарную действительность?

* * *

После 1989 года Польша видит шанс резкого поворота на Запад. Дверь в Европу открылась, страстное желание принадлежать латинскому миру овладело умами после полувека принудительной дружбы с восточным коммунизмом. Западничество, это известное польское пристрастие, влечет за собой отталкивание Востока. Однако психологический механизм в данном случае сложнее.

Польша так сильно отталкивает Восток не только из-за любви к Западу. Накал страстей иногда является признаком внутренней борьбы. Ожесточенная антивосточная риторика прикрывает то, что мы боремся сами с собой. Ибо Восток — это, так сказать, плоть нашей плоти, непризнанная часть нашей души.

Славянской ли души?

Но дело не только в общих славянских корнях русских и поляков, в особенности славянской ментальности, восхваляемой Гердером, а скорее в незаконченном процессе модернизации.

Немецкие историки устанавливают что-то вроде разрыва Ost-West-Gefälle на Эльбе⁵.

Это значит, что развитие цивилизации на западе Европы пошло быстрее, чем на востоке. Следовательно, наша ментальность застряла на этапе — в сравнении с Западом — «первобытной» стихийности, спонтанности, если хотите, искренности, сердечности и т. п. Все это особенности, которые поляки разделяют с русскими. Ибо и полякам, и русским не хватает не только твердой школы протестантской, «мелкобуржуазной», даже мещанской рациональности, холодной деловитости, рассчитанного подхода, но и подхода честного, добросовестного в отношении повседневных обязанностей — то есть не хватает всего того, что с таким беспредельным отвращением описывает Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Поляки и русские пока еще находятся в преддверии ментальной «перековки», которой требует процесс модернизации. Туда уже, мол, удалось пробраться только лишенным многих славянских превосходств чехам?

⁵ С презрением провозглашает этот разрыв в середине XIX века Густав Фрейтаг в известном романе «Soll und Haben». Он пишет: «Es gibt keine Rasse, welche sowenig das Zeug hat, vorwärtszukommen, und sich durch ihre Kapitalien Menschlichkeit und Bildung zuerwerben, als die slavische. Was die Leute dort im Müßiggang durch den Druck der stupiden Masse zusammengebracht haben, vergeuden sie in phantastischen Spielereien» (*Gustav Freytag. Soll und Haben. SWAN Buch-Vertrieb, Kehl, 1993, S. 254*).

Прав ли Макс Вебер, утверждая, что в основе капитализма и модернизации лежит пуританская нравственность, пуританская система ценностей, согласно которой первой заслугой перед Господом считалась разумно организованная профессиональная жизнь — портного, сапожника, купца, фабриканта, банкира? Все они во имя внутреннего самоконтроля отреклись от первобытной стихийности, стали умереннее, так сказать, «бесцветнее».

Тем временем в ментальности наших стран процветал своего рода максимализм. Героические подвиги или эсхатологические размышления ставились выше, чем добросовестное выполнение ежедневных обязанностей, чем так называемая мелкобуржуазная добродетель. Мы жизнь отдать за брата своего, конечно, готовы, но сто злотых отдать или сто рублей бывает куда труднее...

Интересно, что про эти сходства пишет Ч. Милош, подчеркивая своего рода любовь-ненависть, влечение и отталкивание между поляками и русскими. Французы говорят иногда о братьях-врагах. И вот увидеть свое отражение в другом иногда оказывается малоприятно. А тем более если в другом мы открываем наши тайные пороки. И это при нашем наивном мироощущении, что Польша не страна примитивной стихийности, разгильдяйства и безалаберности, что мы — цивилизованный Запад, полноценная Европа! К сожалению, вряд ли это так. Достаточно побывать в каком-нибудь швейцарском городке, чтобы осознать межпланетное расстояние, отделяющее нас от — цитируя название книги Милоша — «Родной Европы».

* * *

Толпы русских, украинцев, белорусов, торгующих на наших базарах, эти бесчисленные «челноки» и толпы покупающих поляков — народы-соседи ищут путь друг к другу. Встреча грозит множеством опасностей. И все-таки мы предстаем в нормальных ролях, хотя бы в ролях продающих и покупающих. Увидели друг в друге не врагов и рабов, не угнетателей и угнетенных, а экономических партнеров.

Не обязательно бросаться этому партнеру на шею и душить в объятиях вечной дружбы — важно, что мы перестаем смотреть на него со страхом и ненавистью.

В этом ли начало так жизненно необходимой нам модернизации? И духовного обновления? А также начало переоценки негативных стереотипов? Мифа врага?

Отношение к России: взаимопереплетение или насилие?

Кто в Польше не помнит «маленьких ученых» из «Сизифова труда»? Тот, кто его не читал, — можно воскликнуть коварно. Однако можно ли в Польше не читать этого едва ли не документального произведения Стефана Жеромского? «Канун весны» — да, неохотно принимали в некоторых кругах, а следовательно, неохотно читали, ибо за этот роман автору ставилась в вину не только «литературная жуликоватость», но и «русский склад ума». В «Истории греха» видели «бремя болезненной наследственности» и «разнузданный эротизм», так что не только перед войной, но и во времена моей молодости роман этот травили в гимназиях. А вот «Сизифов труд» достиг у нас высшего, мицкевичевского признания, стал чем-то большим, чем произведение школьной программы, и даже воспитательным романом. Стал символом инициации и национальной самоидентификации одновременно. Сам Жеромский считал, что в польской словесности такую роль играет Мицкевич: на кого пророк не действует, тот потерян и исчезнет в «русской пропасти». Громко произнесенный в «Сизифовом труде», «Редут Ордона» Адама Мицкевича станет началом патриотического пробуждения. Его железный стих, который громко зазвучит в стенах провинциальной русской — хотя и расположенной в польском Клерикове — гимназии заставит «маленьких ученых» очнуться и вернет их в лоно отчизны. Произведение Жеромского так не декламировали, а в последние десятилетия, может, даже и не читали по своей воле, потому что школьная программа нередко отбивает желание читать. Но с момента своего появления «Сизифов труд» вошел не только в польское сознание, но и в сферу коллективно-бессознательного. Свидетельством тому «маленькие ученые»: можно забыть, откуда они, но их самих не забудешь — стали одной из идиом языка польской литературы.

Кто такие «маленькие ученые»? Маленькие ученые — это молодежный гимназический кружок. Они, однако, не принадлежат той специфической польской истории, начало которой кладет молодежное подполье Королевства Польского, запечатленное в филематской легенде и получившее ореол святости в III части «Дзядов» (эту историю изучал, систематизировал и фиксировал автор другой легендарной и уже современной книги — «Камни на окоп» — Александр Каминьский¹).

¹ Александр Каминьский (1903–1978) — польский педагог, писатель и историк, во время оккупации — организатор одного из легендарных конспи-

Маленькие же ученые не являются ни преемниками мицкевичевских филоматов, ни предшественниками «серых шеренг» — они принадлежат скорее российской, чем польской, истории, истории *кружков*² прошлого века, которая неотделима от истории «разночинцев», «лишних людей» и «новых людей»: нигилистов, народников, народовольцев, членов «Земли и воли», ишутинцев, нечаевцев, чайковцев и прочих, бесподобную панораму (не художественную, но идейную) которых представит еще один польский писатель — Станислав Бжозовский. В первых главах его «Пламени» перед нами опять гимназический кружок, действие происходит почти в то же самое время, хотя и в другом месте: не в «привислинском крае», но на «отнятых землях» (иначе — «западные губернии»), а именно в Немирове на Подоле, то есть на Украине. Хотя эта географическая разница и имеет определенное значение (молодежь немировской гимназии этнически неоднородна, а в клериковской — собственно польская), но всех различий между данными литературными образами отнюдь не объясняет.

Ведь это различия не только личностные и художественные, но также идейные и культурные, восходящие к самим основам польского отношения к России, польско-российских отношений, польско-российского взаимопереплетения, — поэтому я и делаю их типологическим отправным пунктом для своих размышлений. Заметим в скобках, что совершенно не все равно, как сформулировать эту основательную и наиболее важную проблему. «Связи», «отношения» или «взаимопереплетение» — это не просто описательные, но еще и оценочные определения, и необходимо сознательно выбрать для употребления одно из них. По мнению Бжозовского, например, было последнее, а Жеромский считал, что никакого взаимопереплетения не было — только насилие. Иногда мне кажется, что в вопросах таких «взаимопереплетений» или «насилий» следовало бы отойти от критического толкования художественного облагораживания и упорно расшифровывать разговорные словесные формулы. Раз уж мы говорим о литературе, то сосредоточимся на элементарных смысловых частицах. В данном случае ими будут образы молодежных кружков в «Сизифовом труде» и «Пламени».

ративных отрядов «Серые шеренги». В 1943 году неофициально опубликовал знаменитую повесть «Камни на окоп» о битве харцерских отрядов Армии Крайовой с немецкими оккупантами. Широко читаемая и обсуждаемая, эта книга — подобно «Сизифову труду» Стефана Жеромского — сыграла важную роль в формировании польских представлений о воспитании.

² Здесь и далее выделение курсивом означает, что автор статьи употребляет русское слово без перевода (*прим. перев.*)

«Маленькие ученые», «доморощенные исследователи», не такие уж доморощенные, потому что собираются вместе и действуют по наущению инспектора, который ведет хитрую русификаторскую работу. Это не русификация посредством давления, осуществляемая школой и всем режимом, это русификация посредством увлечения. Увлекают истинные ценности русской культуры, сконцентрированные прежде всего в шедеврах литературы, и благодаря им «первые чувства», «страстные любовные увлечения», «сны и грезы» юношей находят свое «выражение, свой звук и цвет». Это не «самая едкая форма обрусения» (такую автор отыщет в формах изоциренно интеллектуальных), но эмоциональное начало процесса. За ним логически и хронологически следуют погружение в историю России с ее идеологическими мистификациями, критика, а по сути неприятие истории Польши, и на этом пути «маленьких ученых» сопровождают чешские панслависты и польские сторонники лояльности. Чтение «Истории Польши» М. Бобжиньского усиливало, как говорит автор, это «специфическое, чисто клериковское отвращение ко всему польскому»³. «Русофильство во всем — вплоть до религии — считалось в кругах этой молодежи синонимом прогрессивности, критицизма и ума». Мало того (хотя и этого уже чересчур) — насильственная и добровольная русификация сплетаются в такую крепкую цепь, что действительно нужно бояться за все, что польское. Но настоящая драма начинается тогда, когда в эту цепь вплетается очередное, на сей раз философское, звено. Чтение — разумеется, по-русски⁴ — «Истории цивилизации в Англии» Бокля (не партикулярной «Истории Государства Российского» Карамзина!) ляжет в основу материа-

³ Михал Бобжиньский (1849–1935) — известный историк, консервативный политический деятель на территории Польши, аннексированной Австрией (в 1908 — 1913 гг. наместник Галиции). В своих многократно переиздававшихся «Очерках по истории Польши» (1-е изд. — 1879) подвергал критике польскую традицию государственного устройства: безвластие, анархию и шляхетскую «золотую вольность». Это антиромантическое, «реалистическое» историческое положение являлось доказательством лояльности автора и консервативной партии Галиции по отношению к Австрии. Основная направленность критики Бобжиньского совпадала с официальным российским изложением истории Польши, которое господствовало в школах в польских землях, принадлежавших тогда России. Именно поэтому книга Бобжиньского в «Сизифовом труде» появляется в контексте русификации.

⁴ Необходимо подчеркнуть, что в последней четверти XIX и в первое десятилетие XX века, когда польский язык преследовался политически, не говоря уже об отсутствии экономической базы, количество переводов на русский было несоизмеримо больше. По этой причине польская молодежь знакомилась с западной гуманитарной наукой преимущественно в русских переводах; Жеромский и в этом тоже видел сильный фактор русификации.

лизма «маленьких ученых». Принципы этой философской школы хорошо известны и описаны как минимум в десятке произведений — как польских, так и русских — того времени: натурализм, эволюционизм, сциентизм, атеизм. Данная доктрина в сознании ее приверженцев являлась синонимом (если вообще не венцом) свободы и прогресса. Но удаленность от центра действительного прогресса и демократических свобод пропорциональна радикализму всех этих «измов» и силе веры в них. Уже Достоевский доказал, что наибольшей она была на петербургских чердаках, но и в «привислинском крае» не так уж слаба, и в ней-то Стефан Жеромский усматривал «самую едкую форму обрусения».

У Бжозовского наоборот: эта вера является формой не *обрусения*, но очеловечивания. Молодые герои «Пламени» Адась Белецкий и Михал Канёвский ни в кругу семьи, ни в отечестве своем не находят ничего, что было бы достойно их интеллектуальных и моральных устремлений. В «белых стенах польского дома» «под маской патристических лозунгов скрываются залежи равнодушия, неверия, лакейства, эгоизма». Польша оказывается лишь словом и не более того. В мире «статистов из дворцов и деревенских усадеб» человек человеку если не волк, то пан — но не по благородству, некогда бывшему и теперь утраченному, а по бесчеловечному отношению к тому, кто ниже: к крестьянину, еврею, женщине. Бжозовский сознательно показывает читателю сцены унижения, причем те из них, что касаются женщин, невероятно сильные. О какой же свободе и суверенности может идти речь, если женщин секут и покупают, как рабынь? В конечном счете гимназический польско-украинско-русско-еврейский *кружок*, хотя и объединяет прогрессистов, натуралистов, сциентистов и атеистов, не является предметом собственно интеллектуального восторга — он оказывается убежищем в абсолютно безнравственном мире, и члены этого кружка видят свое предназначение в защите чести и достоинства чужой жены, настоящего человека. Известно, что с ними будет дальше, и я уже упоминал данную автором в «Пламени» панораму истории русской идейности. Протагонист этой истории — Михал Канёвский, польский шляхтич, который стал русским революционером. Я об этом уже писал⁵ и не буду возвращаться к этой теме сейчас, потому что для нынешних моих размышлений важен *кружок*. *Кружок* как пример, ведь в нем не только струится универсальная история, но еще и осуществляется моральный импе-

⁵ См.: Andrzej Mencwel. Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej (особ. гл. III «Mowa dorosłych ludzi», s. 85–129).

ратив. «К чему здесь какая-то Польша, — хочется сказать, перефразируя автора, — это ни козырной туз, ни кропленая карта».

По значению оба эти образа тяготеют к противоположным смысловым полюсам, которые необходимо кратко обозначить. Прежде всего это две разные Польши и две разные России и, следовательно, их абсолютно разные взаимоотношения. Польша клериковского кружка — Польша, разумеется, духовная; ее светлый образ родится из железного стиха «Редута Ордона» и одним легким движением сметет весь труд и смоет всю грязь любой русификации, так же исчезнут из повестки дня собраний кружка Карамзин и Бокль — их место займут Мицкевич, Костюшко, Мохнацкий. Польша немировского кружка на самом деле не существует, никакой проблемой не является и проблем не ставит: это «впавшая в детство Польша, существующая в современном мире как микроорганизмы в лимбургском сыре». Поэтому она может быть только отвергнута — таковой и оказывается. В свою очередь Россия Жеромского не является оплотом зла только лишь исторического, т. е. абсолютистского режима, убогой цивилизации, примитивного чиновничества, темного просвещения (если говорить о таком диагнозе, то он не сильно отличается у Бжозовского и даже у русских прогрессистов); Россия Жеромского — оплот зла демонического. Демоническое зло опаснее, потому что для достижения своих целей использует хорошие средства более ловко, чем плохие. Русификации поляков, а стало быть, их расчеловечиванию служат не только поэтическое искусство Крылова, Пушкина и Лермонтова, но и философия прогресса и даже математика. Перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать, что, когда бы Жеромскому пришлось выбирать между Польшей и правдой, он выбрал бы Польшу, если бы правда шла из России. Итак, Россия может быть только объектом тотального отвержения, и Жеромский постоянно его осуществляет как в творчестве, так и в жизни. Россия Бжозовского пререкается «языком взрослых людей», который в контексте польского впадения в детство приобретает медное звучание. Автору «Пламени» и «Голосов в ночи», конечно, известна историческая, царская Россия, и он знает о ней то же, что Жеромский, но в неприятии абсолютистской и феодальной России у Бжозовского присутствует некий элемент демонического очарования: историческое зло в России этой затвердело до такой степени, что должно породить неизвестное до тех пор добро. Или по-другому: любое противопоставление этому злу само по себе рождает добро, добро в высшей степени одухотворенное, светлейшее. Идеальные герои «Пламени» — это не только Лавров, Михайлов или Мышкин, но еще и Сергей Нечаев.

Однако все это не просто две разные Польшы и две разные России, но также и две истории, две историософии. И Жеромский, и Бжозовский смотрят на историю как моралисты, и оба задают один и тот же, неизбежный и в наше время, вопрос о месте морального зла в истории. При этом оба уже не являются наивными прогрессистами, но, как воспитанники антипозитивистского перелома, считают, что прогресс в истории есть некое половодье добра, но не обязательное, а зависящее от человеческого сознания и воли: подобно воде добро то прибывает, то убывает. Оба писателя единодушны в том, что в данный момент добра убывло, хотя и по-разному определяют этот факт, но пробуждение людского сознания, сосредоточение воли могут вызвать обратное его движение. История, по Жеромскому, — это история народов, и народ является ее единственным субъектом; история Польшы — это история национальной артикуляции и ее соперничества с другой, т.е. российской, артикуляцией. Автор «Красоты жизни» склонен считать, что это соперничество неизбежно, неумолимо и безусловно и что Россия представляет в нем элемент зла, которое торжествует в реальной истории, но будет вытеснено из истории идеальной. Бжозовскому близко видение универсальной истории, народы в ней, разумеется, существуют и играют разные роли, однако не являются ее принципиальным субъектом. Человечество понимается как сосуд, в котором должно осуществиться добро: свобода, равенство, братство. Таким образом, как, видимо, считает Бжозовский, можно оценивать вклад отдельных народов в этот сосуд. Польский — невелик (хотя когда-то, во времена Костюшко и романтиков, был весьма существенным), российский — наоборот, т.к. несмотря на всю историческую абсурдность царского абсолютизма проснувшееся сознание и собранная воля сосредоточены сейчас в России, в Петербурге, где наконец погибнет царь Всея Руси, и потому нужно быть там, и потому там — вместе с русскими террористами — поляки. На Малой Садовой последним исполнителем был Игнацы Хрыневецкий⁶.

Чтобы Польша могла восстать в славе как воплощение добра, Россию нужно исключить из польской истории, во всяком случае демоническую Россию, а другой, собственно, и нет. Чтобы Польша могла восстать как историческое добро, ей необходимо избавиться от всего своего партикулярного зла и влиться в универсальное течение истории в качестве ее прислужницы; если сейчас воды этого течения в России — Польша должна включиться в Россию. Вот две

⁶ Существенные фрагменты «Пламени» Станислава Бжозовского посвящены описанию подготовки народовольцами покушения на Александра II и самого покушения.

диаметрально противоположные позиции, упрощенные, наверное, до крайности, но отчетливые и ясные в своей противопоставленности. На заре двадцатого века они будут представлены в программных произведениях двух великих польских писателей, где в известном смысле обозначились контуры современного польского отношения к России. Что же ими очерчено?

Полкус «клериковский», назовем его так, получил явное продолжение в разного рода мартирологах и фронтовой литературе, взлет которой пришелся на время после Первой мировой войны и самым знаменательным произведением которой является, видимо, «Пожарище» (1922) З. Коссак-Щуцкой. Надо отметить, что большевики дополнительно демонизируют и без того демонический образ России: «От белого царизма до красного» — это не только название напущенной книги Яна Кухажевского⁷, играющей нередко роль энциклопедии и катехизиса, но и точное указание популярного ментального сращения. Дело не в том, что Кухажевский собрал неопровержимые документы по многим вопросам, а в том, что, по его мнению, в России даже добро служит злу и зло добром пользуется. Эта идея, неоднократно и по-разному высказанная писателями *minorum gentium* и отвечающая, несомненно, определенному состоянию обычного сознания (свидетельством тому — мессианская и мартирологическая одновременно стилизация памятника Погибшим и Замученным на Востоке), в наше время лучше всего выражена Юзефом Мацкевичем и Александром Ватом, писателями с противоположными политическими взглядами. Мацкевич в глубине души был традиционалистом-анархистом, он не признавал такого искусственного образования, как государство, поскольку признавал только изначальные соседские общины. Россия и в особенности Советский Союз были для него супергосударством, а следовательно, демоническим образованием, средоточением всяческого зла. Ват в молодости был коммунистом, а во время войны — советским узником и ссыльным. Его посмертно изданные воспоминания «Мой век» — сведение счетов с самим собой и со своим временем. Я не поклонник этого произве-

⁷ Ян Кухажевский (1876–1952), политик и историк, несколько десятилетий работал над многотомным трудом по истории России «От белого царизма до красного», первый том которого появился в 1923 г., а остальные шесть выходили до 1939 г. Во время Варшавского восстания рукописи последних трех томов сгорели вместе со всей библиотекой автора. Сокращенная однотомная версия книги была издана в 1949 г. в Нью-Йорке под названием «The Origin of Modern Russia». Эта версия под польским названием «От белого царизма до красного» многократно переиздавалась, особенно в последние десятилетия.

дения, поскольку вопреки распространенному мнению считаю его чересчур наполненным психологией автора и потому не слишком достоверным. Однако левые взгляды Вата совпадают с правыми Мацкевича в том, что русский коммунизм, или большевизм, является воплощением зла. Это сущий дьявол, который непознаваем, но от которого можно откреститься, чему и служат ожесточенные обличения Мацкевича (сжирающие его исключительный талант прозаика), а также заклинания Вата (не оправдывающие его тем не менее). Я отнюдь не хочу сказать, что большевизм — добро, но ведь если от черта открещиваться, то его и не увидишь, а если демонизовать — попадешь под его власть.

Полус «немировский», видимо, более отдален от обыденного сознания, однако его немногочисленные представители не так экзотичны, как были бы склонны считать клериковские «патриоты». Идейними предшественниками довоенных коммунистов или послевоенных «кузничан» не были кн. Друцкий-Любецкий, маркграф Велопольский или Александр Спасович — яркие представители ориентированных на конструктивное сотрудничество с Россией «реалистов» прошлого века. Реалистическое же приятие той исторической силы, какую являло собой российское государство, коммунистам и марксистам было близко. В «клериковскую» непримиримость Жеромского вкрадывалась «немировская» историософия Бжозовского — об этом свидетельствует «Канун весны», где большевикам приписана непоколебимая *virtus*. «Канун весны» Жеромского не только был с энтузиазмом принят в Советской России, над ним еще якобы плакали довоенные польские коммунисты, которые чувствовали отдаленность от народа, а Жеромский помогал им это ощущение преодолеть. «Канун весны» стал поводом для известных выступлений критиков левого толка Юлиана Бруна и Анджея Ставара; коль скоро они были учениками Бжозовского, то считали, что Польша выпадает из главного течения истории, перелом которой совершается как раз в России, — вся слава приходилась на «немировское» понимание исторических закономерностей. Таким образом, не было другого логичного выхода, кроме как безоговорочно включиться в это течение: «и горели в камерах домны Магнитогорска». Ян из этого стихотворения Броневского закончил свой жизненный путь в советских тюрьмах, но об этом Броневский перед войной мог не знать⁸. Зато знали о судьбах польских офицеров и коммуни-

⁸ Написанное в 1931 году знаменитое стихотворение Владислава Броневского «Магнитогорск, или разговор с Яном» было посвящено польскому интеллектуалу и коммунисту Яну Хемпелю. После закрытия коммунистического «Литера-

стов в Советском Союзе «кузничане»⁹, показательное и влиятельное в первые послевоенные годы интеллектуальное объединение, которое примет историософию Бжозовского (отвергнув его самого) и придаст ей характер догмата. Кузничане были просветителями-прогрессистами, а они в отсталой стране обязательно догматики (так это было и в России в середине XIX века), потому что наблюдают вокруг регресс и хотят заместить его мыслительным прогрессом. Кузничане, т. е. Жулкевский, Котт, Шафф, Яструн, Херц, поскольку не были ни фанатиками, как соцреалисты, ни лакеями, как реалсоциалисты¹⁰, являют собой интересный пример. Они преклонялись перед историей, она была их алтарем, поскольку они были убеждены (борьба с фашизмом это подтверждала) в том, что верховные жрецы этого алтаря — советские коммунисты, к которым они и присоединялись, сочиняя многословные, к сожалению, философские, социологические и исторические обоснования. От полной слепоты, в которую впали юные соцреалисты (один из них написал поэму «Пламя»), кузничан охранял рационалистический этический кодекс и просвещенческий скептицизм. Но и так они восходят к «немировскому» архетипу и потому не будут забыты.

Оба подхода, по моему мнению, не слишком здоровы, но сегодня не стоит вести спор о том, какой лучше, а какой хуже. Они являют собой что-то вроде исторического достояния или, скорее, выработки и заслуживают внимания сами по себе — по существу и взаимной обусловленности. Понятно, что такое раздвоение, при котором все зло или все добро приписывается либо одному, либо другому народу, — симптом болезни и требует исследования само по себе, ведь скрыто или явно оно предполагает не терапию, но экстирпацию одной из сторон и часто эту экстирпацию мотивирует. Так что искать нужно источник этой болезни, оснований такого раздвоения, кото-

турного ежемесячника» в течение двух месяцев Броневский и Хемпель были соседями по камере в варшавской тюрьме. В своем стихотворении Броневский противопоставлял безнадежность польской «камеры» захватывающей картине «доменных печей Магнитогорска». Ян Хемпель, член руководства Коммунистической партии Польши, был в 1937 году арестован и убит в Москве.

⁹ Название группы происходит от издаваемого ею общественно-культурного еженедельника «Кузница» (1945–1950), вдохновителем и главным редактором которого был Стефан Жулкевский. Название журнала отсылало к деятельности публицистов, сгруппировавшихся в эпоху Великого Сейма вокруг Хугона Коллонтая и традиционно называемых «Коллонтаевой кузницей».

¹⁰ Как известно, соцреализм в Польше длился недолго (1949–1955 гг.), и его представителями были в основном писатели так называемого поколения «прыщавых» (родившиеся около 1925 г.). Реалсоциалистами с иронией называли прагматичных приверженцев «реального социализма» в версии Эдварда Гереча (1970–1980 гг.).

рые кроются в прошлом. А над историей наших взаимоотношений довели три проклятия, и их исторические корни так глубоки, как некоторые темы настоящей конференции. Первое: потеря Польшей государственной независимости. Второе: угроза утраты национального самосознания, связанная с захватническим гнетом. Третье: цивилизационное запаздывание, актуальное и по сей день.

Что касается потери независимости, то в русском контексте именно она требует некоторых уточнений. В отношении ни одного из захватчиков этот вопрос не был так сложен, как в отношении России, поскольку речь шла о независимости в границах после 1772 года. «Цельность» Речи Посполитой была догматом польских национально-освободительных стремлений, и ее добивались также все польско-российские революционные союзы. С другой же стороны, насколько можно судить, в течение двухсот лет не было ни одного русского, который был бы готов обсуждать с поляками вопрос «западных губерний». Эта терминологическая разница — с польской стороны «отнятые земли», а с российской «западные губернии» — как нельзя более выразительно показывает драматическое расхождение двух исторических перспектив. Рижский мирный договор 1921 года, являвшийся своего рода компромиссом, был компромиссом вынужденным и неприемлемым. Поляки считали свою независимость урезанной — русские потом, при Сталине, заключили союз с Гитлером, чтобы «объединиться». После Второй мировой войны согласиться с решениями ялтинской конференции было для поляков процессом травмирующим — русские до сих пор бывшие «западные губернии» считают сферой своего влияния, внутренней империей. Что из всего этого следует? А то, что источник эмоционального накала польско-российского взаимопереплетения не в тайных чертах народной души, а в совершенно конкретном многовековом соперничестве — имперском ли, колониальном ли — на тех самых землях, которые не являются ни польскими, ни российскими. Возникновение на них независимых государств — Литвы, Беларуси, Украины — медленно этот источник засыпает.

Взаимопереплетение, несомненно, остается, хотя его эмоциональный накал ощутимо ослабевает. Мы приближаемся к восприятию России Юлиушем Мерошевским¹¹, который был одновременно историче-

¹¹ Юлиуш Мерошевский, один из создателей парижской «Культуры», был самым выдающимся польским политическим публицистом второй половины XX века. Уделял много внимания польско-российским отношениям, или, лучше сказать, польско-российскому взаимопереплетению, и одна из его книг (*Политические

ским пророком и политическим реалистом, отдаляясь от восприятия Стефана Жеромского, хотя и великого духом и талантом, но никогда не избавившегося от антироссийского комплекса. Одной из причин этого комплекса была угроза утраты национального самосознания, которая, хотя сейчас и кажется невероятной, была реальна и как нельзя более сильно ощутима в последней четверти XIX века, то есть в годы детства и юности автора «Сизифова труда». Об этом свидетельствуют не только данное произведение и имеющие документальную ценность «Дневники» Стефана Жеромского, писавшиеся не для славы, но и вся литература «человеческого документа» времен Хурки и Апухтина. Русская школа, особенно начальная, конца XIX века в «привислинском крае» — одна из самых черных страниц в истории наших культурных, если можно так сказать, связей. Эта система пренебрегала нормами всеобщего образования, в то время как в цивилизованном мире установление и соблюдение этих норм было делом государственным. Страшен был не только чудовищно низкий уровень образования — не менее опасным был его антипольский стержень. Если верить свидетельствам современников, то оно не имело другой цели, кроме дрессировки тупого царского подданного, лишённого национальной самоидентификации. Потеря национального самосознания из-за чуждого образования, бывшего на самом деле невежеством, ужасна, и этот ужас был изведен в полной мере. О том, насколько глубоко, свидетельствуют в свою очередь «Дневники» Марии Домбровской, которая, будучи свободной от антироссийских комплексов, видит в коммунистах захватчиков, а в сталинистах — русификаторов. И в середине этого века по-новому переживает старые страхи. Угроза потери национального самосознания влечет за собой неприятие России, неприятие столь же безоговорочное, что и в романах Жеромского или Конрада, который в данном вопросе несомненно является его единомышленником. И все же каждый раз, когда мы сегодня имеем дело с таким неприятием, необходимо понимать, что в нем говорит измельчавший комплекс прошлого.

Третье проклятие, нависшее над нашими взаимоотношениями, — цивилизационное запаздывание. Если потеря независимости грозит утратой национального самосознания, то цивилизационное запаздывание угрожает коллапсом, что может означать уничтоже-

неврозы», 1967) целиком посвящена этой проблематике. Позицию Меровского лаконично характеризует следующий афоризм: «Лично я антисоветчик, но национальная гордость не позволяет мне влиться в многоголосый хор поляков, которые высмеивают и унижают русских».

ние, как это случалось с колонизованными народами. Однако если национальный вопрос на протяжении более чем двух столетий обращал нас против России, то проблема цивилизованности нас роднила, поскольку Россия была и отчасти все еще является отсталой и мы не без содрогания наблюдаем ее внутреннюю борьбу. Она была одновременно — и это казалось дьявольским парадоксом — отсталой и могущественной. Из этого парадокса вытекали те тщетные надежды, которые питали польские реалисты XIX века и марксисты XX века, так как, обманываясь, считали, что если эта мощь «проснется», то есть можно будет использовать весь ее скрытый потенциал, то произойдет небывалый скачок в развитии. Споры российских интеллектуалов прошлого века о возможности перемахнуть через капитализм оказались подготовкой сознания к такому скачку. Скачок, «какого свет не видывал», является тем не менее риторической фигурой реального бессилия, и чем оно сильнее, тем выше полет сознания. За неимением других средств всякая лошадка хороша, даже темная и, может, именно темная. Ею может быть Нечаев, которого изобразил как героя — полемично по отношению к Достоевскому — Бжозовский в «Пламени», а может — уже не в литературе, но в истории — всемогущая политическая полиция, которой руководит Феликс Дзержинский, или сильная, стоящая за Вислой, армия, которой командует Константин Рокоссовский. К этой силе присоединяются марксисты и реалисты, препарируя и предоставляя исторические и геополитические аргументы соответственно. Как далеко они зайдут или вынуждены будут зайти в борьбе со своими противниками, делая из них «польских реакционистов», — вот вопрос, который они сами должны будут решать. Сегодня уже нет всей этой ментальной структуры, так называемые историческая и геополитическая аргументация претерпела существенные изменения. В Польше, как только начал действовать механизм модернизации, все это ушло в прошлое. Поняли ли уже и в России, что за взлетами неминуемо следуют падения, что серьезность упадка напрямую зависит от масштабов скачка? Не знаю.

Есть ли какой-то третий, находящийся между двумя противоположными полюсами, тип польского отношения к России, если не абсолютно здорового (ведь, собственно, что такое абсолютное здоровье в культуре?), то хотя бы не болезненного? Предпосылки его складывались везде, где та или иная (оподленная или облагороженная) эмоциональная легенда о России перевешивалась глубоким познанием, которому сопутствовало признание. Зачатки такого отношения находим уже на рубеже веков, в философии Мариана Здзеховского и эссеистике

Станислава Бжозовского. Ни один из них не отвергал России, но и не относился к ней некритически; оба признавали самостоятельно оцененные достижения русской культуры и ощущали родство с их наиболее выдающимися создателями. В период межвоенного двадцатилетия прекрасно развивалась польская русистика, образцовым представителем которой был всемирно признанный Вацлав Ледницкий. А культурно значимая русская эмиграция? Дмитрий Философов создал в Варшаве «*кружок*», который назывался «Домик в Коломне», и в него в том числе входили Мария Домбровская, Ежи Стемповский, Ежи Гедройц и Юзеф Чапский. Тот же Чапский, который по поручению генерала Андерса одним из первых занимался судьбами польских офицеров, считавшихся тогда пропавшими без вести, написал об этих перипетиях книгу, название которой слегка вводит в заблуждение. «На нечеловеческой земле» — книга, вне всякого сомнения, о преступлении, но также и рассказ о людях в России и о русских как о людях. Позже ее автор сражался с поборниками эмигрантского «зоологического» отношения к России как публицист. Мария Домбровская, приходившая, как уже говорилось, в ужас от сталинизма, могла выступать достойно и разумно, если речь шла о Гоголе или о Толстом. Ярослав Ивашкевич старался соблюдать дистанцию в отношении актуальных вопросов истории, за что платил слишком высокую цену, но его «Петербург» — произведение редкостное, прекрасное. Довоенные еще произведения Станислава Рембека («В поле») и послевоенные Игоря Неверли (особенно «После пира богов осталось») также вписываются в этот контекст. Владислав Терлецкий написал цикл повестей, проникнутых мыслью о том, что польско-российские отношения даже в самые драматичные исторические моменты («Лица 1863») были взаимопереплетением, а не насилием. Незабываемый и неопенимый Анджей Дравич во всех своих ипостасях, историки идеи Анджей Валицкий и Рышард Пшибыльский, целая плеяда прекрасных переводчиков того же поколения — все они делали общее дело, из их произведений черпают сегодня их последователи. Парадигматической в течение полувека и потому единой в своей силе и постоянстве была позиция парижской «Культуры», создаваемая Ежи Гедройцем, Юлиушем Мерошевским, Юзефом Чапским, Чеславом Милошем, Густавом Герлинг-Грудзиньским и другими писателями, мыслителями, историками. Оценивать наследие и роль «Культуры» я не буду, поскольку их надо изучать. Так, как изучали и изучают наследие «Колокола», ибо «Культура» была колоколом XX века.

Католичество и православие — история и современность

«Нельзя объять необъятное», — утверждал известный персонаж русской литературы, и с ним трудно не согласиться, когда размер статьи так мал, а тема столь обширна. Нужны какие-то рамки. Поэтому в своих размышлениях я ограничусь чисто церковным аспектом проблемы, которая, будучи одной из ключевых для судеб европейской цивилизации, проливает свет как на национальное прошлое и настоящее, так и национальную культуру и самосознание поляков и русских. Разумеется, исторический контекст неизбежен, однако мне кажется важным не столько дать исчерпывающее представление об истории схизмы, сколько ухватить те моменты, которые были и продолжают быть — несмотря на все попытки вернуться к состоянию Церкви до 1054 года — решающими в существующем до сегодняшнего дня разделении.

Выбранный угол зрения не означает, что рассматриваемые проблемы носят какой-то отвлеченный характер и далеки от нашей конкретной действительности. Как раз напротив, межконфессиональные контакты, в том числе и неподобающая вражда между Церквями, никак не соответствующая вере в единого Бога, объявленного в Иисусе Христе, — всегда были, есть и будут насквозь конкретны. Они воплощаются в самых разных областях человеческой жизни, не всегда, правда, пользуясь для этого достойными христиан методами. Бывало не раз в истории и, к сожалению, бывает ныне, что общественные и политические силы используют Церковь для своих целей, или, что еще хуже, сама Церковь пользуется оружием из нерелигиозного арсенала, к примеру, идентифицируя себя с какой-то политической партией или органами власти.

Уже в далеком прошлом — начиная с эдикта Константина 313 года, названного эдиктом Миланским, дух которого витал в Никее во время собора, — Вселенская Церковь, получив свободу исповедания веры, тотчас же постаралась соединить власть духовную и светскую, тоже средствами не вполне сообразными с верой. Для соединения людей с Богом, для универсализма христианства это на протяжении веков имело откровенно плачевные последствия. И счастье, что теперь ситуация радикально меняется, хотя и не без трудностей.

Итак, начнем с общеизвестного события. 1054 год положил конец единству Церкви. Однако и в течение десяти первых веков оно, правда, еще не разорванное надвое, отнюдь не представляло

собой некий монолит — доктринальный, литургический или обрядовый. Достаточно проследить хотя бы в общих чертах работу первых соборов со всеми их анафемами всевозможным ересям (что, пожалуй, было неизбежно при формировании христианских доктрин и разработке проблем, касавшихся взаимоотношений Лиц Пресвятой Троицы) или вспомнить то множество обрядов, которые более или менее согласно сосуществовали в ту пору.

Параллельно уже во времена апостолов ветхозаветная традиция стала ощущать эллинское влияние. Это ярко продемонстрировал Первый Иерусалимский собор. Евреи считали должным навязать обращенным язычникам Закон Моисея. Этому воспротивился Петр. Его аргументы находим в Деяниях Апостолов (11,1–18):

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Этот эпизод имел огромное значение, причем не только доктринальное. Он сделал очевидным инкультурацию христианского Откровения, как мы сказали бы сегодня. Пользуясь пока еще чисто библейской аргументацией, защитник языческих народов, святой Петр, одержал решительную победу. Крещение в Духе Светом является достаточным свидетельством того, что язычники получили дар веры без знака Ветхого Завета, которым было обрезание, и даже без иоанновского крещения водой. И первое, и второе, стало быть, не является непременно условием для того, чтобы стать христианином.

Так открываются уникальные черты избранничества Израиля, который изначально был носителем всеобщего, по-гречески — католического — послания, обращенного к каждому человеку, к каждому народу, ко всему человечеству.

Но это только начало процесса взаимопроникновения библейских элементов, с одной стороны, и философско-богословских, прежде всего, но и культурных также — с другой. Уже в третьем веке нашей эры проблемы веры осмыслялись — как индивидуально, так и на соборах, — в философских категориях. Пример — учение Тертуллиана. Никейский Собор 325 года — тот самый, который наряду с Халкидонским (451) имел решающее значение для позднейших разногласий западного и восточного христианства — занимаясь такой деликатной проблемой, как божественная сущность Христа, выражает Его идентичность с Отцом в чисто философских категориях,

которые заимствует у греческих мыслителей. Тут надо отметить, что в процессе перевода с греческого на латинский нередко теряется односторонность принятых формулировок, как было, например, с пресловутым *Filioque*¹.

Одновременно происходят и другие не менее важные процессы.

Константин переносит столицу империи из Рима в Константинополь, где, понятно, возникает новый патриархат — к тому времени пятый по счету (Римский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Константинопольский). Прима Рима при этом сохраняется. Но отношения между патриархатами скорее напоминают отношения соперников — довольно напряженные и не свободные от конфликтов. Римский и Константинопольский патриархаты еще задолго до схизмы 1054 года живут в периодическом разделении. Однако это происходит, если так можно сказать, на институционально-иерархическом уровне и поэтому практически никак не ощущается верующими.

Переломным моментом в процессе самоопределения православия стал Халкидонский собор. Константинополь стал центром *Ортодоксии*. Само это слово соответствует русскому слову *православие* (*orthos* — правильный, прямой, *doxa* — мнение) в значении праведная, истинная вера, в отличие от других неправедных и неистинных. Приняв такое название, Константинопольская церковь хотела противопоставить себя мелким схизмам, но отнюдь не Риму; связи с ним она порывать не собиралась, хотя, как я уже отмечал, смотрела на него косо и время от времени вступала с ним в перепалки.

Думаю, на этом примеры можно закончить. Они важны для нас постольку, поскольку способны показать, как глубока связь христианского Откровения с человеческой историей — с культурой, философией, искусством, политикой. Разорвать эту связь невозможно, а если попытаться сделать это, то станет невозможным понимание как тех влияний — позитивных и негативных — которые ощущало и ощущает на себе христианство, так и саму его историю, озаменованную внутренними расколами.

До великой схизмы, которая продолжается по сей день, дело довел константинопольский патриарх Михаил Керулариос. Однако и

¹ Речь идет о происхождении Святого Духа. Восточная традиция утверждает, что Дух Святой происходит от Бога Отца. Западная Церковь ввела в девятом веке в Символ Веры добавочное слово *Filioque* (и Сына), подчеркивая тем самым, что Дух Святой в равной мере происходит от Отца и Сына.

римский кардинал Хумберт оказался не без греха. В долгих спорах, которые предшествовали финальному акту этой исторической драмы, невежество обеих сторон нередко приводило к трагикомическим ситуациям. Так, например, Хумберт упрекал восточных христиан в том, что они выбросили из Символа Веры *Filioque* (между тем именно Западная Церковь в девятом веке внесла в Credo это добавочное слово). Керулариос, в свою очередь, утверждал, что связь Константинополя с Римом имела место только с восьмого столетия. После всех этих конфузов Хумберт отлучил — именно в 1054 году — константинопольского патриарха от Церкви, что, впрочем, никакого практического значения не имело, поскольку во время миссии кардинала умер папа, а новый еще не был выбран (Хумберт в тот момент знать об этом еще не мог).

В действительности, конечно, наиболее значимыми для возникновения схизмы были следующие факты:

Рим свершил помазание на царство Карла Великого, что на Востоке восприняли как откровенную поддержку соперника Восточной империи. Установление в Константинополе Латинской империи (1204, четвертый крестовый поход) уже после раскола сильно повлияло на дальнейшую драматизацию отношений двух церквей.

Серьезное значение имело также отсутствие общего, равно понятного обеим сторонам языка (отсюда, к слову сказать, и многие недоразумения — начиная от *Filioque* и кончая переводом на русский язык латинского *infaibilitas* как непогрешимость²). Это делало невозможным процесс взаимного познания и признания происходящей эволюции взглядов как в западном, так и в восточном христианстве. Литургические различия издали наблюдавшим друг за другом оппонентам стали казаться каким-то чудачеством, а западная схоластическая теология явно не воспринималась восточной ментальностью и отторгалась восточнохристианским богословием.

С другой стороны, римская правовая ментальность сильно способствовала тому, что примат римского первоепископа чем дальше, тем больше приобретал черты жесткой централизации. А это противоречило восточной практике соборности.

² «Infaibilitas» неправильно переведено на русский как «безошибочность». На самом деле это догматическое понятие касается догмата, принятого Католической Церковью на Первом Ватиканском соборе (1871), о «безошибочности» — а не «непогрешимости» — папы в вере и нравственности, когда он выступает официально (*ex cathedra*) как первый епископ Католической Церкви.

Спорадические попытки как-то примирить спорящие стороны не давали положительных результатов. Правда, в 1439 году на Флорентийском соборе удалось прийти к некоторым доктринальным соглашениям³. Но представителям Константинопольской и Московской Церквей провести их в жизнь не удалось. Усилия Михаила Палеолога разбились о яростное сопротивление большей части византийского духовенства, а митрополит Исидор был попросту брошен в тюрьму великим князем московским Василием Темным. Таким образом, вопрос о возможности начать процесс воссоединения посредством реализации принятых договоренностей отпал сам собой.

Что касается уний православия и католичества⁴, то они изначально были отмечены печатью несовершенства. Православные смотрели на униатов как на предателей не только церкви, но и своего народа, а в глазах латинян они всегда были кем-то вроде бедных родственников. Плюс к тому политики враждующих стран всегда стремились использовать унию как средство для достижения своих целей, а «обращение» униатов в православие всегда выливалось в акты административной дискриминации, последним из которых был в сталинские времена так называемый Львовский собор 1946 года.

Попытки церквей преодолеть разъединенность — даже такие неловкие, безрезультатные и не всеми в равной мере подерживаемые — сами по себе свидетельствуют, что за десять веков христиане так и не примирились с существующей ситуацией. Ясное понимание того, что раскол христиан есть нечто абсолютно противоестественное, и прежде всего первосвященническая молитва Иисуса, обращенная к Отцу — *Да будут все едины* — вот основные мотивы экуменической деятельности Католической Церкви. Второй Ватиканский Собор (1963–1965) рассматривал эти жизненно важные для христианства вопросы на нескольких заседаниях. Со времен Иоанна XXIII (1958–1963) католики постоянно выступают с различными инициативами, направленными на поддержание и развитие экуменического диалога. Нынешний папа Иоанн Павел II посвятил этой проблеме много документов. Среди них есть энциклика, которая так и

³ Например, речь касается «Filioque», примата римского первоепископа, действительности таинств и т. д.

⁴ Наиболее известна Брестская Уния (1596), когда часть православных епископов заключила договор с Ватиканом. Сохраняя восточные традиции и обряды, узнала примат римского первоепископа. Потом была еще Ужгородская Уния (1647). Похоже было и в других восточноевропейских странах.

начинается — со слов «*Ut unum sint*» («Да будут все едино»). Напоминая о том, что Декрет Второго Ватиканского Собора, постановление об экуменизме «*Unitatis reintegratio*» («Восстановление единства») принимает во внимание вину как одной, так и другой стороны, признавая, что вину вообще ни в коем случае нельзя приписывать только «другим», папа говорит:

*По милости Божьей не было уничтожено ни то, что является структурой Церкви Христовой, ни её живая связь с другими Церквями и христианскими общинами (...). Элементы святости и истины, которые в разной степени присутствуют в других христианских общинах, являются объективным основанием для некоторого, хотя и не вполне совершенного общения с Католической Церковью*⁵.

Здесь, как мне кажется, указано на то, что наиболее существенно для процесса объединения христианских конфессий, который Католическая Церковь официально начала на Втором Ватиканском соборе. Признавая свою часть вины, а значит, и ответственности за возникшую ситуацию, Католическая Церковь стремится подчеркнуть, что сохранилось и много общего. Прежде всего — сама основа построения Церкви Христовой, изначальное единство всех верующих в Иисуса; то, что дает им средства к освящению. Речь здесь идет об очень конкретных вещах, а именно — о необходимости равно признать действительность таинств в православной и католической Церквях; о том, что в православно-католическом документе от 1993 года нашло следующее отражение:

*(...) Богатство, переданное Христом Своей Церкви, — проповедь (professio) апостольской веры, участия в одних и тех же таинствах, особенно в едином таинстве священства, совершающего единое жертвоприношение Христово, апостольскую преемственность епископов — не может рассматриваться как исключительная принадлежность одной из наших Церквей*⁶.

Как видим, здесь нет даже тени того, что можно было бы истолковать как некую тактику «обращения», как прозелитизм. Согласно другой папской энциклике, экуменизм сестринских церквей Востока и Запада основывается на диалоге и молитве, стремится к полноте церковного общения, без поглощения одной конфессии

⁵ Энциклика «*Ut unum sint*» — Да будут все едино, Libreria Vaticana, с. 13, нр. II.

⁶ «Униатство, как способ объединения в прошлом и поиски полного единства в настоящем», Баламанд, 1993 г.. Изд. Unite 2 — Единство, Mesnil Saint-Loup — Старое Бобреново, с. 149, нр. 13.

другой или их смешения, в форме встречи в правде и любви⁷. Общее основание является условием для экуменического диалога. Признание своей вины придает ему импульс нравственного долга. Диалог, таким образом, становится экзистенциальным, вовлекающим всего человека — его разум, волю, эмоции.

Однако во имя успеха развития диалога, говоря о том общем, что сохранили наши Церкви, не следует забывать и о доктринальных различиях, о прошлых обидах, о взаимном предубеждении, о тех недостойных средствах, при помощи которых объединение пытались подменить подчинением, единство — единообразием, не слишком задумываясь над тем, что раскол христиан ставит под сомнение свидетельство их веры, поскольку любые распри ей явно противоречат. Иными словами, различия не исключают диалога, напротив, диалог является средством их преодоления, если, конечно, не забывать о должном уважении к обоснованному мнению противоположной стороны. Для подлинного диалога равно опасно как затушевывать реально существующие противоречия, так и отказываться от совместных путей их преодоления: и то и другое может свести диалог до банальных, ничего не дающих споров, в пору которых легко забыть об общем долге поисков истины и ограничиться ожесточенной защитой своих позиций.

Разумеется, никто никому не в состоянии навязать необходимой открытости. Но диалог предполагает наличие, как минимум, двух собеседников: в данном случае — Католической и Православной Церквей. Иначе говоря, доверие к партнеру для каждой из сторон является личной моральной обязанностью, накладываемой верой в единого Бога; каждая из сторон свободно, принуждаемая только верой (вертикальное измерение), принимает решение сделать что-то для развития экуменического диалога и реального объединения (горизонтальное измерение) во имя того единства, о котором молился Иисус. Только в этом случае, как мне кажется, мы будем иметь шанс не подменять христианский универсализм борьбой за наибольшее влияние на данной территории своей (не универсальной!) конфессии.

Не без причины папа Иоанн Павел II в упомянутой выше энциклике обращается к документам Собора (*Dignitatis humanae* — Человеческое достоинство), посвященным свободе человека. Чтобы диалог — как межличностный, так и межконфессиональный, —

⁷ Энциклика «*Slavorum Apostoli*» — Апостолы Славян, изд. Pallotirnim, Познань, 1985 г. с. 24, нр. 27.8. «Униатство, как...», с. 157, нр. 24.

мог начаться, необходимо стремление к нему. А это всецело зависит от человека, в том числе — а может быть, особенно — тогда, когда человек стоит во главе Церкви. Без стремления к диалогу обоих партнеров возможно только одностороннее его продолжение, терпеливо протянутая рука, то есть — ситуация пред диалогом.

Хотя в последнее время экуменизм, похоже, переживает кризис, хотя плоды тридцатилетних усилий в этом направлении могут показаться скромными, следует все-таки отметить и некоторые достижения. В 1965 году Святой Престол и Константинопольский патриархат сняли друг с друга взаимные анафемы. Действует международная православно-католическая комиссия, которая на четырех своих заседаниях приняла совместные заявления по следующим темам: «Таинство Церкви и Евхаристии в свете тайны святой Троицы» (Мюнхен, 1982), «Вера, таинства и единство Церкви» (Бари, 1987), «Таинство священства в структуре таинств Церкви, в частности, важность апостольской преемственности для освящения и единения народа Божьего» (Новый Валаам, 1988), «Унияство, как способ объединения в прошлом и поиски нового единства в настоящем» (Баламанд, 1993). Темой следующего семинара станет подготовленный Папским советом по единству христиан рабочий документ — о греческой и римской традициях исхождения Святого Духа (*Filioque*).

Существует практическая инструкция, которая обязывает католических и православных священников информировать друг друга о своих планах и методах деятельности, чтобы избежать прозелитизма. Вместе с тем существует Баламандское соглашение, в котором установлено, что *религиозная свобода требует, чтобы верующие могли, в частности, в конфликтных ситуациях выразить свое мнение и без давления извне решить, с какой Церковью им пребывать в общении — с Православной или Католической* (8).

Конечно, все это не может устранить ощущение своего рода незавершенности, или малой продуктивности экуменического диалога. Даже совместно принятые решения далеко не во всех патриархатах вызывают одинаковую реакцию, а православных Церквей, как известно, много. Особая статья — Московский Патриархат, отношение которого к католикам все еще несвободно от груза многовековых обид, в большей или меньшей степени обоснованных. Чтобы их преодолеть, необходима глубоко религиозная мотивация братского сотрудничества и — если угодно — понимание, что соблазн раскола подрывает авторитет обеих Церквей. Похоже, однако, что Католическая Церковь яснее осознает порочность ситуации, высказы-

вает большую готовность положить конец многовековым недо-
разумениям.

Честно говоря, трудно возразить тем, кто считает, что эку-
менический диалог с Московской Патриархией все еще находит-
ся в стадии односторонних предложений. Чаще всего дело не
идет дальше спора о вещах, в сущности, второстепенных. Порой
даже кажется, что сами понятия экуменизма или диалога в рос-
сийском православии имеют какое-то свое, особое, не зафикси-
рованное традиционными словарями значение — с оттенком
«обращения», скрытого прозелитизма или конкуренции.

Как и девять веков назад, политика, а точнее — оказавшая-
ся слишком крепкой связь алтаря и трона, играет не последнюю
роль. С другой стороны, попытки российских католиков замк-
нуться в своем немногочисленном кругу, часто национальном,
как в осажденной крепости, положительного влияния на взаи-
моотношения двух наших Церквей тоже явно не оказывают.

Выход из этой ситуации может быть только один — более глу-
бокое осознание сущности веры в конкретных условиях. Нам ни-
куда не уйти ни от самой веры, ни от наложенных ею нравствен-
ных обязанностей, в том числе и по отношению к окружающему
нас миру, ни от позитивных и негативных ее проявлений — внутри
конфессий и в собственной жизни. Нам, людям, следовало бы про-
явить большее великодушие и ответить доверием на доверие, пове-
рить в Божью помощь с той безграничностью, которая сквозила
хотя бы в этой молитве — *Да будут все едино*. А ведь необходимо
было поистине Божье доверие человеку, чтобы поставить в зависи-
мость от сотрудничества с ним существование Богочеловеческой и
общечеловеческой *саттито* (общения).

Игумен Игнатий (Крекин)

Экуменический этюд

В последнее время движение к христианскому единству, получившее название экуменизма, повсеместно переживает кризис. Он коснулся не только межконфессионального диалога (например, фактически приостановлена работа международной смешанной православно-католической богословской комиссии). Поставлено под угрозу само существование крупнейших международных экуменических организаций (Всемирный Совет Церквей).

В чем видят причину этого кризиса?

Противники экуменизма вообще говорят о невозможности межконфессиональных отношений, построенных на принципе единства в многообразии, то есть согласного существования в свободе и любви различных христианских традиций (такой подход типичен для представителей католического интегризма, православного консерватизма, протестантского фундаментализма).

Сторонники экуменического движения причину современного кризиса усматривают в несоответствии сложившихся в послевоенное время форм межхристианского диалога происшедшим в минувшее десятилетие культурно-политическим изменениям (самое значительное из них — крах коммунизма).

Преодоление кризиса первые видят в формальной унификации определенной исторической традиции, вторые — в формальной же институционализации христианских церквей и общин. Но какими бы оправданными ни казались поиски историко-культурной идентичности отдельных поместных церквей (опасность утраты которой очевидна в силу происходящих процессов мировой интеграции) и сколь важной ни представлялась бы необходимость создания единой международной христианской организации, эти интенции едва ли могут разрешить всю остроту современного экуменического кризиса.

Очевидно, что суть проблемы следует искать в иной плоскости — в кризисе христианского гуманизма. Наше столетие, ознаменованное провозглашением декларации прав человека, войдет в историю всеобщим попранием прав человека, унижением человеческого достоинства, самой утратой основ человеческого бытия. Создание бесчеловечных тоталитарных режимов, мировые войны, культурный и религиозный геноцид — вот чем будет отмечено наше столетие, и перед этим цивилизованным кошмаром вряд ли устоят защитники христианского гуманизма. И не должны ли мы

будем согласиться с теми, кто говорит о том, что мы живем в «постхристианскую эпоху»?

Не последнюю роль в кризисе христианского гуманизма играют сами христиане, призванные к евангельскому свидетельству миру, но так часто от этого свидетельства отступающие. Путь к истине в истории христианства часто был отмечен забвением любви — и это прекрасно почувствовал Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе».

Как часто христиане подменяли слово Божье — слово Любви — своими преданиями (Мф 15:6), Богочеловеческое — «человеческим, слишком человеческим». Сияние истины и любви порой затмевалось тьмою ненависти и нетерпимости к ближнему.

Но еще апостол Любви писал в конце I века: «Если кто скажет: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, он лжец, ибо не любящий брата своего, которого он видел, не может любить Бога, Которого не видел. И мы имеем эту заповедь от Него, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Сам Иисус Христос оставил нам заповедь любить друг друга (Ин 15:12). Именно через любовь к человеку лежит путь любви к Богу, который примиряет с Собою мир и человечество.

Только в обретении Вечного человека, человека страдающего и униженного, но все же сотворенного по образу и подобию Божьим, достигнет мир во всем его многообразии примирения.

В экзистенциальной тайне человека открывается и тайна Голгофы, через которую Христос примирил мир с Богом и на которой уже нет «эллина и иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех — Христос» (Кол 3:11).

В XX веке этот экзистенциальный опыт глубоко пережили Максимилиан Кольбе и мать Мария Скобцова, Дитрих Бонхеффер и Эли Визель, Александр Мень и мать Тереза.

В этом экзистенциальном богочеловеческом опыте деятельной и страдающей любви христиане найдут путь к утраченному единству друг с другом и со всем человечеством. И какими бы глубокими ни казались противоречия и даже разделения христиан, они могут быть преодолены в этом человеческом опыте Божественной любви.

Только в предстоянии Бога и человека, в этой вечной экзистенции мира, будут преодолены исторические и культурные перегородки между христианами, а затем — и со всем человечеством.

В этом — единственный путь человечества.

**НАШЕ
ПРОШЛОЕ**

Формы актуализации традиции в Речи Посполитой и Московской Руси

В XVI веке Европу все еще волновали проблемы, которые возникли в связи с падением Константинополя и спорами вокруг церковной власти на Западе. Взаимоотношение религии, философии, политики, а с другой стороны соперничество таких центров человеческой общественности, как город и государство, Церковь и власть, стимулировали возникновение в разных регионах Европы особых культурно-цивилизационных организмов. В шестнадцатом столетии решающее значение приобрели общественные институты. Их присутствие или отсутствие, степень развития или сила идеи, позволяющей им осуществиться, определяли судьбы данного общества в следующих столетиях.

Институтом, который приобрел в Польше довольно значительный характер, была дворянская демократия, основанная на конституции *Nihil novi*. Она воспрещала предпринимать какие-либо решения в государстве без участия дворянства. Дворянская демократия определяла пути внутреннего развития (налоги, войско, хозяйство, элекция королей) и внешней политики (войны, унии, трактаты). Дворянство насчитывало тогда 8% населения государства¹.

Другим решающим институтом был Краковский университет и свыше пятидесяти других учебных заведений, которые способствовали умозрительному подходу к осмыслению действительности, в том числе к этике, политике, церкви и вере.

Сравнительно менее значительную позицию занимали тогда институт власти и Церковь.

Польша с Литвой времен последних Ягеллонов — это большое, многолюдное, довольно богатое государство с известными достижениями в области науки. Реституция Краковской академии в 1399 году, благодаря постановлению королевы Ядвиги, сделала возможным образование молодежи на европейском уровне.

Университетская профессорская международная среда, гости краковского архиепископа Гжегожа — представители европейского гуманизма, а также образованные церковные иерархи и высокие государственные чиновники — такие, как Ян Длугош, Ян Остроруг —

¹ Характерно, что евреи, которые в Речи Посполитой составляли тогда 5% населения, считались отдельным сословием и пользовались собственным правом — так называемыми привилегиями Казимира Великого 1369 года.

формировали общественное мнение дворянства Речи Посполитой. Печатные издания с 1473 года способствовали обмену мнениями ².

В. Татаркевич подчеркивает, что философией в Польше занимались тогда две общественности: университетская и круги, приближенные к магнатским дворам ³. Университет продолжал еще заниматься метафизикой, остальные концентрировались уже на современных проблемах общества и политики. Такой порядок был характерен для умственной культуры того времени. Рождалось убеждение, что наука должна решать проблемы текущей жизни. Поэтому-то со временем большая часть научных трактатов посвящалась темам моральной философии, истории и права. Ученики схоластов, утомленные запутанными исследованиями в области онтологии, спорами томистов со шкотистами — старались затушевать разницу между доктринами, ассимилировали античную мысль в упрощенном виде. Тем более что среди источников античной мысли появлялись также внефилософские тексты. Большой популярностью в краковской *alma mater* пользовалась тогда *Philosophia pauperum* — компиляция текстов Аристотеля и Альберта Великого, а также трактаты Леонардо Бруни, указывающие на утилитарные цели моральной философии ⁴. В программе обучения появились гуманитарные предметы. Профессора начали выдвигать лозунг обучения молодежи в пользу Речи Посполитой. Критерий утилитаризма стал обычным при формировании программы обучения ⁵. Рядом с Аристотелем появились Цицерон и Демосфен. В античной мысли ученые искали этических обоснований для воспитания гражданина. Это способствовало развитию общественной этики. Моральный активизм был направлен на формирование самого себя, всех вокруг и даже государства. Характерный для того времени спор между сторонниками *vita activa* и *vita contemplativa* склонялся на сторону активизма. Это порождало следующий, но имеющий богатое прошлое, вопрос, касающийся политической морали. Для наших рассуждений важно замечание, что христианское Средневековье не рассматривало этих категорий в противостоянии. Со времен св. Константина политика считалась подчиненной христианской этике. На практике с нарушающими принципы христианской морали правителями боролись церковные иерар-

² Историки называли вторую половину XVI века «золотым веком» польской культуры. Подчеркивает этот факт и английский историк (N. Davies. *Boże igrzysko. Historia polski*. Kraków, 1990, s. 207).

³ W. Tatarkiewicz. *Słowo wstępne // Filozofia i myśl społeczna XIII–XV wieku / Red. J. Domański*. Warszawa, 1978, s. XI.

⁴ Ср.: J. Czerkawski. *Humanizm i scholastyka*. Lublin, 1992, s. 17–18.

⁵ Ср.: J. Domański. *Początki humanizmu*. Wrocław, 1982, s. 159–183.

хи. В Западной Европе, с момента основания университетов возникла третья сила — интеллектуалы, которые по отношению к власти, как замечает Ю. Доманьски ⁶, взяли на себя обязанность экспертов и моралистов. По отношению к Церкви они играют роль защитника независимости светской власти. В результате интеллектуалы берут на себя часть компетенции этих институтов.

Отделение морали от политики в католических государствах происходило параллельно с отделением Церкви от государства. Моральное покровительство университетской элиты над властью предержащими строилось на научных началах. *Plus ratio quam vis* — писал в своей проповеди Станислав из Скарбимежа ⁷. Эта античная мудрость, отождествляемая с наукой, исходила от Бога на землю благодаря университету, месту, где соединяются все блага человечества: справедливость, добродетель, любовь, закон и разум, Священное писание, грамматика и логика — гласит Станислав из Скарбимежа в похвальном слове на возобновление Краковского университета ⁸.

Станислав из Скарбимежа, Павел Влодковиц — выдающийся юрист, и многие другие, считали право научной формой морали, которая позволяет воплотить ее в жизнь. На этой основе Павел Влодковиц — священник и канонист — входит в спор с каноническими правилами на тему свободы совести. Он обращается к церковным иерархам, как к юристам. (Обращаясь к краковскому митрополиту, величает его прежде всего доктором обоих прав.) ⁹

Схоластический принцип стремления к правде в вышеупомянутых трактатах отодвинут на задний план. Ученые пользовались прежде всего юридическими и доктринальными обоснованиями для своих постулатов, целью которых было решать проблемы сего дня. На смену юридическим и моральным диссертациям в XVI веке приходит морально-политическая публицистика. Мемориал Яна Остроруга, как замечает Доманьски, — это пример эмансипации политики от философии. Способ аргументации Остроруга, защищающего сильную королевскую власть, является шагом на пути к способу аргументации, близкому Маккиавелли ¹⁰. Прагматизм и отсутствие дока-

⁶ Op. cit., s. 163.

⁷ Kazanie 46 // *Filozofia i myśl społeczna XIII–XV wieku* / Red. J. Domański. Warszawa, 1978, s. 83.

⁸ Pochwała Uniwersytetu na nowo ufundowanego. Ibidem, s. 82.

⁹ Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie 46, op. cit., s. 83–84; *Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do pogan* // *Filozofia i myśl społeczna XIII–XV wieku*. Op. cit., s. 183–211.

¹⁰ J. Domański. Początki humanizmu. Op. cit., s. 172.

зательств, относящихся к моральным основам политики, похожи на аргументацию Маккиавелли, можно заметить в анонимном произведении *Советы Каллимаха (Rady Kallimacha)*.

Высокий уровень образования дворянской молодежи, которая училась также в Италии и Париже, антропоцентрическое направление философского мышления в европейских университетах вели к переоценке роли человека в обществе, к поискам лучшей организации государственных институтов. Защита групповых интересов в государстве проводилась не без учета умозрительных заключений по данному вопросу. Дворянство боролось за свои права, пользуясь конкретной доктриной, опубликованной в 1507 году Станиславом Заборовским под заглавием *О природе королевских прав и имуществ (O naturze praw i dybr królewskich)*. В ней подчеркивается, что король имеет власть, но государство не является его собственностью. Король — администратор, хотя управляет дворянской общественностью, однако она, как таковая, выше него. Свое главенство дворянство считало правом, и, хотя многие выдвигали при этом лозунг возрождения традиции, консерватизма, программа была рассчитана на ослабление королевской власти в пользу дворянства.

На сейме в 1538 году король подписал декрет о свободной королевской элекции (выборности короля) после смерти своего сына Сигизмунда Августа. Этот юридический факт закрепил давно уже существующий обычай.

По инициативе краковского епископа Томицкого в университете начали преподавать римское право. Распространение знаний в области римской политической и юридической мысли имело огромное влияние на развитие дворянской идеи с ее демократизмом, чувством ответственности за государство и стремлением участвовать в правлении. Однако действительное участие римского права в польской юридической практике, особенно в аграрном праве и действии дворянских судов, было незначительным. Более существенную роль оно сыграло в городских судах, но их позиция в польской правовой системе была слишком слаба, чтобы влиять на порядок права в государстве. Дворянство видело пользу в идее римских гражданских привилегий и права неприкосновенности собственности. Оно, однако, опасалось политических последствий введения римского права. Раньше дворянству угрожала зависимость от немецкого кесаря, наследника имперской власти, потом реальной угрозой стала крепкая правовая позиция власти короля. В абсолютизме дворянство усматривало угрозу для собственных сословных привилегий. Также хозяйство в Польше не было настолько связано с капиталом, как например, во

Франции, чтобы оно стимулировало введение римского права ¹¹. В тогдашней Речи Посполитой каждое сословие пользовалось своим правом. Равновесие между правами отдельных сословий сохранялось за счет столкновений их партикулярных интересов.

Развитие дворянской демократии при недостаточно сильной позиции Церкви способствовало распространению протестантских настроений. Сошлись они с критическим отношением к церковной католической традиции и желанием разъяснить сомнения при помощи единственного верного критерия — Библии. Кальвинизм укрепился среди части образованных и практичных магнатов, а также учившейся в заграничных протестантских университетах дворянской молодежи ¹². У менее образованных кругов дворянства протестантизм вызывал чувство возможности сопричастия к метафизическим ценностям христианства, тогда как в католицизме на первый план выдвигалась в то время мораль, основанная на понятии добрых деяний. Эта ситуация подтолкнула также тех, кто не изменял католицизму, не выдвигал требований радикальных перемен в каноническом праве. Постулат созвания поместного собора был выдвинут сеймом, во время заседаний которого послы пытались даже сочинить *Credo*, удовлетворяющее религиозные убеждения всех конфессий. Поместный собор не состоялся из-за несогласия папы римского.

Большая часть дворянства, ссылаясь на принцип свободы совести, требовала отмены церковных судов. Компетенции церковных судов дворянство считало прежде всего противоречащими правилам собственной независимости (*Neminem captivabimus*) ¹³.

Выдающимися ораторами среди парламентариев были тогда протестанты: староста радзеевский Рафал Лещиньский, Хиероним Оссолиньский, Миколай Сенницкий и многие другие. Они выдвигали проекты постановлений, защищающие свободу совести ¹⁴. Немалую роль в создании внаучных критериев для переоценки средне-

¹¹ Ср.: *M. Kuryłowicz. Tradycje prawa rzymskiego w rozwoju prawa polskiego // Tradycja i postęp w prawie / Red. R. Tokarczyk. Lublin, 1983, s. 78–79.*

¹² Опускаем здесь как маловажные для следующей темы подробности, относящиеся к отдельным протестантским сектам, которые, возможно, имели более существенное значение для русской культуры, например социиане. О них см.: *М. В. Дмитриев. Православие и реформация. М., 1990; S. Radoń. Z dziejów polemiki antyariarskiej w Polsce w XVI–XVII wieku. Kraków, 1993.*

¹³ В 1552 году парламент приостановил исполнение приговоров церковных судов над дворянством. Толчком был здесь приговор, обвиняющий женившегося священника Станислава Ожеховского.

¹⁴ Уния православных князей на Украине и в Литве с Римской Церковью имела более политический подтекст. Пишет об этом *A. Naumow. Wiara i historia. Kraków, 1996.*

вековой системы мышления и церковной традиции, сыграли ученые евреи — преподаватели в европейских университетах, а также занимающие высокие позиции на магнатских и королевских дворах ¹⁵.

XV и XVI век на Руси был, в свою очередь, периодом, когда стало очевидным, что Русь находится под влиянием нескольких культурно-цивилизационных центров. На относительно высоком уровне стояло русское гражданское право, однако ее публичное право, основанное на византийской теократической традиции, не соответствовало историческим обстоятельствам. Тем более, что соседние государства развивались в соответствии с установленной политической культурой.

Польский историк Феликс Конэчны высказал мнение, что на Руси вообще не было публичного права. Он имел, однако, в виду положительные юридические нормы, которые регулировали вопросы власти и общественных отношений в государстве ¹⁶. Отсутствие этих норм Конэчны считал серьезным недостатком культуры, который принудил Москву принять хоть какое-нибудь, даже варварское публичное право.

Московская Русь XVI века входила в эпоху абсолютизма, не имея сформированных сословий. Князья не старались вернуть *status quo ante* и боролись, как доказывает С. Соловьев, за центральную власть. Преемственность власти не была юридически установленной. Продолжал действовать закон Ярослава Мудрого, хотя его не соблюдали со времен Ивана II. Московский обычай преемства престола до времен царствования Ивана IV не получил никогда юридической санкции. Он удержался сначала благодаря одобрению завещания Димитрия Иоанновича св. Сергием, покровителем московских князей, и венчанию Ивана III с Софьей Палеолог. Их сын Василий III усердствовал в том, чтобы придать религиозный облик государственным делам ¹⁷.

Продолжающаяся раздробленность Руси и ее зависимость от татар не благоприятствовали созданию сословной солидарности даже среди

¹⁵ J. Ochman. Średniowieczna filozofia żydowska. Kraków, 1995, s. 217–310.

¹⁶ F. Koneczny. Cywilizacja bizantyjska. Londyn, 1973, s. 288–290.

¹⁷ Об отношении современников к престижу московского князя. См.: М. Дьяконов. Власть московских государей. Очерки из истории политических идей древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889, с. 135. Преемственность московского престола подерживалась также при помощи экстренного права: присяга, отказ младших княжеских братьев. И. Мейендорф подчеркивает, что до конца XVI столетия на Руси состоялось *translatio imperii*, о чем свидетельствуют некоторые шаги Константинополя. И. Мейендорф. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, 1990, с. 307, 314.

князей. Индивидуальное правление на небольшой территории каждого из них тормозило развитие положительного права. Исключением был Новгород, где образовалось сильное боярское сословие, и оно как раз огородило себя прочно правом от роста значения княжеской власти.

В истории становления Московского государства новгородская юридическая традиция сыграла решающую роль. Новгородская судная грамота (1456) и *Псковская судная грамота* (1462–1467), согласно мнению историков права, легли в основу московского *Судебника* 1497 года¹⁸. Для него характерна довольно развитая форма судебного, процессуального и гражданского права. В упомянутых кодексах заметно отделение права собственности от права власти. Кодексы приводили в порядок также юридический статус общественных групп, которые в разной степени зависели друг от друга. Возникший на их основе Кодекс Ивана III ограничивал свободу княжеских судов в пользу наместнических, а также ограничивал публичное право, отменяя апелляционные компетенции вече в пользу великого князя.

Христианская аксиологическая основа более ранних русских кодексов была примером открытой юридической структуры. Их не отягощала излишняя казуистика. Они не отражали политической позиции общественных групп. Характерной чертой перемен было то, что право времен Ивана IV становилось орудием политики и служило созданию сложной административной структуры государства. Доказательством этого является кодекс 1550 года, подчиненный правилам внутренней политики. Он состоит прежде всего из экстренных элементов, заменяемых согласно переменам экономической и политической ситуации. Одновременно для публичной сферы действия времен царствования Ивана IV имели существенное значение такие акты, как публичная исповедь всего народа, царя в присутствии народа и покаяние.

Со времен падения Константинополя Москва унаследовала доктрину христианского государства. Хотя этому факту не сопутство-

¹⁸ С. Штамп, Н. Ефремова. Образование и укрепление русского централизованного государства и формирование общерусского права // Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986, с. 21; В. Латкин. Лекции по внешней истории русского права. СПб., 1890, с. 33–34. Особенностью Псковской грамоты было наказание смертью за измену государству (перевет), отсутствующее до этого в древнерусском праве. Довольно суровую оценку отрицательного влияния московского права на самосознание русских дал А. Робинсон. Права человека и права государства в памятниках средневековой письменности // *Opuscula polonica et russica*. V. Łódź, 1997, s. 10.

вали научно-юридические трактаты, его глубокое понимание было видно среди московской элиты. Речи архиепископа Геннадия свидетельствуют о том, что цели и смысл существования Московского государства очевидны, они определяются церковными догмами, установленными Вселенскими Соборами. Ненужными тогда казались дополнительные умозаключения, оправдывающие существование Москвы как государства. Первыми умозаключительными трактатами, имеющими, однако, как справедливо замечает прот. Флоровский, эсхатологический характер, были письма Филофея ¹⁹.

Из этого следует, что с точки зрения преемственности идеи христианского государства русская Церковь сыграла решающую роль. Большие заслуги в этом были у архиепископа Геннадия и игумена волоколамского монастыря Иосифа. Они восстановили единый культурный образец, унаследованный от Византии, поддержали идеал созидательной роли Церкви в мире, что способствовало сохранению христианской доктрины власти и государства. Необходимо подчеркнуть также возрастающее значение для формирования мировоззрения на Руси исихастского течения.

Уже Йоханн Хейзинга заметил, что внешние симптомы культуры в Средневековье отражали богословские взгляды. *Civitas temporalis* объяснялась наподобие небесной иерархии, где человеческие обязанности не рассматривались в категориях политической эффективности или общественной пользы, но учитывали Божье домостроительство ²⁰. Традиционное мировоззрение столкнулось в XVI веке на Руси с абсолютистским. Богословский спор, касающийся путей монашеского подвижничества, приобрел значение экономического и юридического вопроса. Начинания Ивана IV в контексте этого спора предвещали намного более существенные перемены, чем принято думать. Симптоматична здесь платформа дискуссии, принятая еще при Иване III, дискуссии, которую Иван IV возбудил обвинениями, направленными в адрес монастырей на Стоглавом Соборе. Предусмотрел этот факт архиепископ Геннадий, подготовивший богословско-юридические аргументы в защиту монастырей, почерпнутые им также из латинских переводов доминиканца Вениамина. (Примером этого может служить его *Слово кратко в защиту церковных имуществ*.) Обвинения не достигли предвиденной царем цели, т. е. све-

¹⁹ Прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия. Paris, 1983, с. 11, 20; J. Huisinga. *Jesień Średniowiecza*, przekł. T. Brzostowski. T. 1. Warszawa, 1967, s. 118–119.

²⁰ J. Huisinga. *Jesień Średniowiecza*, przekł. T. Brzostowski. T. 1. Warszawa, 1967, s. 118–119.

дения монастырского типикона к уровню положительного права. Собором была высказана мысль, что идеал монашеской жизни несоизмерим с простым соблюдением правил. Иерархи не считали обязанностью человека создание правил идеального общества как в монастырских стенах, так и вне их. Стоглавый Собор в своих постановлениях напоминал, что этот идеал существует в Новом Завете, и хотя обстоятельства жизни меняются, он статичен. Царь, в свою очередь, ожидал от Собора установления сферы влияния приходов, монастырей, епархий и даже пустынь, определяемых как церковные учреждения, в то время когда, согласно традиции, Православная церковь была обязана только соблюдать апостольские правила, правила Вселенских Соборов и некоторых поместных соборов, а также правила Отцов Церкви. Она старалась сохранить прежде всего чистоту догм. Выступление царя на Соборе, подготовленное сторонниками нестяжательства, преследовала цель определить отношение Церкви к идее власти в новых исторических обстоятельствах. Собор не отступил от правил Константина Великого, которые Божий закон ставили выше царской власти. *Стоглав* доказывает, что Русская церковь опасалась эмансипационных стремлений, характерных для Запада, отразившихся, между прочим, в идеализации римского права. Она старалась сохранить свое значение и одновременно санкционировать московскую власть, согласно константинопольской традиции. Собор установил литургическую молитву за царя и его войско.

Домострой является следующим важным примером столкновения старого и нового в русской культуре. Он уходит своими корнями в паренетическую традицию Отцов церкви. Она отражается в убеждении, что вера изменяет образ мира, придает трансцендентное значение человеческому труду и отношениям между людьми. *Домострой* доказывает, что христианство пронизывает каждый элемент жизни, что культура, вырастающая на почве христианской метафизики, именно ее мерами измеряет малейший элемент традиции. Поэтому *Домострой* можно понимать не только в категориях монастырского аскетизма, но также принимающего во внимание место и историческое время морального богословия. *Домострой* является также примером паренетики, характерной для ренессансного гуманизма. Проявляется он в энциклопедическом подходе к аксиологической проблематике, напоминающем известную в литературе всей Европы *Пчелу*, а также в таком изображении порядка семейной жизни, который соответствовал меняющимся цивилизационным стандартам в Московском государстве. Трудолюбие, предусмотрительность, хозяйственность, торговая смекалка, развитие ремесленных

способностей, обучение молодежи — это положительные черты, насаждаемые *Домостроем* и предстающие одновременно как христианские и общественные достоинства. *Домострой* является первой в истории Руси попыткой создать моральную доктрину. «...подвигни вся дела твоя и обычаи и нравы угодная творити Господеву», — требует *Домострой* ²¹. Слова эти указывают на то, что *Домострой* является попыткой найти эквиваленты порядка Божьего мира в организации повседневной жизни мира человеческого, согласовать культуру и христианство. «Домострой» отражает ответственность за существование и развитие важных человеческих институтов. Этот тип отношений между христианством и культурой Нибур охарактеризовал следующими словами: «Эта церковь более заинтересована культурой христиан, чем христианизацией культуры» ²².

Домострой нельзя рассматривать как обособленный пример на фоне современной морализаторской литературы. Все тогдашние морализаторские творения обладали отсутствующей в Средневековье, но представительной для античной литературы чертой — убеждением, что моральную жизнь можно постичь путем просвещения ²³.

События и литература времен Московского государства свидетельствуют о том, что на русскую духовную и умственную культуру уже оказали влияние течения, рационализирующие христианство, государство и власть. Эти явления усиливали характерные для Европы того времени притязания на самостоятельность городов и государств, переносящие культурутрегерский акцент в сторону политики, которая является рациональной дисциплиной.

Польский король, опирая свою власть на магнатах и постоянно сталкиваясь с дворянством, способствовал укреплению юридических привилегий этого последнего, хотя оно было вынуждено постоянно бороться за выполнение правил. Московский великий князь, соперничающий с остальными князьями, строил государство, укрепляя его административную исполнительную структуру и право.

Реформа права времен Ивана IV доказывает, что Московское государство строилось на основе нового права собственности и мо-

²¹ Домострой. М., 1990, с. 33.

²² H. R. Niebuhr. Chrystus a kultura / Przeł. A. Pawelec. Kraków, 1996. Сходство Домостроя с монастырским типиконом вытекает из православного морального богословия, которое говорит, что не существует два дополняющихся моральных порядка: естественный и сверхъестественный, потому что все творение подверглось искуплению и все естественные достоинства становятся сверхъестественными.

²³ О моральной литературе Ренессанса см.: Z. Kalita. Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu. Wrocław, 1993, s. 126–134, 145–149.

дифицированной системы управления государством. Появились также голоса, явно подрывающие византийский принцип диархии. В *Валаамской беседе* звучит требование отстранения Церкви от влияния на царские решения.

Столкновениям, которые порождала эта ситуация, сопутствовали умозрительные попытки оценить ее и найти подходящие пути решения, предпринимаемые митрополитом, представителями церкви и диссидентами.

Из этого следует, что две неодинаково подготовленные средневековые культуры — русская и польская — столкнулись с проблемами, которые выдвинул Ренессанс: проблемой государственного устройства и вопросом места человека в мире. В Москве иерархия решения этих вопросов была другая, чем в Речи Посполитой. В Москве становление новых форм организации государственной жизни определяло место человека в государстве. В Польше чувство независимости каждого, даже малозначительного дворянина способствовало созданию облика государственности, хотя это и благоприятствовало анархии.

В Москве, при отсутствии университета, третьей силой, которая приняла на себя роль политических просветителей, были диссиденты. Это были отдельные лица — представители царской администрации, князья, дьяки Посольского приказа. Их знания в области философии политики были разные, но вовсе не отвечали университетским критериям. Следовательно, их взгляды не образуют какой-либо системы. Это политическая публицистика, откликающаяся на текущие события. Она доказывает, что ее авторы впитали определенную дозу гуманистических идей, необязательно западного происхождения.

Знакомый с итальянской научной средой Максим Триволис резко отрицал порядок мышления университетской философии. Он знал, что ставит она опять тот же вопрос, который, до Боговоплощения, выдвинули Платон и Аристотель: что такое природа? Для Восточной Церкви, богословами которой были тогда мистики, вопросы, выдвинутые Ренессансом, были вопросами, решенными благодаря Боговоплощению. Ставить их еще раз означало отвлекаться от созерцания бытия.

Так ли понимали свое неприятие облика Московской Церкви и царского идеала Московского государства диссиденты, составлявшие окружение Максима Грека? Кажется, что кроме Андрея Курбского, который был под влиянием Цицерона и Пересветова — поклонника абсолютизма, остальные были близки идее натуральной религии и натурального права.

Пушкин и польский вопрос в контексте идеи всемирной истории

Поэма вне контекста. В ряд пушкинских высказываний о Польше памятно входит и его поэма «Медный всадник», по отношению к которой по сей день остаются в силе слова Л. В. Пумпянского: это произведение «является, быть может, величайшим, но менее всего понятным...»¹.

Предположу, что у великой поэмы и у пушкинского отношения к польскому вопросу одна и та же причина непонятости: их рассматривают вне контекста. Контекст же у них тоже общий.

В связи с «Медным всадником» утверждение об отсутствии контекста должно, пожалуй, показаться парадоксальным при том обилии параллелей, которые для этой поэмы уже установлены: от Гете и Барбье до Голикова и Мицкевича, — однако отдельные связи при всем их множестве не складываются в нечто осмысленное и целое. Отсутствуют важнейшие звенья, например, *Петр Чаадаев*. Чаадаев — имя очень близкое Пушкину, но неупоминаемое в длинном ряду переключек, обнаруженных для «Медного всадника». И тем не менее *в чаадаевском контексте написана поэма*, между первым прочтением его писем в 1831 году и не отправленным ответом Пушкина на публикацию в «Телескопе» осенью 1836 года.

Чаадаевский контекст для Пушкина и был контекстом новой идеи. Какой? Подсказку для ее обнаружения в «Медном всаднике» дает параллель, в отличие от чаадаевской — близлежащей, весьма отдаленная и неожиданная — с английским поэтом первой половины XVIII века Александром Поупом. Завершая в 1713 году свою поэму «Виндзорский лес», он написал:

Whole nations enter with each swelling tide,
And seas but join the regions they divide...

Первая из приведенных строк, изображающая будущее процветание лондонского порта: «Целые народы входят с каждым поднимающимся приливом...» — едва ли не напомнит русскому читателю: «Все флаги в гости будут к нам...» (сейчас я опускаю систему доказательств, касающуюся знакомства Пушкина с этой поэмой и ее важности как параллели для «Медного всадника»²).

¹ «Пушкин. Временник пушкинской комиссии». 4–5. М.; Л., 1939, с. 91.

² См. подробнее в моей статье по этому вопросу: *И. Шайтанов*. Географические трудности русской истории: Пушкин и Чаадаев в споре о всемирности // Вопросы литературы, 1995, № 6.

Пушкинская строка прозвучала в поэме о XVIII веке, в «Медном всаднике». Правда, эта поэма запомнилась, в отличие от «Виндзорского леса» Поупа, не обещанием мира, а непримиримостью русской исторической трагедии. Поуп написал свою поэму ратуя за мир в войне за испанское наследство (1701–1714), открывшую XVIII столетие, не случайно иногда называют *первой мировой войной* — поля ее сражений были расположены на трех континентах.

Это был момент, когда рождалась новая Европа, которая вдохновляется этим своим единством и постепенно осознает его как проблему, несколько позже дав ей название — *идеи всемирной истории*.

Участие России во всемирной истории это — в пушкинскую эпоху — чаадаевская проблема: его мысль о нашем историческом одиночестве, изолированности, нашей выключенности из европейской истории. Пушкин, как известно, с этой оценкой не согласился. И, помимо других деятелей русской истории, указал на Петра, прорубившего окно в Европу. Однако, поэма об этом событии — «Медный всадник» — все равно прозвучала русской трагедией, трагедией, которой обычный человек платит за историческое величие.

Польский мотив в «Медном всаднике» указан в примечаниях самим Пушкиным: Пушкин гимном Петербургу откликнулся на леденящий образ российской столицы в «Дзядях» Мицкевича.

Но это не единственный польский мотив. Поэма по сути дела возникла в обрамлении польских мотивов: парижский том Мицкевича попал к Пушкину летом 1833 г., то есть совсем незадолго перед тем, как Болдинской осенью того же года замысел, сопровождавший Пушкина по меньшей мере три года, выкристаллизовался и был приведен к завершению. Все начиналось как будто бы далеко от Польши — в предваряющей «Медного всадника» «Родословной моего героя», которого Пушкин назвал *Езерским*.

Странная фамилия для героя поэмы об обедневшем *потомке русских бояр*? Именно ее строфы станут первым ядром для «Медного всадника». Мне не приходилось, по крайней мере в русской литературе о поэме, встречать, чтобы кого-то заинтересовало неожиданное в данном контексте — *польское* звучание фамилии. Что это — случайный знак связи «Медного всадника», еще в глубине его неоформившегося плана, с польскими событиями? Но если и знак, то что обозначающий?

Езерский. За польскими событиями 1830–1831 гг. Пушкин следил пристально, с болью и не только по газетам. Он знал много больше. Однако и русские газеты, строго следовавшие официаль-

ной версии, сообщавшие о том, что было дозволено и когда дозволялось, не обошли вниманием столь важный факт, как прибытие посланцев польского сейма.

В течение декабря и первой половины января восстание, хотя и начавшееся возмущением снизу, контролировалось сверху людьми, желавшими избежать крайностей. Это относится прежде всего к признанному сеймом диктатором генералу Хлопицкому. Опытный военный Хлопицкий делал все, дабы не допустить до вооруженного противостояния с русской армией, поставив целью — путем переговоров добиться ее ухода из Польши. Крайние агитировали против Хлопицкого едва ли не с момента его избрания, а 16 января утром он «пригласил к себе депутацию сейма и объявил ей, что непременно должен вступить в переговоры с Россией и что он не берет на себя вести войска в сражение. Он показал им письмо, написанное к нему, по высочайшему повелению Его Величества, графом Грабовским... Сверх того явил он еще письмо князя Любецкого, заключавшее в себе тоже самое, и присовокупил: "Имея в руках такие документы, я не могу долее носить звание диктатора"».

Далее «Санкт-Петербургские ведомости» (21 января 1831 г.) так излагают ход событий: «Открытие сейма последовало 7/19 числа... генерал Хлопицкий сильно и пламенно провозгласил, что нация не может нарушить присяги, данной ею Императору Николаю...». И вслед за этим официально отрекся от должности, что «распространило повсюду страх и смятение».

Что же послужило поводом для столь решительных действий? Они произошли «вследствие возвращения из Петербурга графа *Езерского*...». Такой была фамилия посланника сейма, доставившего в Варшаву царское требование «восстановления законного порядка и наказания главных виновников...».

Сразу же по принятии манифеста от 6 декабря сейм направляет в Россию двух посланников. Поехали двое, вернулся один. Главной фигурой депутации был, безусловно, министр финансов Польши князь Любецкий, прорусский администратор. Выбор теперь пал на него как на лицо наиболее приемлемое, компромиссное в переговорах с Россией. Добравшись до Петербурга, он счел за лучшее там навсегда и остаться, прекратив исполнение своих посольских полномочий.

Вся тяжесть поручения легла на слабые плечи второго посланника — графа *Езерского*. Он выполнил его так, как смог, не обладая ни твердостью характера, ни дипломатическим опытом. А трудности миссии были немалыми. Они начались задолго до Петербурга, до того, как 14 декабря Николай принял Езерского (слу-

чайно ли совпала дата или была избрана с умыслом — шестилетней годовщины разгромленного Николаем восстания декабристов? В Варшаве эту дату отметили бурной манифестацией).

В этот же день «Русский инвалид» и на следующий — «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о том, как еще в Нарве, по приказу императора, оба посланца были остановлены с тем, чтобы выяснить, не следуют ли они «в звании посланного от незаконной власти»? Любецкий как старший заверил, что направляется исключительно с тем, чтобы «повергнуть к подножию престола донесение о последовавших в Варшаве событиях... Вследствие сего Его Императорское Величество высочайше повелел сделать распоряжение к допущению в Санкт-Петербург министра финансов князя Любецкого и депутата на Сейме Царства Польского графа Езерского».

Император демонстрирует власть и твердость. Посланцы раболепно идут на унижение и заранее отрекаются от защиты вверенных им интересов, объявляя себя не столько послами сейма, сколько информаторами царя.

Подробных сведений о посольстве читателям русских газет пришлось ждать более месяца: остался в Петербурге Любецкий, возвратился Езерский, отрекся от диктаторства после его возвращения Хлопицкий, власть в Варшаве перешла к радикалам, «молодежи»... И только тогда одновременно с «удивительно прекрасным», по выражению Пушкина, манифестом императора от 25 января газеты опубликуют изложение всего хода событий, где найдет себе место и рассказ о высочайшей аудиенции:

«С самых первых пор мятежа Его Величество изволил явить милостивое свое благорасположение, удостоив принятием князя Любецкого и депутата Езерского, прибывших из Варшавы для представления отчета в происшествиях, ужасно и неожиданно нарушивших спокойствие Царства. Государь Император изволил принимать их 14 декабря каждого особо. Они единогласно описывали Его Величеству мятеж 17-го ноября. По их донесению, сей мятеж произошел без всякого предварительного плана: никакой определенной цели не было в виду у бунтовщиков, состоявших из небольшого числа молодых людей... Депутат Езерский особенно повторял уверение, что несметное большинство народа и войск чуждо предприятию малого числа молодых безумцев, и что большая часть сия, состоящая из всех людей благоразумных и рассудительных, пребывает верною Царствующему Дому и особе Царя... В заключение донесения своего молил он Его Величество о великодушии и милосердии... Его Вели-

чество изволил объявить депутату Езерскому, что требует восстановления законного порядка и наказания главнейших виновников... если дерзают на брань против своего Государя, то *в сем случае они сами, и их пушечные выстрелы ниспровергнут Польшу...*».

«Депутат Езерский с сим ответом отправился из Санкт-Петербурга 25 декабря...».

«Санкт-Петербургские ведомости» публикуют эту хронологию событий вместе с манифестом 28 января. А в номере от 30 января объявлен рекрутский набор по России.

Несколькими днями ранее, наверняка зная многое полнее газетных сообщений, Пушкин пишет меланхолическое письмо Е. М. Хитрово (дочери Кутузова!): «Стало быть молодежь права, но одержат верх умеренные...». Умеренные не взяли верх в этот момент, напротив, восторжествовала «молодежь» или даже «партия молодежи», как официально именуют радикалов. Могло ли это примирить Пушкина? Мог ли он увидеть в восстании взявшей верх молодежи осуществленным байронический порыв? Он прав в другом — в предсказании общего исхода, от которого всем будет хуже, и если что явится, то не Польша в романтическом ореоле, а Варшавская губерния, каковой ей и было суждено остаться надолго.

Езерский со своим посольством в этом именно смысле эмблематичен. Благодарной памяти соотечественников он также не снискал. Едва ли не первый историк восстания Л. Мирославский, выпустивший свою книгу в 1836 г. в Париже, так характеризует его и поручение, им исполненное:

«Езерский был шутком гороховым, совершенно потерявшимся в блеске имени своего коллеги. Он сам признавал за ним превосходство в ведении дипломатических дел и, по правде говоря, столь мало годился для данного поручения, что счел за лучшее целиком положиться на него в исполнении их общей миссии...». После того, как Любецкий фактически сложил с себя дипломатические полномочия, «предоставленный собственному скудному разуму и лишенный всяческой поддержки, Езерский попытался худо-бедно выпутаться из этого дела. Его способности столь мало соответствовали поставленной высокой цели, что он достоин скорее жалости, чем ненависти за ничтожный исход встречи, которой после тысячи затруднений царь в конце концов удостоил посланца. Они встретились 20 декабря (неточность. — *И. Ш.*) в Санкт-Петербурге. Николая сопровождал его генерал адъютант граф Бенкендорф».

Далее следует сцена плохо сдерживаемого царского гнева и едва скрываемого унижения: «Езерский, потрясенный, бормотал, что

восстание не было общенациональным делом, а что лишь несколько заговорщиков, ободренных поддержкой со стороны недовольных военных, были единственными виновниками»³.

Высокая миссия оборачивается шутовством, а граф Езерский наглядно воплощает образ исторического унижения. Ни в письмах Пушкина, ни в его известных высказываниях об этом эпизоде впрямую не говорится, только фамилию Езерский он вдруг неожиданно даст герою исключительно русской, имеющей и автобиографический подтекст, поэмы, над которой начинает работать несколько месяцев спустя после посольства Езерского.

Зачем — даже как первоначальный вариант — это имя явилось в поэме о потомке русских бояр, утратившем и забывшем свое историческое величие? Отложился ли в памяти современный эпизод, демонстрирующий как легко переступить в истории грань, отделяющую великое от смешного? Или это был аргумент, избранный в пользу общности славянской истории, неделимой на русскую и польскую в пределах одного государства?

Как бы то ни было, Пушкин не мог не знать о посольстве графа Езерского, о роли, им сыгранной. Как он не мог взять его фамилию, не считаясь с неизбежностью узнавания современниками. Что он хотел подсказать им этим совпадением имен? Остается догадываться.

Но *имя героя звучит первым польским мотивом*, каким-то неясным (и невыяснимым уже) образом вплетенным в сюжетную основу поэмы о всемирной судьбе России.

Россия и всемирность. Пушкин в поэме «Медный всадник» пытается стать в виду крайностей, *признавая их своими*, но будучи независимым от любой из них. Он не обещает примирения, ибо примирения не знает жанр трагедии, повествующий всегда о непримиримом. Автор присутствует в сюжете между крайностями, помнящий, в отличие от героя, о прошлом и восхищенный им; не равнодушный, в отличие от Петра, к настоящему в его обыденности и человечности. Последующая критика билась над решением проблемы — с кем же все-таки автор, проходя мимо того, что поэма написана с трагическим сожалением о необходимости выбирать, навязываемой русской жизнью: между сочувствием и величием, прошлым и настоящим, государственным и человеческим...

³ L. Miroslawski. Histoire de la révolution de Pologne précédé d'un aperçu rapide sur l'histoire universelle... Paris, 1836, p. 241–242.

Неизменное для России *между* как воплощение ее пространственно-исторической промежуточности. Как будто она оказалась единственным океаном мирового бытия, который не соединяет и сам выпадает из любого единства. В 1830-х годах это должно было ощущаться (и ощущалось!) Чаадаевым, Пушкиным как выпадение России из *контекста всемирной истории* — только что провозглашенной, только что осознанной Европой.

Идея всемирности в пушкинской поэме есть воплощенный принцип трудного единства Европы и России, Запада и Востока, а также — Петра и Евгения... Пушкин занимает позицию *между крайностями*. В том числе и между утопической идеей и русской реальностью.

Горизонт всемирной идеи для России открыла победа над Наполеоном, участие в общеевропейском деле. Это был момент *всемирного восторга*. Возвращение стало нарастающим моментом отчаяния, которое для Чаадаева приняло форму *тоски по всемирности*, видимо, окончательно осознанную во время европейского путешествия. По возвращении он садится за «Философические письма».

Когда Чаадаев сел за свои письма, Пушкин занялся Петром и русской государственностью.

Позиции Пушкина и Чаадаева сблизил Польша, окончательно представившая вопрос русской всемирной судьбы в виде формулы с разделительным, а не соединительным союзом: *Россия и Европа*. Под взглядом из России всемирная идея очень рано приобретает *черты проблемы, требующей решения, а не одического гимна*.

Однако на польские события Пушкин первоначально откликнулся в жанре оды — за два года до «Медного всадника» написав летом 1831 г. «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», которые тогда же были изданы брошюрой.

Это наиболее известные пушкинские высказывания, но в какой мере исчерпывающие его отношение к польскому вопросу? Претендующие ли на то, чтобы быть его решением?

Обе оды обращены не столько к побежденной уже Польше или к победившей России, сколько к Европе, возбужденно наблюдавшей за происходившим. Первое было ответом на выступления радикальных французских депутатов в палате с призывом поддержать Польшу, если нужно — то и силой оружия. Обращаясь к европейскому общественному мнению, Пушкин отказывает ему в праве иметь в этом деле решающий голос: «Оставьте, это спор славян между собою».

Европа заколебалась — признавать ли спор славянским, а дела внутренними, хотя пятнадцатью годами ранее сама дала согласие на очередной раздел Польши, которая теперь заново к ней апеллировала.

Польша искала европейской поддержки, а одновременно обещала Европе свою защиту — от русской опасности. Об этом было определено сказано в манифесте 6 декабря 1830 г., которым сейм по сути объявил о начале восстания и мотивировал его причины: «...не допустить до Европы дикие орды севера... защитить права европейских народов...».

Немецкий историк прошлого века Ф. Смит с ироническим изумлением комментировал это заявление: «Не говоря уже о крайней самонадеянности, с которою 4 миллиона людей брали на себя покровительство 160 миллионов, поляки хотели еще уверить, что предприняли свою революцию за Австрию и Пруссию, дабы служить им оплотом против России...»⁴.

В пушкинской формуле — «спор славян между собою» — звучала обида России, которую новая Европа откровенно оставляла за своими пределами, предварительно как бы сделав единственной ответчицей за очередной раздел Польши.

Однако, я не думаю, что спустя два года, во время написания «Медного всадника» Пушкин повторил бы ту формулу двухлетней давности с прежней категоричностью. Поэма с ее эпической обращенностью к истории стала для русского сознания первым опытом овладения всемирностью и применения ее к самой себе. И именно поэтому в нее как один из важнейших вплетается *польский мотив*.

В течение пушкинской жизни на своем пути в Европу *Россия дважды споткнулась на Польше*. Сначала во время переговоров после победы над Наполеоном, требуя восстановления Царства Польского в пределах своей империи. Союзникам такой шаг представлялся слишком решительным русским продвижением к центру Европы, но полностью предотвратить его они не смогли, ибо велик был страх перед военной мощью России. Полтора десятилетия спустя, при подавлении польского восстания, Европа воочию убедилась, с каким усилием далась русской армии победа, и вздохнула спокойнее.

Идея всемирности исторически осуществлялась в новой Европе. Если вспомнить О. Шпенглера, эта идея по своему происхождению и принадлежности была не только не всемирной, но даже не всеевропейской, а явилась плодом доминирования романо-германской культуры. Внутри именно этого мира идея *Weltgeschichte* зрела и его историческое бытие охватывала собою.

⁴ Ф. Смит. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. В 3-х томах. Т. 1. СПб., 1863–1864, с. 219.

Каждый, пожелавший войти в этот мир должен был заплатить, выстрадать свою принадлежность к нему. Польша стала одной из первых заложниц европейского единства, заплатив едва ли не первой — тремя разделами. Россия — двухвековой отдаленность, изолированностью от Европы, для которой она оставалась преимущественно — военной угрозой.

И тем не менее идея всемирности становится и остается действующим мифом европейского сознания, даже если она и никогда не может быть полностью осуществленной: «Единство истории как полное единение человечества никогда не будет завершено. История замкнута между истоками и целью, в ней действует идея единства...»⁵.

Карл Ясперс в этих словах подчеркивает неисполнимость, но и вечную исполняемость всемирной идеи. Она необходима как утопическое ощущение *цели* на горизонте общего бытия. Бытия, которое как никогда полно осуществляет себя сегодня в пределах единой Европы, общего рынка и на пути к которому все еще стоят старые исторические предрассудки.

Как это часто бывает, особая острота отношений сопутствует их близости, а не отдаленности. Среди острых вопросов и спор славян между собой, ведущийся перед лицом Европы и по поводу принадлежности к Европе, но сущность которого во многом зависит от того, считать ли «между» разделяющим или скорее соединяющим сами спорящие славянские стороны.

Осуществимость идеи всемирной истории зависит от умения всех ее принявших как путь к новой реальности решать не только глобальные, но локальные споры, в том числе и внутриславянский спор. Другое дело, что сегодня вернее было бы сказать не «спор», а диалог, в котором важнее даже не убедить кого-то в своей правоте, а понять позицию другого и проговорить свою. Мифы и предрассудки невозможно отменить, их можно прояснить, сделать понятными и надеяться, что они исчезнут, высвеченные откровенным словом.

⁵ К. Ясперс. Истоки истории и ее цель // К. Ясперс. Смысл и назначение истории. М., 1991, с. 270.

Мицкевич и Пушкин: образ на фоне историографии и историософии

Отсутствие националистической ненависти, национальной мании величия и великодержавной претенциозности в творчестве Мицкевича (как, впрочем, и других видных польских романтиков), будучи феноменальным в сопоставлении не только с литературой и историографией соседней России, в то же время не является чем-то сугубо индивидуальным и уникальным в контексте самой польской современности. В век сражений за национальную независимость и непрекращающегося духовного сопротивления чужим и чуждым порядкам после каждого военного разгрома, сопровождающегося погромом национальной культуры, общественной жизни, образования, программы буквально всех политических организаций, не говоря уже о философских учениях польских мыслителей, были лишены каких-либо акцентов злобы по отношению к народам государств-поработителей¹.

Этот собственно национальный феномен как польской политической культуры, так и — шире — самой польскости перестает выглядеть неким парадоксом, если рассматривать его не только синхронно — в контексте кровавой и драматичной современности поляков без Польши в XIX в., но и осознать диахронно — в свете предшествующей истории.

Многонациональность и многоконфессиональность независимой Речи Посполитой в условиях почти четырехвековой шляхетской демократии сформировали специфический менталитет гражданского общества в рамках одного сословия, равно как и связанный с этим характер единой в своей разнотничности политической нации. Бывшая во времена Средневековья прибежищем для гонимых на Западе евреев и пристанищем для избыточного народонаселения германского мира, Речь Посполитая эпохи Возрождения становится убежищем для всех гонимых у себя на родине представителей раско-

¹ Сфера общественной памяти и связанных с ней культурно-бытовых стереотипов является собой особый аспект. Будучи явлениями массового сознания и проявлениями массовой культуры, они нуждаются в особом рассмотрении и в силу своей специфики предполагают иную нежели сфера высокой культуры методику и иной исследовательский подход. См. *Memory: History, Culture and the Mind*. Oxford, 1989; *D. Middleton, D. Edwards. Collective Remembering*. London-Newbury Park-New Delhi 1990; *J. Fentress, C. Wickham. Social Memory*. Oxford, 1992; *B. Baczko. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej*. Warszawa, 1994; *B. Szacka. O pamięci społecznej // Znak*, № 480 (5), 1995; *Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy / Red. J. Łaptos*. Kraków, 1996.

ловшегося христианства и политических эмигрантов (среди тех, кто обрел приют в Польше, — знаменитые фигуры итальянского гуманиста Ф. Бонаккорси, вошедшего в конфликт с папой римским, и русского князя А. Курбского, который посмел противопоставиться тирании Ивана Грозного, символизируя массовое явление).

Система шляхетской демократии в XVI в. сделала невозможным то, что на охваченном религиозными войнами Западе воплощает Варфоломеевская ночь. В следующем столетии, когда победила контрреформация, Польша несмотря на все внутренние конфликты (крупнейшим из которых было восстание Хмельницкого) сохранила облик «государства без костров»². В XVIII в. эта национальная традиция обрела развитие в духе социально-философских и правовых идей эпохи Просвещения³, а во времена романтизма оказалась в центре внимания польских мыслителей, политиков и писателей⁴. Отсюда вполне закономерны и естественны лозунги «За вашу и нашу свободу» в период польского восстания 1830 г., равно как и символы Польши (Белый Орел), Литвы («Погоня» — скачущий рыцарь) и Руси (Михаил Архангел) на знаменах поляков, восставших в 1863 г. В литературе же история, культура свободолюбие этих трех этносов Речи Посполитой обрели отражение в украинской и литовской школах польского романтизма. Вот почему расцвету национально-государственного мышления в Европе эпохи романтизма (у нас крупнейшие его представители — Карамзин в историографии, Пушкин в литературе) сопутствовало столь специфичное для Польши осознание нации как разнородной по своим корням общности, скрепленной совместной исторической традицией и историософской идеей, которые проявляются в федеративных началах государственного объединения и олицетворяются в демократических принципах государственного управления. Относительно новым в этой концепции было распространение понятия нации (*narod*) на все сословия (тенденция, впервые проявившаяся в польской общественной мысли в эпоху Возрождения и явно обозначившаяся — также и в политической практике — в эпоху Просвещения).

Надэтническое (историко-политическое по своей сути) понимание нации и ее социологическая реинтерпретация были следствием

² См.: J. Tazbir. Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa, 1967; *Idem*. Reformacja — Kontreformacja — tolerancja. Wrocław, 1996.

³ См.: А. В. Лунатов. Литература в кругу шляхетской демократии (Позднее Барокко, Просвещение, Предромантизм). М., 1993.

⁴ См.: A. Walicki. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli epoki romantyzmu. Warszawa, 1983.

историографического мышления, которое в свою очередь было производным всеохватывающего — в категориях всемирности — историософского осознания локального (национального) как составной универсального (общечеловеческого).

Для разных этнокультурных слагаемых Европы этот процесс самопознания был общим, но — в силу местных особенностей — несинхронным.

В период зрелости эпохи Просвещения крупнейшие национальные писатели Польши и России — сперва Нарушевич, потом Карамзин, а затем во времена романтизма Мицкевич и Пушкин — обращаются к истории. Не только художественно и не просто художественно, но и внелитературно — планомерно, систематически и, как следствие, профессионально.

Осознание их личностных особенностей, специфики мироощущения, характера мышления и жизненных обстоятельств показывает, что это неслучайное совпадение. Писатели по призванию становились историками-профессионалами по внутреннему побуждению: их художественному дарованию становилось тесно в литературно-эстетических рамках словесности. Чистое искусство (в том объеме этого понятия, которое сформировалось на Западе, а следовательно и в Польше во времена Ренессанса, и постепенно входило в литературную культуру России на этапе позднего Просвещения)⁵ ощущалось недостаточным как для понимания национальной современности человеком пера, который осознавал себя гражданином отечества, так и для самопонимания себя как национального художника. Обозрение же самой национальной современности этих личностей, осознание ее в категориях «времени большой длительности»⁶ приводит к выводу, что это «перевоплощение» писателей в историков — универсальная (наднациональная) закономерность.

В переходную полосу «времени большой длительности», в переломную пору коренных изменений в судьбах государственности и в ее системе, в сферах национального бытия, наконец, в самом стиле и образе жизни историческая наука призвана была упорядочить реальность — прошлую и настоящую, — связав их воедино, объясняя од-

⁵ В 1825 г., отвечая Жуковскому на критическое замечание о том, что в поэме «Цыганы» нет цели, Пушкин парирует: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот на! Цель поэзии — поэзия...» (А. С. Пушкин. Мысли о литературе. М., 1988, с. 432).

⁶ F. Braudel. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Filipp II. Vol. II. New York, Evanston, San Francisco, London, 1973. У нас об этой концепции писал А. Я. Гуревич в кн.: А. Я. Гуревич. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.

но через другое. Это в свою очередь должно было способствовать осознанию пути, пройденного народом, прояснению роли государственного института и типа правления в народной жизни, что в конечном итоге должно было привести к пониманию своего народа как особой (на фоне других), специфической общности, а самого себя как особой личности в системе общих — надындивидуальных связей с окружением. Суть всего этого — национальная идея — обнаруживалась именно в перспективе истории.

Типологическое для России и Польши подобие временной ситуации стимулировало подобные в своей мотивации, но порой аксиологически разнонаправленные разработки. Это обуславливалось не только и не столько особенностями национальной истории, сколько истории общеевропейской, внутренне дифференцированной на латинский (куда входила Польша) и византийский (куда входила Россия) круги культуры — во-первых, а во-вторых, существеннейшими различиями в национально-политической ситуации. Происходит своего рода смена ролей: Россия стремительно превращается в великую европейскую державу, а параллельно некогда могущественная шляхетская республика, теперь постоянно унижаемая, постепенно к концу XVIII в. стирается с политической карты Европы соседними абсолютистскими монархиями.

В первой из выделенных здесь сфер центральным был вопрос о соотношении личности и общности, равно как и их роли в истории. Для польского самопонимания с его вековыми традициями шляхетской демократии, которая в свой ренессансный XVI век породила гражданское общество, решающую роль играл индивидуум и проблема этического выбора. В эпоху романтизма впервые — масштабно и талантливо — это обрело художественное воплощение в III ч. «Дзядов» Мицкевича. Для русского же самоощущения времен молодой Российской империи как прямой преемницы Московского государства, основанного на самодержавии и создавшего государственное общество, определяющим было полное подчинение индивидуума государственно-конфессиональной, всеобщности института власти, чьим воплощением был помазанник Божий — царь-самодержец. Эта идея обрела классическое воплощение в «Истории» Карамзина и «Медном всаднике» Пушкина. В то же время такая российская наследственность византизма исподволь размывалась теми веяниями эпохи Просвещения, которые способствовали появлению в империи зачатков гражданского общества, раздавленного (но не уничтоженного) на Сенатской площади.

Во второй из обозначенных выше сфер характерным для времен Карамзина и Пушкина было такое постижение (и освещение) отечественной истории, которое поясняло современные триумфы державы и, открывая оптимистические перспективы на ее великое будущее, утверждало чувство национального достоинства. «История» Карамзина, «Полтава», «Медный всадник», политические (а в их числе — антипольские⁷) стихи Пушкина — крупнейшее (и талантливейшее) отражение патриотической устремленности членов государственного общества, гордых теми грандиозными успехами, которые ознаменовали блистательное вхождение России в Европу и обретение ею роли одной из могущественнейших держав. Историческим же и художественным воплощением этих побед, славы и мощи были имена Петра, Екатерины, Александра и Николая — самодержцев Российской империи, гениев русского духа, творцов русского величия, которое наконец-то впервые признала Европа.

В Польше эпохи Просвещения, когда в условиях постоянной внешней угрозы шла непрерывная внутренняя борьба за реформы, призванные поставить страну вровень с Европой и — одновременно — отстоять национальную независимость, историография в лице Нарушевича обратилась к тем же, что позднее Карамзин, западноевропейским идеям просвещенного монархизма как наиболее эффективному типу государственности.

В России, где эта система правления, продолжив и развив грандиозные деяния Петра, обретала новые блестящие подтверждения в «век Екатерины», а затем во времена Александра I — в победе над Наполеоном и обретением той ключевой роли на европейской арене, которая позднее утверждалась Николаем I, историографическая концепция Карамзина была продолжена Пушкиным. Декабристы же обратились к другой просветительской концепции — демократической системе государственности. Она была близка и значительнейшей части представителей польской политической мысли времен Просвещения и романтизма (в том числе и Мицкевичу), которые развивали ее на основе преемственности тра-

⁷ «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой» — стихи, нареченные В. Ледницким «антипольской трилогией». (*W. Lednicki. Aleksander Puszkina. Studia. Kraków, 1926, s. 36*). В польском контексте (и восприятии) это определение выступает как антитетическое по отношению к знаменитой Трилогии Сенкевича, написанной, по словам самого автора, «для укрепления душ» в эпоху национального угнетения.

диционных идей и институтов шляхетской демократии⁸. Практическим воплощением этих устремлений была первая в Европе Конституция, принятая в Варшаве 3 мая 1791 г. Для абсолютистских соседей, опасавшихся усиления Польши и приближением в ее лице «французской заразы», она стала поводом для окончательной ликвидации шляхетской республики.

Период крушения многовековой государственности, борьба за выживание нации без государства, поиски путей самосохранения и идей самообретения вели в сферу историософии уже с конца XVIII в. (Я. П. Воронич). В России этот процесс появится несколько позже — по мере уяснения русского культурно-исторического тупика (П. Я. Чаадаев, 1828–1830), а затем (с конца 30-х гг.) в связи с осознанием угрозы русской самобытности со стороны буржуазного Запада (славянофилы).

Порожденная просветительским универсализмом историософия, возвышаясь над историографией (как мысль возносится над ограниченным своей материальностью фактом, идея над прагматикой реальности), стремилась к раскрытию общих законов человеческого бытия, общей направленности движения человечества во времени, наконец, самого смысла и цели этой направленности. В такой системе миропонимания универсальное довлеет национальному, а национальное осознается как его производное: отдельные народы видятся как слагаемые человечества, а их роль и значение раскрываются и оцениваются с точки зрения характера их вклада в общие усилия и общие свершения на пути обретения общечеловеческой и человеческой гармонии. Поэтому-то внеположность историософии национализму абсолютно закономерна, как вполне естественно и логично то, что он присущ историографии.

Российская историческая наука пушкинских времен в силу самой своей молодости (не говоря уже о государственных потребностях при отсутствии гражданского общества) была на предисториософской стадии, тогда как польская, изначально будучи частью западноевропейской, проходила те же свойственные этой последней стадии эволюции.

Русская историография была обусловлена непосредственной связью с государственным обществом и осознанно подчинена государственным интересам. Польская историософия с самого начала (Я. П. Воронич), существуя в условиях гражданского общества, развивалась

⁸ См. А. F. Grabski. *Mysł historyczna polskiego Oświecenia*. Warszawa, 1976; А. В. Липатов. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.

в условиях внутренней свободы личности — мыслителя и стреми-лась к осознанию судеб своего народа во взаимосвязи с общехристианской идеей всемирности, а не политической соподчиненности интересам национальной государственности⁹. (Еще одно отражение антиномии традиционного для латинского мира персонализма западного мышления в Польше и свойственной православию соборности самоощущения в России).

Два разных типа мышления — национально-государственный и наднационально-общечеловеческий — историографический и историософский отличают русское и польское мышление (естественно, речь идет о сфере высокой культуры), отражая (и знаменуя) историко-культурные отличия (отягощенное русским наследием византизма государственное общество — в первом случае, гражданское — как следствие традиционной связи с латинством — во втором).

Знаменательным для этого русско-польского, а по сути выходящего за собственно-национальные рамки — восточно- и западноевропейского отличия, полемического диалога культур и взаимонепонимания — является неадекватное восприятие в России историософской по своей сути концепции Чаадаева. Такой тип мышления был настолько иным — новым, непривычным, а посему и чуждым привычным представлениям государственного общества, что не мог быть им понят: историософия воспринималась в плоскости историографии и оценивалась с точки зрения именно ей свойственных национально-государственных представлений. В этом отношении показательно суждение Пушкина: «Что же касается нашей исторической ничтожности, — пишет он Чаадаеву, — то я решительно не могу с вами согласиться... Разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка?»¹⁰. Пушкин, автор статьи «О ничтожестве литературы русской», которая, кстати, могла бы быть неким дополнительным аргументом из области прошлого российской словесности к выводам Чаадаева о византинизме российской истории, культуры и натуры, тут выступает как историк, полемизирующий с историософом, политик — с мыслителем, искренний русский патриот — с первым европейским философом России. Что же касается имперской власти, то для нее идеи, противоречащие стереотипам государственного общества и официальной историографии, были настолько противоестественны и

⁹ О польском историческом мышлении эпохи романтизма см.: *M. Janion, M. Żmigrodzka. Romantyzm i historia. Warszawa, 1978.*

¹⁰ См.: *А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16 т. М.; Л., 1941, т. 16, с. 393.*

абсурдны, что их автор был объявлен сумасшедшим. (Эта традиция русского византизма была восстановлена в СССР, где гражданское общество, уничтоженное в процессе большевистских репрессий, начало возрождаться со времен «оттепели».)

В своих историософских исканиях Чаадаев вступил на почву, новую для русских мыслителей, но традиционную, естественную, «свою» для представителей высокой культуры Запада, а в их числе — поляков. Чаадаева и его польских современников, начиная с Мицкевича, сближает общность мировидения (взаимосвязанный с католичеством универсализм) и именно в его свете открывающаяся собственно национальная перспектива, а отсюда и боль за свой народ, свою страну, свою культуру. Только у Чаадаева это было связано с осознанием тупика российского византизма, изолирующего родину от всемирности, а у поляков — с трагизмом утраты народом свободы вследствие не только чужих, но прежде всего трезво осмысливаемых своих вин. Это отсутствие национализма и горькая национальная самокритичность — следствие именно историософского типа мышления. Чаадаев и его польские современники, такие, как Мицкевич, искали выход из национально-исторического лабиринта в общечеловеческой перспективе Откровения, в прозрении своим народом универсального пути. Его обретение и предreshает наднациональную роль нации: прокладывая путь в будущее себе, она ведет за собой других.

Близость Мицкевича с Чаадаевым одновременно означает расхождение с Пушкиным. Мицкевич ценил его поэтический дар, чему дал свидетельство в цикле лекций о славянских литературах, прочитанном в парижском «Коллеж де Франс», а также в статье памяти Пушкина, опубликованной во французском журнале «Le Globe» (1837)¹¹. Но, может быть, в еще большей степени признание поэтического гения Пушкина содержится в умолчании Мицкевича. Этот литературный прием порой бывает более емким и впечатляющим, нежели самые яркие поэтические метафоры.

Нигде, никогда польский поэт не откликнулся на антипольские стихи Пушкина.

Если прибегнуть к стилю эпохи двух великих романтиков, воспользоваться их фразеологией, метафорикой и поэтической символикой, то раскалываемый историографией и скрепляемый историософией образ мира и связанное с этим отторжение — притяжение

¹¹ «Если бы вообще не было произведений английского поэта (Байрона. — А. Л.), — отмечает в этой статье Мицкевич, — Пушкин был бы провозглашен первым поэтом эпохи» (A. Mickiewicz. Dzieła. Warszawa, 1996, t. V, s. 284–285).

русского и польского художников, представляя в отсвете двух национальных идей, обретет трагически возвышенное звучание:

Русский гений вонзал свой поэтический кинжал в кровотокающую рану Польши, раздавленной доблестной ратью великой державы. Польский поэт увековечил эту рану своей лирой, своими гражданскими деяниями, самой своей жизнью.

Мицкевич-поэт прошел мимо Пушкина-политика. Не обратил на него внимания¹². (Заставил себя не обратить?). Ибо видел и ценил только Пушкина-поэта.

Поистине рыцарственный жест поляка, нареченного пророком в своей столь многострадальной и всегда непокорной родине. Отношение к Польше — лишь составляющее общей позиции Пушкина, в тот период не только выступавшего как государственный поэт, но и ощущавшего себя как член государственного общества. В этой связи уместно привести следующее свидетельство современника: «В России все те, кто читают, ненавидят власть... От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболопной брошюрой»¹³.

¹² Не подобно ли и отношение П. А. Вяземского к антипольскому стихотворению Пушкина «Клеветникам России»? И не тот же прием умолчания использовал он, доверив свои мысли о подобного рода стихотворчестве лишь записной книжке? «Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете?» — отмечает он 14 сентября 1831 г. и далее не без иронии замечает: «Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели во взятии Варшавы». (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 291, 292). Если здесь выражено эстетическое отношение к этим стихам (пушкинское «цель поэзии — поэзия» в равной степени близко и Вяземскому), то позднее Петр Андреевич, столь близко знавший Пушкина, отметил их органичную связь с воззрениями поэта: «Эти стихи — не торжественная ода на случай: они излияние чувств задушевных и мнений и убеждений, глубоко вкорененных» (Русский архив, 1879, кн. II, с. 252).

Впрочем, свое личное отношение к «польским событиям» (которое полностью совпадает с выраженным им же публично в политических стихах) сам Пушкин запечатлел в письмах (1831) к А. О. Россет и П. А. Вяземскому.

«От вас узнал я плен Варшавы Вы были вестницею славы И вдохновеньем для меня» («Из письма к А. О. Россет») (А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах. Т. 2. М., 1959, с. 608).

В письме к П. А. Вяземскому по поводу восстания: «... их надобно задушить, наша медлительность мучительна» (Там же, т. 10. М., 1962, с. 34).

¹³ А. И. Герцен. Полн. собр. соч. В 30 тт. М., 1956, т. VII, с. 220.

Реакция Пушкина на польское восстание была типичной реакцией представителя государственного общества. В личном же плане он сохранял теплые чувства, которые питал к Мицкевичу. В этом отношении показательны полные тревоги за судьбу польского поэта строки из пушкинского письма к Е. М. Хитрово: «В начале восстания он был в Риме, боюсь, не приехал ли он в Варшаву, чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества»¹⁴.

Глубокое почитание поэтического дара Мицкевича было присуще Пушкину постоянно. Об этом, в частности, свидетельствуют не только его переводы (вступление к «Конраду Валленроду», «Будрыс и его сыновья», «Воевода»), но и упоминания его имени и творений в своих произведениях («Сонет», где имя Мицкевича ставится в один ряд с Данте, Петраркой, Шекспиром, Камюэнсом, Вордсвортом; «Дубровский», «Отрывки из путешествия Онегина», примечания к «Медному всаднику» и «Песням западных и южных славян»).

Реакцию на польское восстание представителей гражданского общества отражают ссыльные декабристы А. И. Одоевский (поэтические творения «Славянские девы», «При известии о польской революции») и М. С. Лунин¹⁵, а также — в следующем поколении — А. И. Герцен, который в 1851 г. вспоминал: «Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы: мы плакали, как дети, при вести о поминках, справленных в столице Польши по нашим петербургским мученикам. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям, — поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать»¹⁶. Это умолчание — уже не литературный прием, а свидетельство российского самовластия и внутреннего сопротивления ему постоянно искореняемого и самовозрождающегося гражданского общества: тяжкое российское наследие, тягостная российская традиция — наше давнее и недавнее вчера, наше тяжелое, но внушающее оптимизм сегодня.

Свойственное государственному обществу идеологизированное — великодержавное, узкоконфессиональное, национально ограниченное (и поэтому отграниченное от человеческого универсума), деперсонали-

¹⁴ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти тт., т. X. М.; Л., 1949, с. 335.

¹⁵ См.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. III.

¹⁶ А. И. Герцен. Избранные философские произведения, т. II. М., 1948, с. 140.

зированное — мышление, «заземленное» официально признанной историографией и «приземленное» конкретностью внутривнутриполитических целей и геополитических претензий власти, не только контрастирует с универсальной открытостью типа мышления, который свойственен обществу гражданскому. Само ощущение контраста между застывшим «своим» и новым «чужим» уже самой своей новизной влечет ограниченных и отграниченных собственной многовековой традицией подданных (и преданных) государственной власти к этому «чужому» сугубо ментально (столь присущее людям любопытство и любознательность). У способных же к самостоятельному мышлению здесь помимо поверхностного влечения к внешним проявлениям «чужого» и связанной с этим моды на «чужое» появляется глубинное осознание внутренней несвободы привычного «своего» и внутренней свободы нового «чужого». А это уже означает начало процесса персонализации, появления личностного начала, рождение индивидуума в доселе деперсонализированном мироощущении, знаменуя зачатки нового — гражданского — общества в недрах традиционного — государственного.

Так было в Московском государстве XVII в., когда параллельно острым политическим и конфессиональным конфликтам с Речью Посполитой и вопреки им русская культура — высокая и массовая — открылась навстречу чужой, но колоритнейшей для русского восприятия, а поэтому притягательной культуры «латинства» в его польском варианте. Осмысление же внутренней «инаковости» этой новизны, ее мировоззренческой сути порождало в познающей ее русской среде силу притяжения к иным аксиологическим ориентирам, которые были созданы «латинским» Западом в эпоху Возрождения (вне- и наднациональные — общечеловеческие — ценности, а в связи с этим обращенность к общехристианским идеалам вне и вопреки институционально расколовшейся Церкви; персонализм и примат личности по отношению к государству со всеми вытекающими отсюда последствиями общественной, культурной и художественной деятельности). Следствием такого «брожения умов» было появление в русском самосознании личностного самоощущения, интеллектуальной критичности мышления, устремленности к познанию доселе внешнего («латинского») мира. Этот «внутренний» — духовный — процесс нарастал благодаря тем «внешним» факторам, которые были связаны с реформами Петра I и эпохой Просвещения, расцветшей в России времен Екатерины II.

Среди русских друзей и знакомых Мицкевича — наследников и носителей этой обновленной русскости — были как поборники ее эволюционного развития в общеевропейском русле цивилизации, но с особым учетом национального начала, так и сторонники дальнейшей

радикальной модернизации в духе государственно-политических и социально-экономических доктрин современного Запада. Эта полифоничность поисков уже сама по себе была свидетельством новой стадии развития русской духовной жизни, ее отторженной от собственного «византинизма» «европейскости». Внутреннее же расслоение общества на гражданское и государственное предопределялось не столько самими направлениями русской мысли «самими по себе», — сколько отношением к государственной власти и пониманием ее роли в жизни общества и личности.

В атмосфере внутрироссийских духовных поисков и связанных с ними споров универсальная открытость мышления Мицкевича, широта его разомкнутого на многонациональный мир кругозора, столь свойственная его индивидуальности одухотворенная проникновенность высказывания правд, открывающихся взору поэта с высот историософского восприятия (где национальное неотрывно от всечеловеческого) — все это наряду с ярко выраженным национальным даром художественной новизны влекло к нему русских искателей современной русскости. Не здесь ли причина его необычной притягательности (о чем сохранилось немало свидетельств современников, в том числе и Пушкина)? Не здесь ли и феномен теплого принятия его, готовного понимания, сердечных симпатий как в среде зарождающегося русского славянофильства, так и западничества, которые тогда еще не были резко дифференцированы?

Это тяготение русских к Мицкевичу особенно феноменально в сопоставлении с отношением к нему поляков. Никогда — ни до приезда в Россию, ни в эмиграции — Мицкевич не пользовался всеобщим признанием и любовью своих соплеменников, которые изначально в силу эстетических и идейных, а позднее религиозных и политических исканий и убеждений поэта разделялись (и порой весьма резко) в его оценках и в самом отношении как к его творчеству, его деятельности, жизни, так и к самой его личности. Для русских же он — человек историософского типа мышления и одновременно человек со стороны, а при этом — ярко выраженная личность, не скованная как стереотипами русского государственного общества, так и просвещенного космополитизма, национальный по духу поэт, а одновременно европейский по складу ума интеллектуал был своего рода посредником в их собственном обмене мыслями и арбитром в их идейных спорах.

Он вдохновлен был свыше И свысока взирал на жизнь (А. С. Пушкин. Он между нами жил)¹⁷.

¹⁷ А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 тт. М., 1974, т. 2, с. 316.

В этих строках стихотворения-воспоминания и — есть основания полагать¹⁸ — стихотворения-ответа на мицкевичевское «Русским друзьям» Пушкин поэтической метафорой «высоты» пронизательно высветил и проникновенно охарактеризовал склад ума польского пиита-любомудра. Его идея межнационального всеединства, а в его рамках — славянской взаимности — зиждилась не на великодержавно-политическом объединении и последующем подчинении родственных народов единой воле самодержца Российской империи (концепция русских и части зарубежных славянофилов). Наследник национальной исторической традиции шляхетской демократии, ученик знаменитого историка, известного деятеля демократического движения в Польше и на Западе И. Лелевеля, поборник национально-освободительных идей и революционных действий Мицкевич видел будущее славян — если речь идет о сфере общественно-политического устройства — в их объединении на основах республиканской демократии, а что касается сферы духовной — в экуменической общности христианства.

Этот историософский образ идеальной картины будущего, которую рисовал русским Мицкевич, доподлинно представил Пушкин, поэтически воссоздав его идею тех времен всечеловеческой истории, «когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся»¹⁹.

Великодержавная политика и свойственное ей идеологизированное мышление, спровоцировав ноябрьское восстание 1830 г.²⁰, разделило не только свободолюбивую Польшу и самодержавную Россию (процесс, продолжавшийся до наших времен). Это насилие «вовне» — над «чужими» — разделило «изнутри» и самих «своих» на общество гражданское и общество государственное (разделив тем самым и ту общую среду, в которой вращался Мицкевич и для которой он был любим или близок)²¹. И так же, как борьба поляков

¹⁸ В этом отношении особый интерес представляют работы В. Ледницкого и Р. Блута.

¹⁹ А. С. Пушкин. Указ. соч., с. 316.

²⁰ Нельзя было безнаказанно нарушать конституцию Королевства Польского. Российское же самодержавие, как потом и сменивший его большевистский тоталитаризм, не считаясь с польской спецификой, не учитывая особенности польского менталитета, сами создавали тот «польский вопрос», который неизбежно обретал не только внутрисоветский, но и общеевропейский резонанс. Впрочем, по сути своей это лишь составная более общей проблемы: отсутствие выверенной национальной политики — извечная черта многонациональной России. Плоды этого страна познает по сей день.

²¹ Первоначальным толчком, вызвавшим эту общественную трещину, было восстание декабристов и последовавшие затем репрессии. Ярчайшие (и проникновенные в

«за вашу и нашу свободу» (столь близкая мыслям Мицкевича надпись на знаменах восставших) являла — вопреки Пушкину — отнюдь не «домашний спор» «кичливого ляха» и «верного росса»²², так и продолжающийся с тех пор внутренний раскол в России был отнюдь не только русской драмой, обернувшейся в следующем столетии величайшей многонациональной трагедией.

И в том, и в другом случаях общечеловеческие ценности оказались несовместимы с великодержавно-националистическими, находящими обоснование в официальной историографии. Историософское же осознание гармоничной целостности универсального и локального — всеобщего и национального — исключает их противостояние, точно так же, как гражданское общество потенциально сводит на нет те напряженности, конфликты и взрывы, которые несет в себе общество государственное. Несет не только другим, но и самому себе. Поэтому-то «послание» Мицкевича «Русским друзьям» — казненным собственным режимом («Светлый дух Рылеева погас»), лишенным прав, сосланным в Сибирь («Нет больше ни пера, ни сабли в той руке, // Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев. // С поляком за руку он скован в руднике»), равно как и тем, кто был «наказан небом строже», ибо «разум, честь и совесть продал», — до сих пор сохраняет и свою поэтическую проникновенность, и... свою этическую актуальность.

Историографическая трактовка фактов, событий, персонажей шла «вровень» с ними и на предначертанном государственной системой уровне официальной идеологии, тогда как историософская — над ними — с высоты христианской аксиологии и общецивилизационной телеологии универсальных ценностей и гуманистических устремлений, которым несвойственны национальные разграничения и государственные отграничения. Поэтому государственно плоскостное и национально плоское историографическое мышление внеположно объемному, глубокому и разностороннему историософскому осознанию исторических событий и личностных позиций, исключая, как

силу индивидуальной тональности) поэтические свидетельства этого разделения — стихотворное «послание» «Русским друзьям» Мицкевича (а ими, как явствует из самого текста, были декабристы), с одной стороны, а с другой — стихотворное же обращение Пушкина к Мицкевичу («Он между нами жил»), искренне преклонявшегося перед поэтическим даром и личностью Мицкевича, искренне, глубоко и горько, с болью сердечной переживающего — как русский государственный и великодержавный патриот — непонимание польским поэтом тех истин и тех благ, в которые веровал он сам.

²² А. С. Пушкин. Клеветникам России // Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1954, с. 127.

показывает «послание» «Русским друзьям» национальную ненависть и даже праведный гнев гражданина, чья родина раздавлена, унижена, разорена. Есть у Мицкевича понимание русских друзей, сострадание к постигшей их участи, есть снисходительное презрение к тем, кто «деспота воспев подкупленным пером, / Позорно предает бывлых друзей злословью, / Иль в Польше тешится награбленным добром, / Кичась насильями, и казнями, и кровью». А вместо проклятий — единственное пожелание:

Слезами родины пускай язвит мой стих, Пусть, разъеда, жжет — не вас, но цепи ваши.

И после этого пожелания освобождения духовных рабов — пусть даже ценой страданий тех, кого эти рабы стремятся превратить в таких же рабов своего господина — одно, только одно объяснение поэта. Нареченный пророком, он, благодаря свету историософского понимания людей и событий, видит сквозь тень и мглу бытия причины и следствия как преступлений государства против человечности, так и жалкое ничтожество тех, кто слепо этому государству верит и покорно служит, составляя послужную массу государственного общества: А если кто из вас ответит мне хулой, Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый И рвется искушать, любя ошейник свой, Те руки, что ярмо сорвать с него готовы²³. (Перевод В. Левика)

...«Антипольская трилогия» Пушкина — русские (без «анти») мотивы-размышления Мицкевича.

Историографичность русского поэта — историософичность польского. Это всего лишь попытка приближения к до конца непостижимой сложности национальных гениев... и их трагичности... К менталитету двух наций, соприкосновению двух национальных культур... А в конечном итоге — взаимопониманию и взаимонепониманию двух столь разных народов. И столь близких, ибо не только приговоренных историей к географическому соседству, но и — вопреки всем своим распрям — объединяемых универсальными ценностями общей для них Европы.

²³ А. Мицкевич. Избранные произведения. Т. 2. М., 1955, с. 273–274.

Роль польского восстания 1830 г. в утверждении негативного образа Польши в русской литературе

В 1996 г. историческим романом дебютировал талантливый русский прозаик Антон Уткин. Один из персонажей его «Хоро-вода», действие которого происходит в середине XIX в., русский офицер Посконин заявляет своему польскому собеседнику полковнику Квасницкому:

« — Ведь ваша милая Польша — прямо средоточие всякой зага-дочности. Ну и бунтов, непременно, крамолы и татбы, так сказать.

— А для нас, поляков, — парировал Квасницкий, — средо-точие всякой загадочности — дремучая Московия».

Другой персонаж, офицер русской армии, вспоминает о польской кампании 1830 г., в которой он участвовал, и говорит о поляках: «Да и что за народ, посудите сами — хохлы не хохлы, наш брат славяне, а туда же за Европой тянутся, кости ловят, объедки подбирают»¹.

Автор вкладывает в уста героев то понимание Польши и поля-ков, какое сложилось в России в результате подавления польского национально-освободительного восстания 1830 г. Не приходится со-мневаться в распространенности в тогдашнем русском обществе по-добных суждений о поляках, хотя, разумеется, были и другие. Хо-рошо известно, например, сочувственное отношение к восстанию мо-лодого А. Герцена и его окружения, ссыльных декабристов и т. д. Но даже такой резкий критик истории России и современных в ней по-рядков, сторонник католицизма и западноевропейской цивилизации, как П. Я. Чаадаев, в «польском вопросе» занял великодержавную позицию. Об этом свидетельствует его статья «Несколько слов о польском вопросе» (конец 1831 — 1832)², его письмо А. Пушкину от 18 сентября 1831 г., в котором он восторженно отозвался об анти-польских стихах поэта (о них еще пойдет речь): «Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране»³.

Еще более рьяно обрушились тогда на поляков официозные публицисты и литераторы, у которых, как, например, у Н. И. Гре-

¹ А. Уткин. Хоровод // Новый мир, 1996, № 10, с. 54, 103.

² П. Я. Чаадаев. Полн. собр. соч. и избранные письма. Т. I. М., 1991, с. 512–515.

³ Там же. Т. II, с. 73.

ча (в его более поздних мемуарах о том времени) поляки характеризуются как «безмозглые» или «подлые /.../, не достойные ни свободы, ни уважения»⁴.

Но наиболее существенно, пожалуй, другое: утвердившийся в то время стереотип восприятия поляка оказался исключительно живучим. Свое дальнейшее развитие и распространение он получил на волне антипольской истерии, охватившей определенные слои русского общества после восстания 1863 г., и эту инерцию сохранял едва ли не до недавнего времени.

Остановлюсь на некоторых причинах формирования этого стереотипа в русской литературе после восстания 1830 г. Отклики на него в России неплохо изучены и описаны польскими и русскими исследователями⁵. Это относится и к публицистике, и к общественно-политическим, религиозным и историко-философским текстам, к эпистолярной, дневникам и воспоминаниям, а также, разумеется, к художественной литературе. В большинстве текстов действительно доминирует идеологизированный образ Польши и поляков — врагов России. В течение многих десятилетий именно он воздействовал на русское общественное мнение о Польше. Пальма первенства здесь принадлежит литературе, ибо из всех феноменов культуры именно литературе — в силу эмоционального воздействия ее языка — выпадает преобладающая роль в закреплении тех или иных форм общественного сознания и психологии (по крайней мере, так обстояло дело до середины XX в., т. е. до расцвета других средств массовой коммуникации — кино, телевидения и других — которые в итоге опираются все равно на слово).

Обращаясь, как правило, к уже известным откликам русских писателей на восстание, я не ставлю своей задачей пополнить их перечень, а попытаюсь показать их роль в упрочении долгоживущего общественно-исторического мифа, который по своим законам генерализирует и унифицирует явления и обладает большой силой убеждения. Лаконичная, образная формула легко врезается в память, отрываясь от контекста и превращаясь в долгоживущее расхожее клише — самостоятельный миф. Так, строчка из «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова — «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал» — сначала интерпретировалась как позиция самого поэта, а затем, отделенная от текста и контекста, стала оправданием отношения к чечен-

⁴ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М., 1990, с. 326.

⁵ Из работ последнего времени см.: *Dziedzictwo Powstania Listopadowego w literaturach obcych*. Warszawa, 1986; *J. Orłowski. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej*. Warszawa, 1992; *Miecze i gałazki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (wiek XVIII–XX)* // Wybrał i opracował Jan Orłowski. Warszawa, 1995.

цам, якобы «поддержанного» Лермонтовым. Так же проник в русское сознание пушкинский «кичливый Лях», превратившись в знак мифа, существующего в обыденной психологии. Этот случайный семантический «интервал» восприятия надо всегда иметь в виду.

В действительных же — на самом деле очень сложных — взаимоотношениях России и Польши решающую роль играли такие факторы, как географическое соседство народов, порождавшее жестокие военно-политические конфликты, разная конфессиональная ориентированность, существенная разница между шляхетской демократией в Польше и державно-монархической властью в России, участие России в разделах Польши, вызвавшее антирусские национально-освободительные восстания, а вслед за ними всплеск шовинистических настроений в России. Именно этими факторами оказалось детерминировано формирование в русской литературе негативного стереотипа поляка. Он не был, конечно, единственным представлением о Польше, но, несмотря на все знаменательные исключения, в силу ряда причин, лежащих в области законов исторической и социальной психологии, именно он укоренился в массовом сознании, сохранялся в исторической памяти поколений и воспроизводился обыденной психологией в новых условиях. В известной степени, может быть, и благодаря тому, что однажды «запущенный в оборот» художественный образ не отменяется до конца последующим развитием литературы, а, уходя в культурное подсознание, продолжает «работать» на восприятие одновременно с другими, более поздними.

Так, собственно, и произошло с талантливым литературным произведением, откликнувшимся на восстание 1830 г. Атмосферу общественно-политической жизни в России времен восстания Ст. Пигонь (в 1936 г.) характеризовал следующим образом: «Пучина оскорбленной национальной гордости, раздраженного шовинизма поглотила и значительную часть русской интеллигенции, включая ее элиту. Политика правительства достигла немаловажных успехов: она объединила народ эмоционально. После военной победы это выразилось в неудержимом стремлении к мести. На родной земле поэта (речь об А. Мицкевиче. — В. Х.) царь-Ирод замыслил истребить на корню польскую нацию и нашел в своей стране поддержку этому замыслу со стороны общественного мнения»⁶.

Конечно, в атмосфере антипольской кампании появилось множество бездарных, откровенно спекулятивных шовинистических стихотворений «на злобу дня». Сегодня никто не будет читать, например,

⁶ St. Pigoń. Zawsze o nim. Kraków, 1960, s. 216.

поэму (и мало кто вообще слышал о ней) третьестепенного стихотворца Николая Данилевского «Глас умирающего поляка после сражения, бывшего под Прагою» (1831). Напрочь забыты и урапатриотические произведения Ивана Паршова, Николая Кириллова, Семена Стромиллова, Александра Шишкова и многих других⁷. Но дело не в количестве и художественности подобной литературной продукции, а в том, что в ряду противников Польши оказались тогда выдающиеся русские поэты — Пушкин, Жуковский, Тютчев, Лермонтов и др. И пушкинский взгляд на судьбу и будущее Польши определял отношение нескольких поколений русской интеллигенции к «польскому вопросу». Во всяком случае, авторитет Пушкина преодолевался с трудом.

Разумеется, неправильно было бы в угоду новой исторической конъюнктуре совсем выносить за скобки существовавшую и тогда поляризацию позиций по отношению к восстанию 1830 г. (Именно на это делался упор в русских и польских исследованиях советского периода — например, в работах Е. З. Цыбенко, Б. Бялокозовича⁸). Но и на самом деле — наряду с повинистической эйфорией, захватившей тогда русское общество, — существовало и другое — сочувственное — отношение к Польше. Такие факты есть: это и отдельные высказывания, и не пропадавший интерес к польской литературе, и посвященные Польше отдельные стихотворения.

Так, например, в стихотворении Александра Одоевского восстание расценивается как борьба братского народа за свободу:

Вы слышите: на Висле брань кипит!

Там с Русью Лях воюет за свободу.

И хотя это стихотворение находившегося в ссылке поэта-декабриста впервые было опубликовано в 1861 г. в малодоступном в России лондонском издании — антологии «Нелегальная русская литература в XIX в.», оно, как и некоторые другие отклики на восстание, свидетельствует о существовании иной, нежели преобладающая, тенденции в русской литературе того времени о Польше. Интересно другое: эта тенденция не повлияла на изменение стереотипа, овладевшего массовым сознанием. (Это относится, заметим, и к другим

⁷ См.: E. Kucharzka. Echa powstania listopadowego w literaturze rosyjskiej lat czterdziestych XIX w. // Zeszyty naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska. I. Opole, 1962.

⁸ См.: H. Cybienko. Polska literatura romantyczna po powstaniu 1830 r. a czytelnik rosyjski // Dziedzictwo Powstania Listopadowego w literaturach obcych...; B. Bialokożowicz. Polski ruch niepodległościowy w świetle poezji rosyjskiej XIX w. // W jego książce: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX w. Warszawa, 1971.

историческим эпохам, когда в русской литературе появились произведения, с симпатией рисующие поляков, когда интерес к польской литературе и Польше в прогрессивных кругах российской интеллигенции был очень высок).

Неприятие русскими литераторами польского восстания 1830 г., характерное как для славянофилов, так и для западников (факт, который нельзя правильно интерпретировать вне реального исторического контекста, его сиюминутных политических задач), стало пусковым механизмом для создания негативного стереотипа поляка в массовом, обыденном, обывательском сознании, существующего по своим, лежащим уже в плоскости психологии, законам.

Известный славянофил Алексей Хомяков в стихотворении «Ода (на польский мятеж)» (1830) рассматривал восстание 1830 г. как «вражды бессмысленный позор», как братоубийственную войну, когда

*Орлы славянские взлетают
Широким дерзостным крылом,
Но мощную главу склоняют
Пред старшим — Северным Орлом.*

В других своих стихотворениях — «Киев» (1839) и «Орел» (1852) А. Хомяков продолжал развивать свои славянофильские идеи на канве польского восстания 1830 г.

В славянофильском духе были выдержаны и произведения Константина Аксакова на польскую тему — стихотворение «Отрывок из письма к Б.» (1833), драма «Освобождение Москвы в 1612 г.», некоторые его исторические труды.

Для государственника Тютчева борьба российского самодержавия с мятежной Польшей была борьбой за сохранение целостности славянской державы, которой предопределена великая историческая миссия. Об этом идет речь в стихотворении «Как дочь родную на закланье», написанном в 1831 г., в связи со взятием Варшавы (опубликовано лишь в 1879):

*Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.*

С откровенно шовинистических великорусских позиций воспринял «польский бунт» Василий Жуковский в двух своих известных стихотворениях. В «Старой песне на новый лад» (1831) он писал:

*Спор решен; дана управа;
Пала бунта голова.*

А в стихотворении «Русская слава» (1831) он воспел подавление восстания как историческое возмездие за унижение Москвы во времена «смуты».

«Старая песня на новый лад» Жуковского была опубликована вместе со стихотворениями А. Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» в брошюре «На взятие Варшавы», которая вышла в свет 11–13 сентября 1831 г. и вскоре была переведена на немецкий язык.

Наибольшее внимание исследователей закономерно привлекает отношение к восстанию Пушкина. Пожалуй, это ключевой момент в упрочении негативного стереотипа поляка в русской поэзии. Интерпретация позиции Пушкина до сегодняшнего дня вызывает споры. Одни подчеркивают, что его стихи направлены не против польских повстанцев, а против враждебных России западноевропейских политиков, стремившихся испечь каштаны на чужом огне. Другие исходят из того, что поляки для Пушкина — принципиальные враги России. Конечно, дело обстояло и обстоит сложнее.

С точки зрения Пушкина, от того, как решится участь восставшей Варшавы, зависела судьба России, исход ее противостояния Западу. Пушкин в тех конкретных условиях опасался новой общеевропейской войны. «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 г.», — говорил он гр. Е. Е. Комаровскому⁹.

Поэтому «их [поляков] надобно задушить, и наша медленность мучительна, — писал Пушкин в письме П. Вяземскому (1 июня 1831 г.) — Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским»¹⁰. Эта же мысль легла в основу обращения поэта к западным политикам в стихотворении «Клеветникам России»:

*Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.*

.....
*Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;*

⁹ Разговоры Пушкина / Собрали С. Гессен, Л. Модзалевский. М., 1929, с. 168.

¹⁰ А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах. М., 1962, с. 34.

*Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.*

Одна из главных тем «Бородинской годовщины» — вопрос о границах России:

*Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?*

Этот отрывок можно понять только в контексте конкретных целей руководителей восстания, которые намеревались восстановить границы старой Польши, включавшей в себя значительную часть Украины, Белоруссии и Литву. «В понимании Пушкина, — писал в связи с этим Вацлав Ледницкий в 1926 г., — (впрочем, в определенной мере это соответствовало действительности) борьба шла за историческое наследие Великого Княжества Литовского, которое прежде разделяло Польшу и Россию. Дело заключалось в том, что Пушкин, с одной стороны, недооценивал исторического значения польско-литовской Унии, а с другой — придавал огромное значение разрешению этого спора — отрыв России и присоединение к Польше земель бывшего Княжества Литовского было бы, по его убеждению, для России катастрофой, необратимым поражением»¹¹.

Вслед за Пушкиным расценивал польский мятеж как политическую интригу Запада, направленную против России, и М. Лермонтов в стихотворении «Опять народные витии...» (1834):

*Опять народные витии,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять шума восстали вы.*

Политическая направленность стихотворений Пушкина и Лермонтова против вмешательства Запада в «семейные» дела славян не исключила, однако, создания поэтами психологически негативного

¹¹ W. Lednicki. Aleksander Puszkina. Studja. Kraków, 1926, s. 108.

образа польских бунтарей. И именно в связи с популярностью в России имен Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Тютчева и др. уместно хотя бы вкратце рассмотреть механизм создания в их «польских» стихах стереотипа, который детерминировал образ мышления или поведения массового читателя.

В основе поэтического воплощения «польской темы» у названных поэтов лежит традиционная для любого этнического стереотипа оппозиция «мы-они». «Наше», позитивное, противопоставляется «чужому», негативному, как, например, у Лермонтова:

*Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца божьего не видно
За солнцем русского царя.*

На аналогичном противопоставлении строится эмоциональное воздействие у Пушкина: «кичливый лях иль верный росс» («Клеветникам России»), «Ваш бурный шум и хриплый крик смутили ль русского владыку?» («Бородинская годовщина»).

Воспроизведение традиционного риторически доведенного до формулы противопоставления своего чужому, ориентация на мгновенный эффект публичного воздействия этого противопоставления определяет форму: ораторский монолог, прямое обращение к читателю, а также специфический набор символов, систему намеков и «беспроегрышных» исторических аллюзий. Например, у Пушкина в «Клеветникам России» содержится намек на прошлые победы русского оружия:

*Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?*

.....
Иль русский от побед отвывк?

«Измайльский штык» — это о взятии Суворовым в 1790 г. сильной турецкой крепости. И в «Бородинской годовщине» Пушкин обращается к Суворову, проводя историческую аналогию между поражением восстания и взятием Суворовым Варшавы в 1794 г.:

*Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы.
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!*

В. Жуковский в стихотворении «Российская слава» также прославляет резню, учиненную войсками Суворова в варшавской Праге в 1794 г.

Используя таким образом традиционный этнический стереотип в связи с восстанием 1830 г., русская политическая поэзия в ее наиболее талантливых проявлениях пыталась синтезировать публицистику и лирическое состояние, интуитивно очень верно апеллируя к потребности людей в ощущении и сознании своей правоты, силы и общности. На фоне этой эмоции готовые и не подлежащие сомнению формулы-истины внушаются и усваиваются очень легко. Тем более, что преподносятся они в форме насыщенного риторическими вопросами и утверждениями лирического дискурса.

Стереотип воплощается в стихе с помощью размышления, в котором своеобразно совмещаются прошлое и настоящее. Эмоциональность и экспрессивность поэтического текста повышается и за счет «ключевых слов». Например, в «Клеветникам России» ими являются: волнение, спор, вражда, борьба, ненависть, победа.

До сих пор мы говорили о поэзии, поскольку первые десятилетия XIX в. — пушкинский «золотой век» русской поэзии с преобладанием в литературе стихотворных жанров. Да и первые подобные отклики, формирующие стереотип, требуют поэтической формы. Но «польская тема», вызванная восстанием 1830 г., в 30-е годы и несколько позднее нашла дальнейшее отражение также в прозе и драме. Из прозаических произведений можно отметить рассказ Владимира Даля «Подольянка» (1839). Он основан на воспоминаниях автора, который был в 1831 г. в Каменец-Подольске и общался с поляками. Повествователь явно отрицательно относится к восстанию, считая его безумным и бессмысленным делом.

Многочисленны были в это время и драмы с польскими сюжетами, проповедующие — и демонстрирующие средствами своей поэтики — нехитрый тезис официальной идеологии: кровожадные поляки жаждут унижить святую Русь — А. Хомяков «Дмитрий Самозванец» (1833); А. Шишков «Лжедмитрий» (1835); Е. Розен «Россия и Баторий» (1834) и др. В трагедии В. Кюхельбекера «Прокопий Ляпунов» (1834) прославляется, например, организатор первого земского ополчения против польских интервентов в 1612 г. («он был и мудр, и славен, и могуч, и воевода, и правитель грозный»).

Наибольшую известность получила драма Нестора Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (1834). Это исключительно тенденциозное и верноподданническое произведение на

тему спасения Москвы в 1612 г. от поляков, герои которого питают ненависть к «глупым ляхам». Для Кукольника русский монарх — высшее воплощение народной воли и разума, и его герои образцово служат «царю и отечеству». Не случайно драма получила поддержку семьи Николая I, а отрицательная рецензия на нее Н. Полевого в «Московском телеграфе» послужила поводом для закрытия журнала.

Популярность этой драмы Кукольника, которая десятилетиями не сходила со сцены, объясняется в числе других причин и востребованностью обществом именно такой — государственной, державной идеологии.

Несмотря на все оттенки в негативном восприятии русскими литераторами восстания 1830 г., созданные в связи с ними образы Польши и поляков складываются в инвариантную, устойчивую структуру. Они отразили исторический опыт русской нации на тот момент — его установку и потолок — и не столько дали русскому обществу достоверные знания о соседнем народе, сколько продемонстрировали собственную этническую ментальность. В ее основе, как это видно из подавляющего большинства откликов на восстание 1830 г., лежала идеология державности, склонность к сакрализации государства. Истоки этой державности — в исторически сложившейся особой роли государственно-го аппарата в России, который всегда подавлял свободлюбивые стремления и права народов и отдельных личностей во имя целостности и величия державы. Идея державности насильственно прививалась русскому национальному сознанию на протяжении всей российской истории, она воплотилась и в художественных произведениях, созданных в связи с польскими восстаниями, она, к сожалению, жива в русском обществе и по сей день.

Польская культурная среда в Вологде середины XIX века

Интерес к представителям образованной части польского общества, которые волею судеб оказались в местах, столь отдаленных от своего Отечества, у меня возник благодаря общению с замечательным человеком, имя которого и память о котором неизгладимы — я говорю об Анджее Дравиче. Мы встречались с ним трижды, и это были знаменательные для меня встречи — на конференции Российской Академии наук в Москве, на конференции в Варшаве, куда он меня пригласил, и, наконец, на симпозиуме «Пресса и культура» — в Вологде, куда пригласил я его. Замышляя этот доклад, я рассчитывал на четвертую встречу — опять в Москве, но — случилось то, что случилось, и встрече этой, к великой моей скорби, уже не суждено было состояться.

Однако тема, которую я избрал для такой встречи и которая, бесспорно, была бы очень интересна для пана Анджея, с большой настойчивостью требовала к себе внимания: ее реализация стала как бы долгом перед ушедшим.

Вашему вниманию представлен лишь начальный этап работы, которая, при наличии к ней интереса, может быть продолжена и представляется весьма перспективной.

В начале тридцатых годов XIX века, когда на Севере появляются первые ссыльные из Царства Польского (так в официальных документах именовались польские губернии, оказавшиеся в границах России), Вологда, несмотря на статус губернского центра, была городом тихим и весьма провинциальным. Однако глазами человека того времени многое виделось иначе, чем с позиций историка рубежа XIX–XX в., т.е. времени гораздо более позднего. «...До 30-х г. одни только площади были вымощены камнем, а улицы и тротуары деревом», — сожалеет историк; а вот точка зрения на тот же предмет очевидца: «Замечательно..., что на всех улицах поделаны широкие деревянные тротуары. Видно, что леса много и достается он дешево»¹.

Существуют и объективные цифры, которые позволяют судить о том, что Вологда, уступая столицам — Петербургу, Мо-

¹ И. А. Тюрин. Третий период истории города Вологды со второго десятилетия XVIII века до 60-х годов XIX века. Рукопись. ГАВО, ф. 652, оп. 1, д. 34, л. 27; Вологда в воспоминаниях и путевых записках: конец XVIII — начало XIX века / Сост. М. Г. Ильющина. Вологда: Вологодская областная универсальная и научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 1997, с. 79.

ске, а также другим, более развитым городам России того времени, все же представляла собой уже настоящий город. Вот некоторые данные за 1836 год.

Всего жителей обоего пола было несколько более 16 тысяч, из них дворян 522, учащихся около полутора тысяч (более всего — около 500 — в духовной семинарии), 50 церквей, колоколов 400; домов насчитывалось 1310, из которых только 64 было каменных ².

Нельзя не обратить внимание и на то обстоятельство, что именно в те годы, о которых идет речь, город очень активно и динамично развивался. Уже в 1860 году количество домов достигло 18 с лишним тысяч, а каменных из них было почти вдвое больше — 111 ³.

Современник так описывает общий облик города: «Особенно замечательных или великолепных зданий вы не найдете в Вологде; но вообще можно назвать ее чистеньким городом. Самую замечательную особенность его составляет то, что, за исключением церквей, в нем чрезвычайно мало каменных зданий, вероятно, от дороговизны каменных построек, но зато деревянные дома так велики и так хороши, что подобных мне не случалось видеть нигде; между ними немало двухэтажных и некоторые не уступят любому каменному дому», — и далее: «... дома в Вологде построены из прекрасного леса, просторно и чисто» ⁴.

С точки зрения занимаемого пространства Вологда, в глазах жителей середины прошлого века, воспринималась городом «довольно обширным и разбросанным», подобно другим русским древним городам ⁵. Остается добавить, что в это время в городе существовало две общественных библиотеки — дворянская публичная библиотека, насчитывавшая около 600 книг, и библиотека при мужской гимназии, в которой книг было до пяти тысяч. При магазине купца Сумкина на чтение журналов подписалось 40 человек; но уже в 70-е годы на город выписывалось около 500 журналов, правда, большинство — православно-духовного содержания ⁶.

Таков был город, в который с ноября 1831 года начали прибывать ссыльные участники восстания — «бывшие генералы и полковники войска Польского», как их именовали в официальных документах.

² Вологда в воспоминаниях и путевых записках. С. 72.

³ В. Д. Андреевская. Очерк по истории города Вологды до 2-й половине 19-го века. Рукопись. ГАВО, ф. 652, оп. 1, д. 35, л. 3.

⁴ Вологда в воспоминаниях и путевых записках. С. 79.

⁵ Там же. С. 76.

⁶ В. Д. Андреевская. Цит. соч., л. II.

25 октября были отправлены из Москвы и 1 ноября прибыли в Вологду генералы Томицкий и Чижевский ⁷. В сопровождающем их документе за подписью Московского военного генерал-губернатора указано: «По Высочайшему повелению отправляются из Москвы в Вологду... бывших Польского войска генералы бригад: Томицкий, уроженец княжества Познанского, который имел чин до мятежа настоящий и состоял при уланской дивизии, служил в мятежнических войсках бригадным командиром 1-го Кавалерийского корпуса, уволен в отставку 17 июля сего года; и Чижевский, уроженец воеводства Калишского, имел чин до мятежа настоящий и был командиром 3-й бригады 2-й пехотной дивизии, служил в мятежнических войсках в том же чине и командиром той же бригады до 28 февраля, а с сего времени находился без всякой должности до 1 сентября, потом назначен начальником Варшавских укреплений, наконец — был комендантом крепости Модлина, где оставался до сдачи оной и прибыл в Варшаву 30 сентября/12 октября» ⁸.

На следующий день, т. е. 2 ноября был доставлен генерал-бригадир Ксаверий Неселовский, о котором сообщено, что «бывший Польских войск генерал бригадир Ксаверий Неселовский есть уроженец Гродненской губернии, до происшедшего мятежа находился в отставке, имел чин настоящий, служил в мятежнических войсках и был первоначально вице-губернатором [города] Варшавы, потом назначен бригадным командиром и добровольно возвратился в Варшаву 30 сентября сего года» ⁹. Тогда же был доставлен и бригадный генерал Осип Морозинский, занимавший в повстанческих частях должность начальника Главного штаба Польской армии, а затем — Главного директора военного управления. Как и генерал Неселовский, он «возвратился добровольно с Плоцка», после чего и был арестован ¹⁰.

Ко 2 декабря 1831 года в Вологде было уже девять польских генералов: «...генерал от инфантерии Красинский..., бригадный генерал Мюльберг..., ...бригадный генерал Моравский..., ...бригадный генерал Томицкий..., ...бригадный генерал Чижевский..., ...бригадный генерал Морозинский..., ...бригадный генерал Неселовский..., ...бригадный генерал Дзеконский... и... бригадный генерал

⁷ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 583, л. 1, 2; ф. 14, оп. 1, д. 587, л. 1, 2, 3.

⁸ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 587, л. 6. Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемых подлинников приведена в соответствие с современными требованиями.

⁹ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 584, л. 1.

¹⁰ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 588, л. 1, 3.

Редель»¹¹. Эти данные заимствованы из Дела об уплате жалованья польским генералам, которое завершается таким резюме Вологодского гражданского губернатора, адресованным Казенной палате: «Следующие им на содержание деньги благоволит Палата отпускать под расписку генерала Ределя, по изъявленному на то желанию вышеозначенных генералов»¹². В следующем, 1832 году, к названному прибавилось еще два генерала — Круковецкий и Желтковский, которые были переведены из Ярославля и прибыли в Вологду 28 апреля¹³. Хотя появление этих двух ссыльных в Вологде никаким досье не сопровождалось, имя, по крайней мере, одного из них — генерала Круковецкого — достаточно известно: он в августе 1830 г. возглавил правительство восставшей Польши, но после того, как Варшава была взята штурмом, выразил покорность русскому императору (что, впрочем, не нашло поддержки у других руководителей восстания)¹⁴.

В начале 1832 г.¹⁵ в Вологду были доставлены также два полковника, жизненный и служебный путь которых также весьма примечателен.

Цитирую официальный документ: «...бывших польских войск полковник Роланд, уроженец Царства Польского, именно из Сломниц (?) Краковского воеводства, в службу вступил и определен поручиком в 5-й пехотный полк бывшего варшавского Герцогства в 1807 году, в том же году произведен в капитаны в 6-м линейном полку, а в 1812 в майоры, с назначением в 18 линейный полк; приказом [от] 13/25 марта 1815-го переведен в учебный батальон, 8/20 июня 1815 произведен в подполковники, с переходом в Гвардейский гренадерский батальон, в 1816 определен командиром 4-го линейного, а 8/20 июня 1817 года 7-го линейного же полка, чин полковника получил в 1820 году.

¹¹ ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 526, л. 4; о генералах Ределе и Дзеконском (Дзяконском) говорится, что они прибыли, соответственно, 28 и 30 октября (там же), но никаких документов, подтверждающих эти даты, не обнаружено. С другой стороны, даты прибытия других генералов, отмеченные в данном конкретном источнике, явно расходятся с подтвержденными другими документами, что заставляет сомневаться в их достоверности.

¹² Там же; Казенная палата ведала выделением денежных средств. Можно полагать, что сосланные генералы не имели нужды в деньгах; о том же свидетельствует переписка в связи с получением генералом Дзеконским от родственников достаточно больших сумм (4-х и 2-х тысяч рублей). См.: ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 2, л. 1, 2.

¹³ ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 546, л. 2, 3.

¹⁴ Большая Энциклопедия. Т. 15. СПб.: Просвещение, 1896..., с. 405.

¹⁵ 30 января и 28 февраля; см.: ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 547, л. 1 и д. 548, л. 1.

Полковник Роланд был в походах в 1807, 1809, 1812-го и 1813 годов, и находился в трех сражениях и делах. Имеет ордена: Золотой крест Польского военного достоинства, [орден] Св. Анны 2-го класса с Императорской короной и знак отличия за беспорочную до возмущения продолженную 20-летнюю службу. Во время возмущения Роланд служил в мятежнической армии с 30 января 1830 года командиром 1-й бригады 2-й пехотной дивизии и в сем же звании в феврале произведен был в генералы бригады; в последствие же времени командиром 2-й бригады 2-й пехотной дивизии, принадлежащей к корпусу генерала Гельгуда»¹⁶.

Еще более славным послужным списком отмечена воинская карьера полковника Андрея Рутье. Как об этом свидетельствует присланный в Вологду формуляр, он «родился в Варшаве в 1777 году, в польскую службу вступил в 1794 [г.], в качестве товарища в бригаду генерала Домбровского; 24 августа того же года и в оной же бригаде произведен в прапорщики, в 1797 году определен поручиком в 1-й пехотный полк польско-итальянской легии, где произведен: в 1797 году в капитаны, а в 1807 году в майоры; переведен в 1808 в 1-й конный полк помянутой же легии, в 1811 году в чине подполковника поступил в 7-й кавалерийский полк легии Вислянской, в 1813-м назначен командиром 26 французского конно-Егерского полка, приказом [от] 1/13 февраля 1815 [г.] определен в 4-й польский Уланский полк, по служению в коем произведен в полковники приказом [от] 12/24 октября 1819 года, назначен приказом [от] 14/26 мая командиром того же 4-го уланского полка.

Полковник Рутье участвовал в походах 1794, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1812, 1813 и 1814 [годов], находился в 55 сражениях и делах, при том ранен пулею в лицо, в 1808 [г.] получил кавалерский крест почетного легиона, в 1811 году орден польского военного достоинства, [в] 1813 [г.] офицерский крест почетного легиона и в 1820 году орден Св. Анны с бриллиантами; кроме того, имеет Знак отличия за 30 летнюю беспорочную службу.

Во время возмущения полковник Рутье произведен в генералы бригады, сперва командовал 2-ю бригадою 1-й дивизии 2 кавалерийского корпуса, потом весьма короткое время исправлял должность военного губернатора [города] Варшавы»¹⁷.

Поразительно, что все эти мужественные люди — генералы и полковники — добровольно сдались на милость царского пра-

¹⁶ ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 548, л. 1.

¹⁷ ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 547, л. 1-2

вительства, а некоторые даже приехали с этой целью из заграницы¹⁸.

Нужно, впрочем, отметить, что и царь оказался к этой группе мятежников не слишком суров. Генерал Дзяконский был отпущен на родину, в Варшаву уже в мае 1833 г.¹⁹, а генерал Круковецкий — в октябре 1835 г., причем, в предписании Вологодскому гражданскому губернатору, под которым стоит подпись министра внутренних дел, говорится: «Государь Император по всеподданнейшему ходатайству г[осподина] наместника Царства Польского всемилостивейше соизволил даровать прощение и дозволение возвратиться в Царство Польское находящемуся ныне в г[ороде] Вологде генералу Круковецкому с возвращением ему имения его, состоящего в упомянутом Царстве»²⁰. О дальнейшей судьбе других упомянутых генералов и полковников сведений пока найти не удалось, но в списках ссыльных и состоящих под надзором полиции они также не обнаружены. Поэтому можно полагать, что к середине 30-х г. все они были возвращены на родину.

Гораздо более драматичной оказалась судьба следующего поколения польских ссыльных, которые и составили основной состав польской диаспоры в Вологде в середине XX в. Почти все они — в той или иной мере — оказались причастными к делу Шимона Конарского (в документах того времени он именуется Симоном Конарским или «эmissаром Конарским»²¹). В Вологду эти ссыльные начали поступать уже в 1839 г., а к середине 1840 г. их насчитывалось уже более десятка.

Подавление польского восстания 1863–1864 гг. также породило значительную группу ссыльных из этого края, однако в самой Вологде они оказывались, скорее, в порядке исключения: тех из них, кто попал в Вологодскую губернию, в подавляющем большинстве случаев рассылали по уездным городам: в близкие — Грязовец и Кадников, и в гораздо более отдаленные от губернского центра — в Устюг, Усть-Сысольск, Тотьму и ряд других. Основная же масса ссыльных этого времени оказалась дальше — в Вятской губернии, которая расположена еще восточнее, а также в местностях, находящихся за Уралом.

¹⁸ Как, например, полковник Роланд, о котором сказано, что он «возвратился в Варшаву из Гейдельберга» (ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 548, л. 1).

¹⁹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 2, л. 7.

²⁰ ГАВО, ф. 18, оп. 1, д. 546, л. 15.

²¹ См., например: ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 93, л. 44. О Ш. Конарском и его действиях по организации и функционированию тайных обществ на территории Царства Польского см.: БСЭ. Т. 12. М.: СЭ, 1973. Ст. 1803 (библ.).

В культурной и светской жизни Вологды ссыльные поляки, практически, не сыграли и не могли сыграть сколько-нибудь значительную роль по ряду вполне естественных причин.

Белась эта жизнь, преимущественно, в дворянской среде, т. е. в ней принимал участие весьма ограниченный круг людей. Как об этом пишет историк, жизнь в столицах была для большинства дворян-помещиков слишком дорога, и потому «...обыкновенно проводя лето в своих усадьбах, дворяне на зиму перебирались в город, где постепенно ими были построены для себя поместительные и в некоторой степени удобные дома... По словам одного постороннего наблюдателя (жившего в 40-х г. XX в.), — продолжает он, — обыкновение проводить зиму вместе в своем губернском городе сближало между собою всех членов Вологодского дворянства; здесь были все коротко знакомы между собою, ничья жизнь не ускользала от надзора и обсуждения целого общества» ²².

Попасть в это тесное сообщество, быть принятым в этих домах удалось только очень немногим из числа ссыльных: ведь общение с ними могло стать поводом пристального внимания полиции к тем, кто оказывал гостеприимство опальным. Да и само положение поднадзорных ссыльных, ощутимо ограниченных в переписке, передвижении, контактах с окружающими их людьми, мало способствовало удовлетворению желания активного участия в культурной жизни, буде такое желание и существовало.

И все же кое-кто пытался преодолеть этот барьер. Таких людей, судя по архивным материалам, было несколько, но в настоящем докладе будет представлена только одна история о человеке, попытавшемся преодолеть эти барьеры.

Речь идет о польском дворянине Антоне Буховицком, человеке, по всей видимости, очень импульсивном и творчески активном. В отличие от многих его собратьев по несчастью, он совершенно не принимал участие в полном смысле слова политической деятельности. Под надзор полиции Буховицкий был отдан еще в Могилеве в 1836 году, как сказано в документах, «за необдуманные речи». Однако не утомился и 1 мая 1848 года, я цитирую полицейское досье, «за неприличные выражения и дозволение себе в пьяном виде говорить нелепости вследствие событий, бывших во Франции, удален из Могилева в Вологодскую губернию и был подвергнут надзору полиции» ²³. В Вологде он, однако, не был оставлен, но пере-

²² И. А. Тюрин. Прошлое города Вологды (рукопись). ГАВО, ф. 652, оп. 1, л. 7-8.

²³ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 2221, л. 1-2

мещен в уездный город Кадников, условия жизни в котором были гораздо более скудными, а культурная среда, повидимому, в то время просто не существовала. Не будучи в силах с этим смириться и желая вырваться в среду более близкую его образу жизни и менталитету, Антон Буховицкий начинает активно заниматься творчеством, что, как он, видимо, полагал, могло помочь ему в осуществлении этого намерения.

Сохранилось особое Дело, повествующее о такой попытке. Оно открывается рапортом кадниковского городничего, отправленным 29 августа 1852 г., на имя исполняющего должность генерал-губернатора г. Вологды (тогда им был генерал-майор Иван Васильевич Романус).

«Находящийся под надзором полиции дворянин Буховицкий, — говорится в этом рапорте, — доставил ко мне при прошении на имя мое прошение на имя Вашего Превосходительства с написанной им тетрадь. Водевиль на польском языке, будто бы его сочинение, которое в подлиннике представить честь имею, с дополнением, что от принятия [сего] от Буховицкого я отказаться не мог, дабы не навлечь на себя жалобы в притеснении». На этом рапорте, по-видимому, рукой губернатора, имеется виза: «Водевиль дать прочесть переводчику и мне доложить»²⁴.

Далее следует прошение самого автора на имя губернатора (цитирую с купюрами):

«...Написал я оригинально два водевиля на польском языке, из коих один честь имею здесь препровождать и желал бы, ежели оные того заслуживают, представить их со временем на вологодском театре, или же напечатать оные.

...[прошу] повелеть мне на некоторое время прибыть в город Вологду. Ибо как перевод оных требует больших издержек, а мои доходы очень ограничены, имея только в месяц пять рублей с полтиной, вынужден я прибегнуть к единственному способу всех бедных литераторов, то есть собирать подписку у достойных пренумераторов.

Не откажите мне и позвольте пребыть несколько времени в Вологде, в городе гораздо больше населением, чем Кадников, и имеющем большее число людей образованных, умеющих оценить мои литературные труды....

²⁴ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 60, л. 1. В этом рапорте несколько иное написание фамилии — Буховецкий; однако во всех других документах принято единое написание (через «и»), которому и отдается предпочтение.

Ежели просьба моя покажется Вашему Превосходительству сомнительной по причине того, что таковые водевили не подписаны Цензурным комитетом, с которым переписка мне невозможна по причинам ...великих издержек на почтовые и весовые, то опять осмеливаюсь просить Ваше Превосходительство отослать оные в Санкт-Петербургский или в Московский Цензурный комитет...» ²⁵.

Водевиль был переведен, и подробное изложение этого перевода было представлено губернатору (оно также имеется в Деле). Назывался водевиль «Бал-маскарад», его содержание достаточно характерно для такого рода сочинений, что видно уже из начального абзаца:

«Сын Графа Дюмонда Валерий на четвертый месяц после своего брака, завел интрижку с молодою женою садовника Софиею. Муж которой, убедившись в действительности оной, несмотря на верность жены, для устранения во всяком случае могущих произойти дурных последствий, решился занести жалобу отцу молодого Графа. Это известие чрезвычайно огорчило старого Дюмонда, потому что он полагал женитьбою сына прекратить его безнравственность» ²⁶.

И далее в том же роде...

Переводчик не только добросовестно изложил содержание пьесы, но и сопроводил рукопись своеобразным отзывом политически-литературного характера: «При тщательном же рассмотрении этой пьесы, кроме [как] в напеве к золоту (т. е. в куплетах о золоте. — М. Б.), заключающем в себе критику, относящуюся ко всем явлениям, имеющим пристрастие к этому металлу, я ничего не заметил противу нравственности или воспрещенной законом во всех подобного рода сочинениях двусмысленности. В литературном же взгляде сочинение это написано слогами умеренным, средним, при том во многих местах находятся в нем ошибки как противу языка, так равно и стихотворения (т.е. — стихосложения. — М. Б.)». Пересказ содержания и рецензия подписаны переводчиком Вологодского губернского правления, коллежским регистратором Францем Лашкевичем ²⁷.

Попытка, к сожалению, окончилась, по сути, ничем, поскольку губернатор наложил резолюцию, достойную матерого бюрократа и абсолютно не соответствующую просьбам автора. Она была адресована кадниковскому городничему и гласила: «Возвращая... писанный на польском языке водевиль, предписываю Вам объявить сочинителю

²⁵ Там же, л. 2-3.

²⁶ Там же, л. 6.

²⁷ Там же, л. 8.

оного дворянину Буховицкому, что к представлению оного в Цензурный комитет, я не встречаю со своей стороны препятствий» ²⁸.

Дальнейшую судьбу Антона Буховицкого удалось проследить только отчасти. Четыре года спустя в Ведомости, составляемой Вологодским полицмейстером, о нем написано следующее: «Хотя Буховицкий постоянно до 1856 года по нетрезвому своему поведению аттестован неодобрительно, но в настоящее время, по удостоверению городничего, он ведет жизнь скромную, занимается чтением книг и ни в каких предосудительных поступках не замечается; хлопочу о возврате его на родину» ²⁹. Хлопоты эти, однако, еще долго не могли увенчаться успехом. Последнее из найденных мною упоминаний об этом человеке датируется 1860 годом, что свидетельствует, что он еще, как минимум, четыре года находился под надзором полиции на Вологодской земле ³⁰.

Как я уже говорил, поиски только начаты. Однако, во имя соблюдения регламента, я и из найденного сообщил только малую часть. Материала еще довольно много, и повествует он о показательных судьбах людей, оказавшихся на чужой земле и оставивших очень интересные для современного историка следы своего на ней пребывания.

²⁸ Там же, л. 10.

²⁹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 93, л. 42.

³⁰ ГАВО, ф. 14, оп. 1, д. 2221, л. 1.

Петр Вяземский и Франтишек Моравский. Эпизод из истории русско-польских литературных отношений

Среди специалистов, изучающих историю русско-польских литературных отношений XIX в., часто можно услышать разные, порой полярные мнения, по поводу многих деталей одной большой темы, которая имеет укороченное рабочее название «Вяземский и Польша». Тема эта огромна, она привлекала внимание не одного поколения исследователей. Но как нам представляется сегодня, пристальное изучение отдельных аспектов вышеназванной темы являет собой не мелочное детализирование, а скорей наоборот — именно уточнение и проверка многих фактов, дополнительное привлечение вновь просмотренных архивных документов позволяют расширить наше представление об указанной теме, по-новому оценить некоторые ситуации, расставить акценты в спорах о Вяземском и Польше.

В период жизни П. А. Вяземского в Варшаве неподделен его интерес к польской культуре и литературе, в частности, интерес к польской поэзии. Князь Вяземский оставил много интересных воспоминаний, заметок в Записных книжках, строк в письмах о Польше и поляках. К сожалению, переизданные не так давно «Записные книжки» (Москва, 1992 г.) сохранили комментарии прежнего издания, которое оставило много белых пятен в этой части справочного аппарата книги. Польские коллеги использовали это же издание прежних лет для выпуска в свет в 1985 г. «Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego» (Kraków), но комментаторы смогли значительно расширить и дополнить справочный аппарат.

Радует появление подобного рода переизданий, а также многих других новых работ как со стороны русских, так и польских исследователей.

Прошло определенное время, принесшее ряд изменений в нашу жизнь, которые потребовали некоторых переоценок казалось бы уже атрибутированным фактам и событиям, которые уже вписались с данной атрибуцией в хронологию и жизнеописание. Сегодня проводимый русско-польский семинар вселяет надежду, что совместные усилия русских и польских учёных позволят вести диалог в направлении соединения накопленных баз данных по интересующим проблемам ради создания единой информационной системы.

Творческие и дружеские отношения двух поэтов — Петра Вяземского и Франтишека Моравского — одна из нитей перепутанного клубка большой темы «Вяземский и Польша».

В нашей воображаемой документальной хронике жизни Петра Андреевича Вяземского несколько раз появляется Франтишек Моравский.

С чего всё начиналось? Наше внимание привлекла цитируемая бесконечное количество раз характеристика Вяземского, кочующая из одной статьи в другую современных исследователей. Эту характеристику получил князь Вяземский в момент своего избрания в члены Королевского Общества Друзей Наук в Варшаве. Вот отрывок из этой характеристики (приносим свои извинения за очередное цитирование): «...знаток польской литературы, переводил басни Красицкого и Моравского, а также прозой сонеты Мицкевича...»¹. Позволим себе на этом месте прервать цитату, поскольку для нас прозвучало самое главное: «...переводил басни... Моравского». Но что же переводил Вяземский? какую форму получили эти переводы? как выглядел подлинник и насколько он трансформировался в переводе? Ведь и этот труд Вяземского оказался учтенным при выборе в столь известное Общество.

Ряд справочников, вплоть до новейших, учитывает лишь те переводы из Ф. Моравского на русский язык, которые были сделаны в начале XX века. Но в 1 томе Остафьевского архива опубликовано письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 25 октября 1818 г. из Варшавы. Вот небольшой отрывок: «Спасибо, голубчик, за твое смертельное письмо. На этот раз моё, напротив, будет нетленное, то есть при стихах. Желаю, чтобы они вам, моим судиям, понравились: эти короткие басни Красицкого имеют много соли в подлиннике. Круговая порука — одного моего приятеля, Моравского, который перевел мою надпись к царю. И тут круговая порука. Мысль очень удачна. Этот Моравский ничего полновесного не сделал; но, как Жуковский, дал шиллеровское выражение языку польскому...»². И тут же приводит текст перевода, который позже был опубликован в «Сыне Отечества». Но увы... никто не указал подлинника. Как оказалось, впервые басня Моравского «*Osiół i ciełe*» была опубликована в одном из варшавских периодических изданий 9 мая 1818 года. Удивляет тот факт, что Вяземский прибыл в Варшаву в феврале 1818 года, се-

¹ A. Kraushar. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, 1800–1830. Ks. III, 1828–1830. Kraków; Warszawa, 1905, s. 39.

² Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 336.

туя по пути на незнание польского языка, но уже, как мы видим, в октябрьском письме предлагает перевод появившейся в печати в мае того же года басни Моравского.

Об особенностях этого перевода и его вариантах, обнаруженных нами в архивах, уже говорилось в отдельной статье³.

Мысль о круговой поруке оказалась, действительно, удачной, и нам пришлось вести поиск и в обратном направлении. То есть попытаться найти текст перевода надписи Вяземского «к царю», сделанную Моравским. Это известное четверостишие «Надпись под бюстом императора Александра I»: Муж твердый в бедствиях и скромный победитель.

Какой венец Ему? какой Ему алтарь? Вселенная! пади пред Ним, Он твой спаситель, Россия! Им гордись: — Он сын твой. Он твой царь! Это было первое стихотворение, отданное Вяземским в печать за полной подписью. А вот что мы находим в письмах Вяземского по этому поводу: «Был я в приятельских отношениях с Моравским, которого талант имел, по мне, что-то общее с талантом Жуковского. Он очень удачно перевел известную подпись мою к портрету Императора Александра...»⁴. Как звучат эти строки по-польски? В каких архивах и кому суждено обнаружить эти четыре строки перевода Моравского, с которых началась история перевода поэзии Вяземского на польский язык. Но то, что Моравский трудился над этим переводом, подтверждает обнаруженная нами в архиве Вяземского записка от Моравского на французском языке, где обсуждаются некоторые детали перевода. Этот документ также был нами опубликован⁵. Вот лишь строка из него: «Мой Князь! Только после сегодняшнего развода нашлась свободная четверть часа, чтобы поговорить о переводе Вашей милой надписи... Я старался выразить в двух полустихах то поэтическое движение, которое Вы хотели передать и которое наиболее применимо к польскому языку...»⁶.

Через два года после принятия Вяземского в Общество Друзей Наук, и за переводы Моравского в том числе, я это ещё раз подчеркиваю, человек этот становится одним из главных героев событий

³ См.: И. Л. Великодная. Вяземский и Польша (опыт исследования стихотворных переводов). Автореферат диссертации. М., 1990.

⁴ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1879, т. II. С. X.

⁵ См.: И. Л. Великодная. Проблемы взаимного перевода в истории русско-польских литературных связей (на примере творчества П. Вяземского и Ф. Моравского). *Studia Rossica II. Związki interdyscyplinarne w badaniach rusycystycznych*. Warszawa, 1994. S. 261–267.

⁶ То же.

польского восстания 1830 года. Вяземский позже напишет: «Перевод моих историко-монархических стихов не помешал, однако, Моравскому стать под знамена возмущения и вооруженною рукою действовать против законной и монархической власти»⁷.

Действительно, генерал Моравский в самый напряженный момент восстания — с 7 марта по 7 сентября 1830 г. — занимал пост военного повстанческого министра. После разгрома восстания, Моравский остался в столице, отклонив предложения о побеге, положившись на судьбу. Вскоре он был арестован и сослан в глубь России на два года. Местом ссылки опального генерала стала Вологда. По пути в Вологду Моравский задержался в Москве.

Где же в Москве остановился Моравский? Знал ли об этом Вяземский? С кем смог повидаться в Москве польский генерал, и имел ли он эту возможность? Из Москвы 17 октября 1831 года Моравский отправил письмо своему приятелю генералу В. Красиньскому с просьбой позаботиться о семье, детях. Эти вопросы долгое время оставались без ответов. Интуиция, без которой невозможно никакое литературоведение, подсказывала, что здесь-то и была возможной встреча двух приятелей. Вяземский не мог поступить иначе.

Позволю себе сделать отступление от темы, чтобы поблагодарить коллег Ягеллонского Университета, в стенах которого зародилась идея создания фонда «Janineum». Этот фонд успешно помогает своим коллегам из России, Украины, Казахстана, Белоруссии преодолевать те трудности, которые сегодня всем известны и которые сегодня реальны в области развития науки и культуры. Благодаря деятельности этого фонда я, как и многие другие специалисты разных областей изучения гуманитарных и естественных наук, получила возможность провести месяц плодотворных занятий в стенах Библиотеки Ягеллонского университета. В отделе рукописей этой Библиотеки хранится достаточно обширный архив Франтишека Моравского.

Среди писем Моравского удалось обнаружить много интересных документов, в том числе и имеющих отношение к Вяземскому. Но дороже всего пара строк, написанная старческой рукой Франтишека Моравского своему сыну в письме от 8 декабря 1854 года из местечка Czerwona Wieś в один из западноевропейских курортных городов: «...Jeżeli tam jeszcze jest Xże Wiaziemski, uściskaj go serdecznie ode mnie, bo to taka dawna i dobra znajomość. W najpiękniejszych czasach towarzystwa Warszawskiego żyliśmy nieże. Prawda że na jego prośbę cztery jego wiersza przełożył. Powiedz mu że mu bardzo wdzięczny za

⁷ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1879, т. II, с. 12.

to iż kiedy mię przez Moskwę do Wologdy wiadziono, nie mogąc mię widzieć, przynajmiliej pozdrowić mię kazał...»⁸. Так было обнаружено ещё одно подтверждение тому, что творческий союз двух поэтов начался именно с того четверостишия, о котором мы уже упоминали выше. Эти строки убедили нас и в том, что почти полностью предполагаемые нами ситуации все-таки имели место быть.

Именно в этот период Вяземский после долгой опалы только начал служить в Департаменте внешней торговли, именно в период августа-декабря 1831 года он был командирован в Москву в качестве члена Общего присутствия Департамента внешней торговли. В биографии Вяземского много случайностей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются далеко не случайностями.

К сожалению, остается за рамками этой статьи описание жизни Франтишека Моравского в ссылке в Вологде. Это — особая тема, частично уже затронутая нами в других публикациях⁹.

Но отношения Вяземского и Моравского не закончились на этом этапе. В записных книжках Вяземского под датой 1 января 1855 года есть запись: «Были у Прусского Принца. Вечером был я у Моравского. Читал он мне письмо отца к нему обо мне»¹⁰. Где-то за границей, скорее всего в Карлсбаде, куда в последние годы часто наведывался Вяземский и куда ездил сын Моравского лечить жену, произошла встреча русского поэта и сына опального варшавского генерала. Может, речь идет и о том письме, которое мы цитировали выше.

А в 1859 году состоялась встреча Ф. Моравского с П. А. Вяземским в Карлсбаде. Была ли она очередной или первой после долгой разлуки? Скорее всего последнее, судя по интонации записи: «Августа 6. Нашел я здесь Варшавского приятеля генерала и поэта Моравского. Не узнал бы его, так он постарел; впрочем ему 77 лет. И он меня не узнал»¹¹. Грустные строки. Моравский, вероятно, эту же встречу имеет в виду, когда пишет сыну 8 августа 1858 г.: *Jest tu X. Wiazemski z*

⁸ Архив Ф. Моравского. Отдел рукописей Библиотеки Ягеллонского Университета. № 79, л. 176–177.

«Если князь Вяземский ещё там, обними его сердечно от меня, поскольку это очень давнее и доброе знакомство. В наилучший период варшавской жизни нам было не так уж плохо. Правда, по его просьбе перевел его четыре строки. Передай ему, что я очень ему признателен за то, что когда меня через Москву везли в Вологду, не мог он меня увидеть, но по крайней мере, передал он мне привет...».

⁹ См. выше указанные публикации.

¹⁰ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1886, т. X, с. 142.

¹¹ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1886, т. X, с. 235.

zona. Bardzo ci kłania.» В письмах из Карлсбада за этот год много раз встречается имя Вяземского. Вот строки из письма от 12 августа того же года: «...Xięstwo Wiazemskich. On ci kazał bardzo kłaniać.» Здесь имя Вяземского упоминается среди других польских имен знакомцев Моравского по Варшаве — Август Замойский, Адам Шлатер, кн. Вильгельм (?) Радзивилл.

Значит, круг замкнулся, и в конце жизни Вяземский смог вспомнить о Варшаве вместе с друзьями и знакомцами, некоторые помнили его по варшавской жизни в их общей молодости. Через два года Франтишек Моравский умер.

Пока остается еще многое, о чем стоит задумываться и искать подтверждений, чтобы расставить на свои места все в этом сюжете об отношениях двух поэтов — русского и поляка, который лег в основу нашего небольшого сообщения. Вяземский познакомил Моравского с творчеством Жуковского, Моравский же открыл для Вяземского поэзию Байрона: «Он влюбил меня в Байрона и читал мне его»¹².

Вяземский перевел «Португальскую песню. Из Байрона». К этому же периоду относится и перевод Моравского «Do Kochanki (z portugalskiego)». Было ли это случайным совпадением или дружеским литературным состязанием, или общая работа поэтов-переводчиков? В Остафьевском архиве Вяземских хранятся автографы поздних стихотворений Моравского. Как они попали сюда? Кто передал их? или между поэтами на закате их жизни возникла переписка? Но это уже особая тема.

Вяземский написал замечательные строки, которые могли бы стать эпиграфом к нашим размышлениям и всему процессу поиска подтверждающих фактов и событий: «Всякое настоящее было когда-то будущим, и это будущее обратится в прошлое. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении, но тут нет еще доказательства, что оно устарело, оно только вышло из употребления. Это так, но запрос на него может возродиться... одно здесь условие: старое должно иметь свою внутреннюю и весовую, или художественную ценность». Творческие и дружеские отношения всегда ценны, а поэтому достойны детального и внимательного изучения.

¹² Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 336.

Польша и поляки в русской литературе 1860-х годов

(роман Николая Лескова «Некуда»)

Судьбы Польши, поляков, славянства как такового находились в центре внимания российской государственной политики, а также журнальной и газетной публицистики и беллетристики шестидесятых годов прошлого столетия. Как и за тридцать лет до событий 1863 года, в пору первого восстания проблема Польши стала одной из ключевых не только для многих известных общественных деятелей и литераторов, но и для государственного самоопределения России.

Из обширного спектра проблем, связанных с обозначенной тематикой¹, мы в настоящей работе займемся (тезисно, в предварительном плане) только одной — весьма частной. Речь идет о выработке стереотипных представлений о поляках («врагах», «друзьях», «героях» и т. д.) в массовом сознании и о фиксации этих стереотипов в литературе середины девятнадцатого века.

1863 год — переломный момент в развитии польской темы в литературе. Еще в 1860 году появление в отдельном издании романа «Рудин» новой концовки (главный герой, принимаемый окружающими за «Polonais», погибает на парижских баррикадах) означало возвышение Рудина, некую компенсацию его фатальной неспособности к решительным действиям. Однако уже несколько лет спустя в романах (в особенности «антинигилистических») обычным становится присутствие поляка-крамольника, злоумышляющего на общественные и государственные устои: «Марево» В. П. Ключникова (1964), «Панургово стадо» Вс. В. Крестовского (1869–70) и мн. др.

Опубликованный в 1864 году в «Библиотеке для чтения» роман Н. С. Лескова «Некуда» критики (а позднее и историки литературы) также традиционно числили по ведомству антинигилистической беллетристики. Такому мнению благоприятствовала тогдашняя репутация Лескова, инициированная главным образом скандально известной статьей в «Северной пчеле» (30 мая 1862, № 143) о потрясших спокойствие жителей Петербурга катастрофических пожарах. Журналист-бытописатель, поместивший в офици-

¹ Данная проблематика рассматривается во многих сравнительно давних и частных работах (см.: Н. М. Гутъяр. Тургенев и польский вопрос // Н. М. Гутъяр. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, с. 270–284), а также в работах сравнительно новых и обобщающих (напр.: *Polacy w życiu kulturalnym Rosji* / Red. R. Luźny. Wrocław, 1986).

озной газете информацию об известных всем слухах о поджигателях-инородцах и призвавший либо прямо назвать виновных, либо пресечь провокационные измышления, — был немедленно обвинен «прогрессивными» литераторами в доносительстве и подвергнут чуть ли не публичному ostracism (выступления Писарева и т. д.).

Именно эти события стали причиной отъезда Лескова за границу осенью 1862 года. Писатель проследовал в Париж через польские губернии, где через считанные месяцы вспыхнуло восстание. Впрочем, Лесков с юных лет не понаслышке знал о жизни и быте жителей Малороссии и Польши — впечатления от поездки лишь дополнили достаточно обширный запас подобного рода сведений. Столь же непосредственно, «из первых рук» был он осведомлен и о многих обстоятельствах и перипетиях либерального и радикально-революционного движения, вскоре описанных в романе «Некуда»².

Заметим, что в начале 1860-х гг. взаимоотношения между реальными событиями общественной жизни и романскими коллизиями стали весьма нетрадиционными. Актуальные тенденции и происшествия не только и не просто *обсуждались* на страницах литературных произведений о «новых людях»³, но зачастую ими напрямую инициировались. Читатели и критики говорили и писали о сильнейшем воздействии литературы на жизнь. Так, Тургенева прямо обвиняли в «причастности» к уже упоминавшимся майским пожарам 1862 года, вспыхнувшим буквально через несколько недель после окончания публикации в катковском «Русском вестнике» нового романа «Отцы и дети» («Ваши нигилисты жгут Петербург!..»). Да и сам Катков, разбирая роман, отметил прежде всего его абсолютную слиянность с жизнью, не столько отраженной и описанной, сколько предсказанной⁴. Немало также говорилось о прямом воздействии на реальное «культурное поведение» нарождавшейся генерации шестидесятников романа Н. Г. Чернышевского: организация производственных мастерских и артелей, основанные на «разумном эгоизме» брачные союзы и т. д.⁵

² См. новейшую работу: В. Эджертон. Лесков, Артур Бенни и подпольное движение начала 1860-х годов (о реальной основе «Некуда» и «Загадочного человека») // Лит. наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 1, М., 1997, с. 614–637.

³ Ср. подзаголовок романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: «Из рассказов о новых людях».

⁴ Ср.: «Г. Тургенев <...> в прежних романах <...> изображал более или менее прожитые фазы; но в последнем романе он поймал героя прямо на деле» (Рус. вестник, 1862, т. 39, № 5, с. 394).

⁵ См.: И. М. Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996.

Антинигилистический роман 1860-х годов по существу своему являлся зеркальным идеологическим антитезисом роману о новых людях. Прямое (минуя собственнo эстетические законы) воздействие на жизнь входило в программу-максимум обоих противоположных, но глубоко родственных друг другу ответвлений прозы шестидесятых годов. Чернышевский призывал своего «проницательного читателя» пристальнее всмотреться в парадоксальную этику личных взаимоотношений и социального поведения новых людей, Писемский во «Взбаламученном море» столь же категорично стремился содействовать общественному неприятию нигилизма и нигилистов.

Бескомпромиссное противостояние двух противоположных интенций, разумеется, вело к безысходной полемике глухонемых, ни одна из сторон не могла рассчитывать на «победу». Подобного рода «полемика средствами беллетристики» ничем не отличалась от непримиримых споров между лидерами подцензурной и бесцензурной русской публицистики шестидесятых годов, в том числе и по поводу отношения к польскому восстанию. Действия поляков оценивались настолько противоречиво, что и речи не могло быть о каком бы то ни было согласованном мнении, авторитетном для всех спорящих.

Так, М. Н. Катков (автор жесткой формулы «русский нигилизм есть не более чем порождение полонизма»⁶) без устали напоминал о том, что «польские агитаторы образовали у нас домашних революционеров, и презирая их в душе, умеют ими пользоваться; а эти пророки и герои Русской земли <...> сами не подозревают, чьих рук они создание»⁷.

Известно, что даже И. С. Аксаков (в отличие от всегдашнего катковского оппонента Герцена, выступавший в подцензурной печати) зачастую высказывал прямо противоположные оценки: «Посмотрим теперь, как противостоим Европе мы сами <...> Стоим ли мы, как один человек? <...> Свободны ли от рабской трусости перед европейскими толками? <...> Одушевлены ли наконец, хоть вполнину, тем чувством любви к своей земле, которым отличаются Поляки? <...> С краской стыда <...> мы находим только один возможный ответ — отрицательный»⁸.

⁶ См.: С. Неведенский. М. Н. Катков и его время. СПб., 1888, с. 501.

⁷ М. Н. Катков. Польский вопрос // М. Н. Катков. 1863 год: Собрание статей по польскому вопросу, помещенных в Московских ведомостях, Русском Вестнике и Современной Летописи. Вып. 1. М., 1887, с. 26. (Впервые опубликовано в Русском вестнике, 1863, № 1).

⁸ И. С. Аксаков. Соч., т. 3. СПб., 1886, с. 50–51.

Вернемся к *литературе* середины 60-х гг. Важно подчеркнуть, что в ней существовали два противоположных по смыслу альтернативных подхода к собственно художественному, нетенденциозному истолкованию современных общественных проблем. Первый подход представлен Л. Н. Толстым, обдумывавшим на рубеже 50-х и 60-х гг. Большой роман о событиях относительно недавних (возвращение из ссылки декабристов после воцарения Александра II). Как известно, по мере развития замысла Толстой все далее и далее уходил от современности, в разговоре о которой почти невозможно было избежать прямой оценочности. Генезис «Войны и мира» предопределен стремлением её автора вскрыть объективные и масштабные причинно-следственные механизмы, *извне* (т. е. из прошлого, не подлежащего прямолинейным публицистическим оценкам) «управляющие» современными событиями.

Сам Толстой писал об этом своем отдалении от чреватой прямой тенденциозностью литературной современности весьма недвусмысленно: «Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно»⁹.

Иной вариант разговора о злободневных проблемах на страницах литературы представлен Н. С. Лесковым, роман которого, безусловно, занимает в первой «обойме» антинигилистических романов особое место. В нем нет ни малейшего стремления углубиться, подобно Толстому, в предысторию актуальных общественных проблем — это очевидно. Однако дальше начинаются сомнения и загадки. Какая творческая и идеологическая установка предопределила замысел лесковского романа? Возможных ответов два.

Первый: роман явился прямым продолжением и развитием охранительных взглядов, высказанных в статье о петербургских пожарах. Так думали весьма многие критики и читатели, увидевшие в книге схематизм композиционного построения, однозначность характеристик героев и т. п.

Второй: роман «Некуда» главным образом демонстрирует отход Лескова от полемической публицистичности, свидетельствует о глубоком потрясении, которое испытал писатель после единогласного осуждения приснопамятной газетной статьи.

О несоответствии авторского замысла «Некуда» расхожим критическим оценкам романа Лесков размышлял и писал на протяже-

⁹ Л. Н. Толстой. Наброски предисловия к «Войне и миру» // Полн. собр. соч., т. 13, М., 1949, с. 54.

нии десятилетий. «В романе “Некуда” критики желают видеть тенденциозность <...> Этот роман представляет многие реальные события, имевшие место в некоторых московских и петербургских кружках. Я терпел самые тяжелые укоризны именно за то, что описал то, что было, и потом это же самое вменяют мне в “тенденциозность” <...>. Тенденция от французского *tendence* или от латинского *tendere* значит тянуть, стремиться, иметь склонность, направление. К чему же я тянул в “Некуда”? Об этом пора сказать <...> Я ни к чему не тянул. Я только или описывал виданное и слышанное, или развивал характеры, взятые из действительности. Я даже действовал вопреки той тенденции, которую мне приписывают»¹⁰.

В известном письме к И. С. Аксакову от 9 декабря 1881 г. Лесков поясняет свою позицию еще более отчетливо: «“Некуда” частью есть исторический памфлет. Это его недостаток, но и его достоинство, — как о нем негде (т. е. *где-то*. — Д. Б.) писано: «Он сохранил на память потомству истинные картины нелепейшего движения, которые непременно бы ускользнули от историка, и историк непременно обратится к этому роману». Так писал Щебальский в Р<усском> в<естнике>, и Страхов в том же роде. В «Некуда» есть пророчества — все целиком исполнившиеся. Какого еще оправдания? Вина моя вся в том, что описал слишком близко действительность да вывел на сцену Сальясихин кружок¹¹ “углекислых фей”»¹².

Итак, главное для Лескова середины 1860-х годов — не давать прямых оценок происходящему, быть летописцем современных событий, дабы сохранить «для историка» важнейшие детали прошлого. Разумеется, в семидесятые годы, в особенности после опубликования «Соборян» авторская установка на хроникальность (в «цикле о праведниках» — на своеобразную «житийность») становится гораздо более очевидной¹³.

Итак, если Толстой, стремясь избежать господствующей в литературе середины 1860-х годов прямой тенденциозности, предпочитал удалиться от злободневной современности в прошлое, то Лесков с той же целью настолько «приближался» к актуальной повседневно-

¹⁰ Шестидесятые годы. М.; Л., 1940, с. 344–345.

¹¹ Имеется в виду московский кружок, графини Е. А. Салиас де Турнемир, писавшей прозу под псевдонимом Евгения Тур и издававшей журнал «Русская речь».

¹² Н. С. Лесков. Собр. соч.: В 11-ти тт. М., 1958. Т. 11. С. 256.

¹³ Ср.: «Г. Лесков не был ни либерал, ни радикал, ни консерватор, ни обскурант <...> В произведениях своих он не обнаруживал ни сочувствия, ни отрицания по тем рубрикам, которые тогда были приняты» (Арс. Введенский. Современные литературные деятели. П. Николай Семенович Лесков // Ист. вестник, 1890, т. 40. № 5, с. 399).

сти, что временами пропадала всякая дистанция, какая бы то ни было возможность отстраненной оценки. Такое изображение современности в масштабе «один к одному» неоднократно (и справедливо!) толковалось как сближение Лескова с установками массовой беллетристики¹⁴. Однако в подобном авторском приеме, очевидно, присутствовал еще и иной смысл.

Невозможно механически переносить на страницы художественной прозы перипетии безысходной политической полемики. Сохранить событие для будущего историка — означает изобразить его со всею возможной тщательностью, соблюдая при этом авторский нейтралитет. Именно так — *sine ira et studio* — подходит Лесков к польской тематике в главах «Свои люди», «В Беловеже». Отсутствие нередких в прозе того времени ксенофобских искажений польских имен, польской речи, отсутствие оценочной иерархии — все это присутствует в изображении как польских тайных кружков в столице империи, так и в сценах, прямо рисующих польское восстание.

Особое значение в обозначенном контексте обретает фигура Юстина Помады — вечного идеалиста и бессребреника, вечно сомневающегося в себе и собственной деятельности. Помада — не случайно был одним из любимых персонажей Аполлона Григорьева, для которого «теоретизм», «тенденциозность» — наихудшие характеристики художественной прозы. Сомнения, неудачливость, неуверенность в своих силах и правильности избранного пути свойственны не только Помаде, но и Лизе Бахаревой, Розанову и другим героям, противостоящим «новым людям» *par excellence* (Белоярцеву, Бертольди и пр.), для которых плоская однозначность мнений, тенденциозная ясность целей являются доминирующими.

Лесков не столько разоблачает нигилистов и нигилизм, сколько показывает их саморазоблачительную безысходность. Основная смысловая оппозиция романа находится вне механического противопоставления тенденциозного культа новых людей (Чернышевский) — и столь же тенденциозного их развенчания (Писемский). Лесков противопоставляет любого рода позитивистски упрощенный подход к жизни — подходу метафизически усложненному, предполагающему присутствие в повседневности извечной неясности и тайны.

Данная оппозиция описывает и оба смысловых обертона, сопричастных в самом заглавии лесковского романа. На поверх-

¹⁴ См., напр.: Е. Пульхритудова. Творчество Н. С. Лескова и русская массовая беллетристика // В мире Лескова. М., 1983, с. 158–163.

ности находится «антинигилистический» вариант истолкования заглавия «Некуда» — дальше, дескать некуда, докатились, пора пресечь крамолу и т.д. Именно так дело обстояло с точки зрения большинства читателей Лескова в шестидесятые годы.

Однако слово «некуда» имеет и иной, условно говоря, экзистенциальный смысл, предполагающий не узколобую уверенность в универсальности прогрессистских рецептов поведения, но, наоборот, безысходное сомнение в наличии каких бы то ни было рецептов подобного рода. «Семья не поняла её (Лизы Бахаревой. — Д. Б.) чистых порывов; люди их перетолковывали, друзья старались их усыпить; мать кошек чесала; отец младенчествовал. Всё обрывалось. *Некуда* было деться (курсив Лескова. — Д. Б.)»¹⁵.

«Некуда податься, некуда пойти» — это почти буквальное предвосхищение слов Мармеладова, ставших знаменитыми всего два года спустя после выхода в свет романа «Некуда», далеко не столь однозначно «антинигилистического», как это представлялось в течение довольно значительного времени.

Польская тема, герои-поляки несомненно изображены Лесковым в рамках серьезного анализа феноменов национального патриотизма, империи, свободы, помимо каких бы то ни было приговоров и разоблачений. В этом состоит одно из свидетельств, говорящих об уникальном своеобразии творческих принципов Лескова шестидесятых годов. Автор совершенно нетрадиционно подходит к решению проблемы соотношения литературы и жизни, занимавшей многих его современников: от Чернышевского до Достоевского, от Тургенева до Толстого. Не пытаться «на территории литературы» разрешить ключевые проблемы общественной жизни, но попросту объективно их *описать*, сделать достоянием будущего историка — вот основная эстетическая задача Лескова, с переменным успехом балансирующего в это время на зыбкой грани между чисто беллетристической изобразительностью и «антинигилистической» тенденциозностью.

¹⁵ Н. С. Лесков. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1956, т. 2, с. 172.

Ср.: <Вязмитинов:>

«— Вот моя жена была со всех сторон окружена самыми эмансипированными подругами, а не забывала же своего долга и не увлекалась.

— Почему вы это знаете? — спросила Евгения Петровна с тонкой улыбкой.

— А что? — подозлил Розанов.

— Ну, по крайней мере ты же не моталась, не рвалась никуда.

— Потому что *некуда* (курсив мой. — Д. Б.), — опять полусхула ответила Евгения Петровна.» (Там же, с. 700).

HAIII
BEK XX

Законодательные органы (Дума и Государственный Совет) как платформа российско-польского политического примирения

В новых условиях, возникших в Российской Империи после подавления революционных выступлений 1905 года и начала структурных реформ политического устройства и государственной машины, польский вопрос, давно, казалось бы, разрешенный и явно политически погребенный, ожил с новой силой и в новых формах. Это было связано как с демократизацией политической жизни во всей стране, так и с очевидным банкротством прежнего, недостаточно, впрочем, действенного курса отношения к полякам, намеченного еще Владимиром Черкасским, Николаем Милютиным и Михаилом Муравьевым после 1863 года¹.

Трудности в определении и осуществлении новой политики проистекали из особого, как бы двойственного в историческом и территориальном отношении, характера польского вопроса. С точки зрения правящей элиты Королевства Польского и Отнятых Земель (согласно официальной номенклатуре — «западных губерний»), территории, отошедшие к России, составляли неделимое целое, но при этом поляки ожидали в первую очередь пересмотра основ управления надвислинскими землями. В восприятии Петербурга дело обстояло совершенно по-другому. Королевство Польское было для российских политиков чем-то вроде придатка к западным землям, территорией, сулящей в исторической перспективе больше проблем, чем пользы, территорией, которая воспринималась как необходимый авангард безраздельного и не подлежащего никакому обсуждению владычества в Вильно и Киеве. Из этого следует — чего обычно не понимают польские историки, — что проводившаяся там политика чаще была не самостоятельным построением, но лишь функцией ситуации на забужанских землях. Дополнительная сложность в решении польского вопроса² определялась следующим фактом: демографическая и национальная ситуация в западных губерниях и в особенности преобла-

¹ Черкасский и Милютин стали во время январского восстания членами Учредительного Комитета Королевства Польского, а Муравьев (которого поляки называли «Вешателем») — виленским генерал-губернатором. Все трое были сторонниками крайней русификации, которая кроме того была насквозь проникнута общественной демагогией.

² Здесь автор употребляет русское словосочетание (*прим. перев.*)

дание польского элемента в культурной и общественной сферах была причиной того, что любые мероприятия, имеющие целью придать этой территории более российский характер, приобретали социальную окраску, с трудом одобряемую в соответствии с общегосударственными интересами и политической философией царизма как такового³.

События 1905 года сделали возможным пересмотр политики в польском вопросе. Опубликование Николаем II Манифеста 17 октября с сопутствующими ему документами, ускоряя прекращение революционной анархии, охватившей всю страну, одновременно заложило основы упорядочивания ситуации и строительства современной политической сцены. Отметим, что признанные монархом правила игры, абсолютно новые в российской общественной жизни, не были до конца уточнены, что в будущем стало причиной серьезных конфликтов, связанных с государственным строем. Все же России — и, стало быть, польским землям — были дарованы демократические свободы и парламент с большими (вопреки распространенному в историографии взгляду) полномочиями⁴. Поэтому центр тяжести политики, особенно внутренней, перенесся из полновластных до тех пор петербургских канцелярий в Таврический дворец, где заседала Дума, и — в меньшей степени — в Мариинский дворец, резиденцию верхней палаты, то есть Государственного Совета. Проблема представительства окраин (*kresy* w), заселенных «инородцами», стала предметом дискуссии; в итоге вопрос был решен не без стараний самих поляков (особенно консерваторов Е. Добецкого и графа Владислава Велопольского, которым удалось попасть на заседание комиссии Государственного Совета, определявшей положение о выборах), и с их точки зрения позитивно: Королевство получило 36 мандатов вместо изначально предусмотренных 24⁵.

³ Перед I мировой войной польское население западных земель составляло около 2,5 миллионов человек (все данные, учитывая характер имеющихся статистических материалов, следует считать предварительными). По мнению Ксаверия Глинки, не согласиться с которым невозможно, даже на наиболее деполонизированной Киевщине русские — за исключением малочисленной группы интеллигенции, в основном управленческой — не смогли «глубже пустить корни», оставшись «элементом пришлым, чуждым, узурпаторским» (*K. Glinka. W cieniu Złotej Bramy. Pamiętnik Kijowski*, t. 1, Londyn, 1959, s. 212).

⁴ Прерогативы Думы и Государственного Совета надо сравнивать не с британской или французской моделью, созданной на другом, эволюционном пути, а с прусской или австрийской!

⁵ См.: *E. Piltz. O naszym stronnictwie*. Warszawa, 1910, s. 25; *R. Dmowski. Polityka polska i odbudowanie państwa. Cz. I: Przed wojną. Wojna do r. 1917 // Tegoż. Pisma*. T. V. Częstochowa, 1937, s. 85–86; *E. Woyńtowicz. Wspomnienia 1874–1922*. Cz. I. Wilno, 1928, s. 121.

После революции 1905 года в России сформировалось три основных политических лагеря: либеральный — вокруг партии народной свободы (кадеты), центристский — вокруг Союза 17 октября — и поначалу наиболее слабый с точки зрения формальной организации правый, националистический. Такая расстановка политических сил имела в высшей степени практические результаты: ввиду незначительного представительства левых в парламенте их функцию в Думе *polens volens* должна была взять на себя партия конституционных демократов. Решающую роль в этой расстановке сил, а также благодаря прерогативам, которые сохранял за собой монарх, играла действующая от его имени бюрократическая олигархия. Это была группа, руководствовавшаяся отнюдь не однозначными политическими интересами и концепциями, что обнаружилось в том числе и в понимании проблем национальной политики⁶. Вообще говоря, среди руководителей самых важных партий трудно было найти, особенно в первые годы функционирования новой системы, кого-нибудь, кто понимал бы необходимость срочного, стратегического пересмотра проводившейся до тех пор политики в польском вопросе. Такого рода переоценка требовала бы более глубокого, а не оперативного анализа, из которого должно было бы вытекать следующее: прежний курс в отношении поляков ставил нешуточную преграду для российской дипломатии и интересов Империи, особенно в свете ее новых союзов с Францией и Великобританией, вдобавок лишая Петербург польской карты как орудия в интригах с Рейхом и Австро-Венгрией. Необходимость изменения политики в польском вопросе — хотя и исходили они из других, освободительных предпосылок — видели, правда, некоторые деятели левого — в широком понимании — лагеря (меньшевики и прежде всего эсеры, ни в коем случае не большевики!), но они не оказывали никакого влияния на решения, принимаемые в государственном масштабе, разве что небольшое — на формирование общественного мнения.

Начать с нуля политику в польском вопросе стало возможным еще и потому, что 1905 год повлек за собой основательную перегруппировку политических сил, в том числе в Королевстве Польском и на Отнятых Землях. После эфемерного успеха революционных партий и их неизбежной (как и в России) маргинализации властителем дум над Вислой стала первая современная польская

⁶ Вопреки укоренившимся представлениям нельзя говорить о существовании так называемой придворной клики как формальной и значительной политической силы.

политическая партия — Национал-демократическая партия. За Бугом ведущие позиции заняла Партия Крайова, являющаяся ответвлением варшавской партии Реальной Политики.

У лидера национал-демократической партии и всего стоящего за ней национального лагеря Романа Дмовского, несомненно, самого выдающегося польского политика той поры, была новая программа отношений с Россией, родившаяся из трезвого, проведенного в соответствии с основами *realpolitik* анализа исторического опыта и отказа от пагубных для обеих сторон сантиментов. Не принимая революцию по сути своей («политический сифилис, которым москали заражали нас на протяжении сорока лет»⁷), он в то же время видел тот единственный шанс, который, с точки зрения поляков, давала ослабевающая российская государственность. Свои взгляды Дмовский изложил в чрезвычайно откровенной беседе с Сергеем Витте, которая состоялась в конце 1905 года, т. е. еще до созыва I Думы. Он убеждал премьер-министра, являвшегося, пожалуй, одним из немногих представителей высшей бюрократии, кто был готов рассмотреть и понять нужды поляков, в необходимости нового взгляда на польский вопрос: «Поляков, — утверждал Дмовский, — нельзя ставить наравне с другими «инородцами» в российском государстве, в отношении которых максимумом уступок считается терпимость к их религии и признание «местного наречия» во второстепенных сферах общественной жизни... У Польши должен быть политический строй, созданный самим обществом, все его нужды должны быть удовлетворяемы на родном языке... ею должны править люди, взращенные этим обществом, понимающие его уклад, потребности и заботящиеся о его будущем. *Никому ненужным уродством* (курсив мой. — П. В.) является то, что такой народ вынужден давать образование молодому поколению в чужих школах, общаться с местными властями на чужом языке, искать справедливости у судей, которые не понимают его речи и которым чужды его правовые понятия»⁸.

⁷ Тема взаимных влияний польских и российских радикальных анархо-революционных кругов требует, вне всякого сомнения, новых исследований; процитированная точка зрения Дмовского, конечно же, грешит односторонностью, хотя и не лишена рационального зерна.

⁸ Наиболее полное изложение этой беседы Дмовский поместил в «Газете Польской» в 1907 г. (переиздано в: М. Kutakowski, [J. Zieliński]. Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień. T. I. Londyn, 1968, s. 324–330). Заслуживает внимания ответная реплика Витте, который предостерег собеседника от излишнего расчета на благосклонность российского общественного мнения: «Уже два раза в вашей истории, в 1830 и [18]63 году, оно обернулось против вас. И сейчас отвернется».

Итак, программа Дмовского была наступательной. Используя переходный период, «когда вражеские силы в государстве еще не организовались должным образом»⁹, он хотел учредить основы политического *modus vivendi* на новых условиях, выгодных для обеих сторон. Лидер национал-демократии справедливо полагал, что единственный партнер в таком учреждении — правительство. Политическая тактика Дмовского, вопреки распространенному в историографии взгляду, была при этом далека от примиренчества в отношении аппарата власти и вообще — России как таковой. Программу союза с ней Дмовский определял в своей самой важной теоретической работе того периода «Германия, Россия и польский вопрос», являвшейся своего рода объяснением войны Рейху, что следовало из сравнения результатов, достигнутых Берлином и Петербургом в польской политике. Руководствуясь принципом меньшего зла, или, точнее, выбора в качестве будущего партнера более слабого и менее опасного противника, Дмовский выбирал Россию, стоящую на более низком уровне культуры и цивилизации и к тому же ослабленную военными поражениями и революцией¹⁰. Констатации эти вытекали отнюдь не из русофильства, приписываемого ему противниками; напротив, анализируя взгляды и высказывания Дмовского, следовало бы видеть в нем скорее русофоба¹¹.

Иначе воспринимали Россию как партнера воспитанные в традиции лояльного соглашения реалисты. После опубликования правовых актов, дающих полякам на окраинах возможность начать в меру свободную общественную и политическую деятельность, они ориентировались прежде всего на защиту обретенных (и, надо признать, совсем не незначительных в сравнении с периодом после восстания) прав¹². Представители Партии Крайовой при этом подозре-

⁹ Upadek myśli konserwatywnej w Polsce // R. Dmowski. Pisma. T. IV. Częstochowa, 1938, s. 111.

¹⁰ «Германия, Россия и польский вопрос». Следует отметить, что хотя эта книга и дождалась русского перевода (Германия, Россия и польский вопрос. СПб., 1909) и была замечена в политических кругах, но не вызвала широкого обсуждения, за исключением обзорной статьи на страницах «Русского богатства» (В. Мякотин. Теоретик польской национал-демократии // Русское богатство, 1909, № 6, ч. 2, с. 91–127).

¹¹ В письме к И. Падеревскому от 2 сентября 1917 г., вспоминая петербургский период своей жизни, Дмовский с негодованием говорит о «братании с быдлом, к которому большего, чем я, отвращения никто не испытывал» (М. Kułakowski. Op. cit., t. II, Londyn, 1972, s. 82).

¹² Кроме политических свобод, легализовавших создание общественных организаций, кардинальное значение имел указ о религиозной терпимости, так как он позволял решить трагическую проблему униатского населения, прежде против воли обрабатываемого полицейскими и административными методами в православие.

вали — и не совсем безосновательно — своих коллег в Королевстве Польском в том, что при благоприятствующих обстоятельствах они будут готовы пожертвовать интересами Отнятых Земель в пользу выгодного для Королевства компромисса¹³. Эти различия в тактике должны были сказаться на сплоченности, последовательности и возможностях польских представителей в обеих палатах парламента¹⁴.

Поскольку в I Думу кроме 36 представителей «надвислинских губерний» вошло еще 18 польских депутатов из западных земель и 3 из выбранных в остальных округах, то в сумме это дало более 10% мандатов (всего — около 480). Однако этот потенциал не был должным образом использован. Из политической топографии Думы следовало, что голоса поляков, хотя и не малочисленные, не представляли собой самостоятельной силы. Также весьма существенными были внутренние разногласия, так как некоторые, ставя государственные интересы выше национальных, тяготели к партии конституционных демократов. Именно с этой партией, составляющей большинство в Думе, столкнулось ядро польского представительства, сгруппированного вокруг лидеров национал-демократии. Российские либералы, узурпировавшие право репрезентации национальных меньшинств, отрицая исключительный характер польского вопроса и стараясь привести его к общему знаменателю национальной политики, относились к полякам безапелляционно и патерналистски. К тому же они ожидали от Дмовского и его политических соратников заискивания и абсолютной покорности и кроме того вмешивались во внутренние проблемы Королевства Польского. Камнем преткновения стало отсутствие слов о его автономии в императорском титуле. Дмовский, правда, прекрасно отдавал себе отчет в утопичности этого требования, которое должно было быть воспринято в Петербурге, а также в бюрократической среде, как «начало распада империи»¹⁵, но был обязан — хотя бы в сфере требований — подчиняться настроям своих избирателей, ожидавших на гребне патриотической эйфории легких и зрелищно-показных успехов.

¹³ Это нашло особенно яркое отражение в стенограммах Польского кола, сложившегося во II Государственной Думе с преобладанием реалистов (См.: Государственный Архив Российской Федерации, Москва, ф. 5122, оп. 1, д. 24).

¹⁴ Сам Дмовский впоследствии считал, что «в результате своей раздвоенности» польская политика на форуме петербургского парламента «была обречена на абсолютную тщетность» (Upadek myśli konserwatywnej..., s. 111).

¹⁵ Ср. показательное мнение люблинского губернатора Евгения Менкина (Всподданнейший отчет люблинского губернатора за 1905 год. Центральный Государственный Исторический Архив, Ленинград, ф. 1263, оп. 4, д. 49, к. 31).

Значительно более широкие возможности появились во II Думе. В связи с распределением голосов польское представительство, руководимое лично Дмовским и существенно более гетерогенное, стало играть роль стрелки весов. Толчком для правительства, показывающим стремления поляков, стало их голосование за рекрутский набор для того, чтобы подчеркнуть поддержку государственности — но не нынешней власти, что было отмечено в специальном заявлении (провести такое различие русская либеральная оппозиция никогда не была в состоянии). Этот сигнал надлежащим образом понял новый премьер-министр Столыпин, предложив польским депутатам закулисную политическую сделку, благодаря которой стало бы возможным формирование стабильного парламентского большинства. Крут российских уступок был обозначен так: возрождение правления наместника вместе с сформированным из представителей местного населения советом с полномочиями предпарламента, установление земского самоуправления и полонизация образования всех ступеней и администрации на уровне гмины¹⁶. Дмовский требовал меньшего: полонизации образования в Королевстве Польском и ликвидации запрета на приобретение поляками земли в западных губерниях¹⁷. Второе требование, носившее скорее пробный характер, являлось бы перечеркиванием политики нескольких десятилетий, начатой еще Муравьевым, и не могло быть принято премьер-министром, который выбрал административное решение — роспуск нижней палаты и изменение положения о выборах.

Обычно историки упускают из виду тот факт, что так называемый июньский переворот был направлен в том числе и против поляков, о чем недвусмысленно свидетельствует сам текст царского манифеста¹⁸. На необходимость ограничения численности поляков в Думе уже раньше, по опыту второго срока полномочий, указывали влиятельные бюрократы (бывший министр сельского хозяйства Алексей Ермолов утверждал: «Нежелательно, чтобы польская капля чашу российскую заполнять могла»¹⁹). По вновь принятому положению о выборах представительство Королевства Польского в пар-

¹⁶ См.: *H. Korwin-Milewski. Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855–1925). Poznań, 1930, s. 269–272.*

¹⁷ См.: *R. Dmowski. Polityka polska..., s. 101.*

¹⁸ «Иные народности... должны иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны... быть вершителями вопросов чисто российских» (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье, т. XXVII, 1907, СПб., 1910, № 29240, с. 320) — это был слишком прозрачный намек!

¹⁹ *E. Wojniłowicz. Op. cit., s. 140.*

ламенте сократилось до 14 мандатов (с условием, что 2 из них предназначаются для русских), а посредством изменений исполнительных предписаний и манипуляций в ходе выборов число польских депутатов от Отнятых Земель было сокращено до 7. Это сузило поле политической игры до минимума.

В этой ситуации Дмовский решил искать рычаги воздействия за пределами Таврического дворца. Таким рычагом стало неославянское движение, пробным камнем надежности и шансом успеха которого в глазах других славянских народов должно было быть наведение польско-российских мостов. Председатель Польского кола, пользуясь поддержкой со стороны оппозиционных политиков-кадетов, надеялся склонить октябристов, занимавших в III Думе ведущие позиции, к открытой декларации намерения провозгласить новую политику в отношении Королевства Польского, чтобы тем самым воздействовать на правительство. Эта идея, первоначально снискавшая некоторый успех, провалилась в 1909 году в связи с общегосударственным политическим кризисом и осуществившимся на российской политической арене поворотом в сторону правых и националистов.

Столыпин, потерпевший тогда первое за свою карьеру поражение, чтобы укрепить свои ослабленные позиции и создать себе политическую базу, должен был найти опору в формирующейся националистической партии. В связи с тем, что большинство ее (как, впрочем, и правых партий) парламентских представителей было выходцами из окраинных губерний²⁰, начало агрессивного антипольского наступления стало необходимой ценой заключенного союза. В результате поляки во время «безнадежной депутации» (согласно меткому определению одного из депутатов, Владислава Яблоновского²¹), должны были сконцентрироваться на зачастую отчаянной защите национальных интересов по принципу *non possumus*. Речь шла о таких фундаментальных вопросах, как введение необходимых с точки зрения цивилизационной, экономической и общественной институтов самоуправления или выделение из Королевства Польского из соображений в строгом смысле слова политических специально с этой целью созданной Холмской губер-

²⁰ Выходцами из Варшавы, западных земель, Холмска и Бессарабии были более чем 42% представителей националистической фракции, около 50% — правой и 55% — умеренно-правой. Этот факт объясняет слабость данных кругов в 1917 году.

²¹ *Z biegiem lat*. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław, rkps., sygn. 12858/I, k. 294.

нии, что для польской общественности — вне зависимости от политической ориентации — означало IV раздел Польши²². Редкие позитивные решения по мелким и лишенным политического значения вопросам, существенным тем не менее с точки зрения нужд страны, — вот максимум того, чего удалось достичь.

Поражение, каким явилось изменение положения о выборах, и смена политического курса, осуществленная Столыпиным, стали причиной того, в национал-демократических кругах обсуждалась возможность совместного выхода из парламента и передачи функции представления польских интересов более искушенным в тактике мелкого торга примиренцам, то есть членам партии Реальной Политики. Это они в конечном счете стали оказывать все большее влияние на проводимую поляками в Петербурге политику, монополизировав право представительства в Государственном Совете. В этом кругу в 1911 году родилась необдуманная идея использовать с целью нанести политическое поражение премьер-министру тот шанс, который давали дебаты по вопросу введения земских институтов в 6 западных губерниях, долженствовавших законодательным путем санкционировать ограничение прав польского населения. В результате идея оказалась политически не слишком продуктивной. Правда, правые в Государственном Совете охотно приняли помощь поляков, без которой не удалось бы провалить правительственный проект, но это ни в малейшей степени не повлияло на их изначальную неприязнь к временным союзникам²³. Как известно, выстрел Дмитрия Богрова упредил неизбежную отставку Столыпина²⁴. Ошибка в расчетах реалистов обнаружилась только потом, когда Владимир Ковцев, лишенный авторитета своего предшественника и его политических тылов, оказался не в состоянии сделать дружелюбный жест в сторону поляков несмотря на свое желание, так как в значительно

²² Этот вопрос из области политической семантики *nota bene* интересен. Стоит напомнить, что в эпоху Венского конгресса разделом считалась осуществленная там ампутация бывшего Герцогства Варшавского. Следовательно, пакт Молотова-Риббентропа стоило бы называть V, а не IV разделом.

²³ Об этом вопросе я писал более подробно в исследовании: *Stolypin, Polacy i ziemstwa zachodnie // Słowiańszczyzna i dzieje powszechnie. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi...* Warszawa, 1985, s. 125–153.

²⁴ Согласно не подтвержденному источниками отчету сына Столыпина — Александра, в своих далеко идущих планах премьер предусматривал неизбежность обретения Польшей самостоятельности в дальнейшей политической перспективе. Это было бы очередным доказательством того, что он единственный из российских политиков со времен Александра II заслужил право называться государственным деятелем.

большей степени зависел от необходимости добиваться поддержки правого и националистического парламентского большинства. Так спустя годы сбылось пророчество Витте.

Атрофия политического инстинкта и националистические пароксизмы (красноречивое тому свидетельство — взаимные объятия и поздравления корифеев правых в Государственном Совете накануне начала войны, в мае 1914 г., по случаю отклонения очень скромного в политическом плане проекта местного самоуправления в Королевстве Польском — проекта, утверждение которого должно было явиться своего рода компенсацией за выделение Холмской губернии) вызвали беспокойство части российской политической общественности, а также в большей мере отдающих себе отчет в важности ситуации высших должностных лиц в министерстве иностранных дел. Кн. Григорий Трубецкой, директор Ближневосточного департамента, опубликовал в 1913 году в Берлине (sic!) серьезный труд «*Russland als Grossmacht*», одну из важнейших публицистических работ той поры, в котором выдвигал революционный (для русского отношения к проблеме) тезис: чтобы исправить историческую ошибку, какой были разделы Речи Посполитой, необходимо дать полякам те права, какими они пользуются в Галиции, то есть *de facto* полную политическую автономию. Трубецкой полагал, что только таким образом Россия получит свободу действия и завоюет шанс осуществления своих великодержавных устремлений.

Резонансом этой работы и скромной попыткой реализации предложенной в ней программы стало обращение великого князя Николая Николаевича к полякам, изданное сразу после начала военных действий и предсказывающее «объединение польского народа в единое целое под властью Российского Императора»²⁵. Однако вплоть до конца 1916 г. за этим не последовало дальнейших, конкретных шагов, а любые более смелые инициативы задавливались на корню в результате сопротивления правых и бюрократической олигархии. Свидетельством этого сопротивления стала отставка начальника и учителя Трубецкого — министра Сергея Сазонова после представления им проекта да-

²⁵ Текст этого обращения, изысканная литературность которого должна была прикрывать неопределенность обещаний, составлял как раз Трубецкой. Главные политические силы, действующие на территории «русского захвата», восприняли этот манифест — несколько, как оказалось, преждевременно — как «акт первостепенной исторической важности» (*Historia dyplomacji polskiej*. Т. III. 1795–1918. Warszawa, 1982, s. 806).

леко простирающейся автономии Королевства Польского, все равно слишком скромного на фоне политической ситуации в России на пороге третьего года неудачной для нее войны. Из-за безвыходности и маразма, воцарившегося в Петербурге, Дмовский, убедившись в бесплодности какой-либо политики на этой почве, покинул Россию и переехал в Париж, начав через некоторое время формировать там в зародыше органы государственной власти под покровительством Антанты.

Что же дали парламентские контакты каждой из сторон? Политически они закончились полным фиаско, принеся взаимное разочарование и лишь усугубив отрицательные стереотипы. Непонимание польских устремлений как в центристских, так даже и в либеральных кругах, которые не могли перебороть исторические и доктринальные стереотипы, стало одной из причин военных поражений и распада империи. Совсем иначе выглядели итоги для другой стороны. Дмовский, с талантом государственного деятеля, смог «перековать» тактическое поражение своих программ, погубленных на российской почве, в стратегическую победу. Используя думскую трибуну в качестве сцены для исполнения роли министра иностранных дел не существующей на карте Польши²⁶, он создал себе в дипломатических кругах Петербурга, внимательно следящих за судьбами польского вопроса, а также в политических сферах Парижа и Лондона репутацию, которая должна была оказаться выгодной на решающем этапе мировой войны.

Нужно отметить также и другой, лишь с виду несущественный аспект проблемы. Заседания Думы и Государственного Совета, несомненно, стали школой политической культуры. Необходимо помнить, что именно в российском парламенте окончательно сформировались личности не только Дмовского, но и других выдающихся польских политиков: будущего премьер-министра Владислава Грабского и владельца майората Мауриция Замойского. Однако если поляки учились над Невой новому для них искусству ведения реальной политики, то русские сталкивались в их лице с другой школой мысли и действия, а также

²⁶ Он пишет об этом так: «Я, собственно, считал, что главная задача председателя Польского кола — исполнять обязанности несуществующего министра иностранных дел Польши. Мог ли по-другому смотреть на это человек, уверенный в том, что возрождение Польши не только возможно, но и неизбежно, причем в недалеком будущем» (*Polityka Polska...*, s. 92–93).

с иной политической философией, гораздо более близкой Западу, чем Востоку. Не случайно одним из прекраснейших ораторов в обеих палатах считался, по всеобщему мнению российских парламентариев, Игнацы Шебеко (*nota bene* — сын царского генерала), а самым язвительным и желчным (об этом свидетельствует прозвище «пузырек с ядом») полемистом в Государственном Совете — Ипполит Корвин-Милевский²⁷, которого высоко ценили за его всестороннюю образованность и интеллектуальные компетенции. Этого, конечно, мало, чтобы считать польско-российские контакты в парламенте значимым историческим эпизодом, но вполне достаточно для того, чтобы о них помнить.

Перевод Н. Стефанович

²⁷ О нем в Петербурге ходил пародийный стишок про полицейского, который должен следить за тем, чтобы Корвин-Милевский не укусил таксу («*Ulica biegnie jamnik-piesek i Milewskiego napotyka; / Bacz policjancie, aby on nie ugryzł psa jamnika*»). О Корвин-Милевском, чья фигура никогда не интересовала советскую историографию, см.: *A. Szwarz, P. Wiczorkiewicz. Bracia Korwin-Milewscy — patrioci czy apostaci? // Francja — Polska XVIII-XIX w. Studia... poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu... Warszawa, 1983, s. 142-162*; также предисловие к новому изданию его дневников, написанное теми же авторами.

Польская тема в художественном творчестве Л. Н. Толстого 1900-х гг.

Тема «Толстой и Польша» в общем и целом отнюдь не нова. Она разрабатывалась преимущественно в польской критике и литературоведении, причем начиная почти со времени появления в печати повести Л. Толстого «За что?» и первых ее переводов на польский язык¹. Вместе с тем, насколько можно судить по немногим доступным русскому читателю источникам, по отношению к творчеству писателя начала XX века названной небольшой повестью разговор и ограничивался.

Кроме того, можно, видимо, считать достаточно характерной следующую тенденцию: само произведение рассматривается в основном (несмотря на ряд тонких наблюдений над его поэтикой) как повод и материал для размышлений о том, что именно знал Л. Толстой о Польше, особенно о национально-освободительном движении в этой стране, и насколько актуальна была эта проблематика в то время, когда он задумывал и писал «За что?». В соответствии с этим, нуждается в объяснении, с точки зрения литературоведа, не художественная структура произведения, а причины позитивного отношения автора к полякам (ибо характер этого отношения вполне ясен и без анализа текста). В результате исследование может привести к выводам общеидеологического, а отчасти и психологического характера: об отходе писателя в этом случае от теории «непротивления злу» или о мощной «искупительной интенции», позволившей ему занять идеологическую позицию, столь далекую от общепринятой².

Сказанное вовсе не означает, что польскую тему (в обозначенном уже содержательном наполнении) мы считаем слишком частной и предлагаем «дополнить» ее какими-то соображениями еще и о «художественных особенностях». Как раз напротив: на наш взгляд, подлинная значительность этой темы, абсолютная неконъюнктурность обращения к ней Толстого раскроются только через поэтику. Но для этого необходимо уяснить место «За что?» не в творчестве писателя в целом (хотя проводившиеся некоторыми исследователями параллели

¹ См.: *P. Grzegorzcyk. Lew Tolstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki.* Warszawa, 1964.

² См.: *B. Białokozowicz. Opowiadanie «Za co?» w świetle jubileuszowego wydania dzieł Lwa Tolstoja i materiałów archiwalnych // Slawia orientalis. R. IX.* Warszawa, 1960, № 4, s. 555–580.

между персонажами повести — Вандой и Альбиной и героинями романа «Война и мир» — Наташей и Верой очень интересны)³, а именно среди произведений начала 1900-х гг., начиная с «После бала». Сложность этой задачи состоит в том, что проблема единства художественных принципов Толстого этого периода далеко еще не решена.

1. Об интересе к Польше в творчестве Л. Толстого 1900-х гг. свидетельствует не только специально посвященная польской теме небольшая повесть «За что?», но и присутствие той же темы в «Хаджи-Мурате», где император Николай I выслушивает сообщение о деле студента-поляка и принимает решение о его наказании. Решение это мотивировано «чувством злобы к полякам», а это чувство, в свою очередь, объяснено тем, что «он сделал много зла полякам».

На первый взгляд, второй случай занимает слишком незначительное место даже и в том эпизоде главы XV, где показан целый ряд решений царя по разным делам, не говоря уже о повести в целом. Но кроме того, что судьба студента поставлена Толстым в контекст политической истории — истории взаимоотношений двух наций, между двумя названными произведениями есть и иная связь, а именно — *мотив наказания шпицрутенами*.

В «Хаджи-Мурате» Николай I, приговаривая студента Бжезовского, в сущности, к смертной казни, требует еще и того, чтобы казнь была публичной: «Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай». В повести «За что?» есть рассказ Росоловского о такой же казни, «на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу». Этот рассказ выполняет важнейшую сюжетную функцию: жена Мигурского, Альбина, как раз под его воздействием задумывает план побега, а сам он, соглашаясь на этот план потому, что «он видел, как после смерти детей тяжела была ее жизнь здесь», вполне сознает, что «наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее».

Интересующий нас мотив связывает «За что?» не только с «Хаджи-Муратом», но и с рассказом «После бала». Более того, и в первом, и в третьем из названных произведений наказание шпицрутенами — подробно изображенное и сюжетно значимое

³ Op. cit. S. 571.

событие, тогда как в «Хаджи-Мурате» о нем только упоминается. В обоих случаях это событие показано глазами очевидцев, причем ряд деталей рассказов Росоловского и Ивана Васильевича совпадает, а другие на этом фоне общего сходства создают весьма многозначительный контраст (для удобства наблюдений выделим первые курсивом, а вторые — жирным шрифтом) ⁴:

«После бала»

«Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то *страшное*, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был *оголенный по пояс человек*, привязанный к *ружьям двух солдат*, которые *вели его*».

«При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, *поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону*, с которой падал удар, и *оскаливая белые зубы*, повторял какие-то одни и те же слова. Только *когда он был совсем близко*, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: „Братцы, *помилосердуйте*. Братцы, *помилосердуйте*“. Но *братцы не милосердовали* <...>».

«Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов *спину наказываемого*. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека».

«За что?»

[1] «*Два солдата вели его*, а те, которые были с палками, били его по *оголенной спине*, когда он равнялся с ними. Я видел это *только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял*. <...> И я видел, как его *тянули за ружья солдаты*, и он шел, *вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону*. И раз, *когда его проводили мимо нас*, я слышал, как русский врач говорил солдатам: „*Не бейте больно, пожалейте*“. Но они все били; когда его провели мимо нас второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. *Страшно было смотреть на его спину*. Я зажмурился».

[2] «Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над *втянутым животом*. Он шел, так же, как и все, при каждом ударе *вздрагивая и вздергивая голову*, но не стонал и громко читал молитву: „*Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam*“».

Может показаться, что сходство объясняется исключительно объективными свойствами самой изображаемой процедуры. В действительности предмет изображения для автора — не только само событие казни, но и точка зрения персонажа-рассказчика.

⁴ Тексты цитируются по изданию: Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20 томах. Т. 14. М., 1964. С. 14–15, 261–262.

Сходство же между точками зрения состоит не столько в пространственной позиции (ограниченность пространственного кругозора в обоих случаях специально подчеркивается), сколько в неподготовленности и непосредственности: для обоих наблюдателей происходящее — нечто странное и неестественное.

Такой прием описания у Толстого широко известен под изобретенным В. Шкловским названием «остранения». Заметим, однако, что в приведенных нами фрагментах текста двух произведений признаки такого рода точки зрения отнесены к *разным аспектам* изображенного события.

В рассказе Ивана Васильевича средоточие странности — наказываемый («приближающееся ко мне»), а наказание выглядит противоестественным не только потому, что на происходящее смотрит человек, совершенно непривычный к этой процедуре, да и вообще внутренне не причастный к государственной системе. Официальный подход к событию дискредитирован в его глазах страданием жертвы, а в максимальной степени — *видом* изуверченного до неузнаваемости *тела*: именно в этой точке описания появляется слово «неестественное».

В произведениях Толстого тело — наиболее прямое и непосредственное выражение *сущности жизни* как таковой, *жизни как природы*. Наказание же — выражение *сущности власти*, которая *враждебна жизни* — тоже как таковая. «Неестественное» человеческое тело для автора — оксиморон; а для персонажа вид этого тела — наглядное и неопровержимое свидетельство несовместимости власти с жизнью. Отсюда и сюжетная функция этого впечатления: после него не только оказалась невозможна для Ивана Васильевича военная служба, но и любовь «пошла на убыль». Этот, казалось бы, неожиданный поворот предвосхищен тем, что Варенька была «величественная, именно величественная»⁵.

«Величие» (Grand) Толстой постоянно — и в «Войне и мире», и в «Хаджи-Мурате» — соотносит с властью и дискредитирует *изображением тела* — тела властителя и тела его жертвы. Такова соотнесенность мыслей Николая Павловича о том, какой он великий человек, с двумя рядами деталей. С одной стороны, — многократные упоминания о его «огромном, туго перетянutom по отросшему животу стане» и особенно о «безжизненном взгляде». С дру-

⁵ Эта деталь оказалась странным образом незамеченной и неоцененной в анализе «культурной атмосферы бала» у А. К. Жолковского. См.: А. К. Жолковский. Влуждающие сны. М., 1992. С. 110–113.

гой — *мотивы тела* в изображении гибели Хаджи-Мурата. Отсюда же значение беглого упоминания о том, что студент медико-хирургической академии Бжезовский, по отношению к которому императором проявлена даже ненужная жестокость («так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека»), был *«болезненно-нервный»* и нанес профессору *перочинным ножиком «несколько ничтожных ран»*.

Вернемся к рассказу Росоловского. Прежде всего очевидно, что в той его части, которую мы выборочно процитировали, нет *прямого* изображения ни страданий наказуемого, ни его тела (понятно, что спина его представляет собой страшное зрелище, но впечатление это не кокретизировано). Там, где в «После бала» «наказываемый, как бы удивляясь, *поворачивал сморщенное от страдания лицо* в ту сторону, откуда падал удар...» (выделено мной. — *Н. Т.*), персонаж, изображенный в «За что?», только вздрагивает и поворачивает *голову* то в ту, то в другую сторону, т.е. нет страдающего лица. Более того, как можно теперь заметить, и сама просьба о сострадании исходит не от него. В «После бала» жест наказываемого предшествует словам «Братцы, помилосердуйте». В «За что?» сказано: И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: „Не бейте больно, пожалейте“. Поскольку здесь отмечена национальность врача, сама точка зрения наблюдателя дана автором как инациональная, т.е. с определенной дистанции. Прямо противоположную картину видим там, где изображена реакция на обе просьбы («Но братцы не милосердовали...»; «Но они все били»): в «После бала» точка зрения наблюдателя близка автору; зато в качестве «чужих» даны точка зрения наказуемого и его слово («братцы»).

Другая особенность рассказа о наказании шпицрутенами в «За что?» состоит в том, что эта процедура прямо возводится к высшей власти как к своему источнику. На это указывает первая фраза: «Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой *высочайше утвержденной* толщины, чтобы три только могли войти в дуло ружья» (курсив мой. — *Н. Т.*). В «После бала», напротив, в аналогичном событии высшая власть была не заменена, а именно *замещена* фигурой полковника, о чем говорят черты сходства с Николаем Павловичем в его облике: лицо «с белыми а la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками».

Напомним, что точно так же описываются в «Хаджи-Мурате» лица флигель-адъютанта и князя Долгорукова.

Таким образом, если **страдания** наказуемого показаны в повести «За что?» по сравнению с «После бала» *опосредованно*, то **причиняющая их сила**, наоборот, — *без прежних опосредований*. Николай Павлович в повести о судьбе Мигурских фигурирует в качестве персонажа, причем в его изображении есть ряд мотивов, напоминающих «Хаджи-Мурат»: «ходил по маскарадам, заигрывал с масками»; «останавливал на чем попало свои оловянные глаза», «И все приближенные <...> умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека» и т. п.

Теперь можно обратить внимание на то, что Росоловский рассказывает о наказании не одного провинившегося, а целой группы осужденных по одному и тому же делу. Названы из всех только двое — первый, доктор Шакальский, и последний — глава заговора: «Последним повели самого Сироцинского». Только в этих двух случаях есть подробные описания казни. Первое из них мы уже рассматривали: главное в нем — отсутствие мольбы о помощи со стороны наказуемого. Этот же мотив присутствует и в изображении Сироцинского, но в другом, усиливающем его контексте. Вместо обращения к истязателям — обращение к Богу: «Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: *Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam*». Еще важнее то, что здесь появляется также *изображение тела*: «Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом». Поскольку перед этим сказано, что можно было бы не узнать Сироцинского, так он постарел, и что «все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое», видна основная направленность описания: подчеркнуты *аскетизм, физическая слабость*. Так создается впечатляющий контраст: все вначале перестают идти сами, их тащат, а затем они и вовсе падают. О Сироцинском же ничего этого не говорится. Не случайно рассказу предшествует оценка этого персонажа: «Он и умер героем и мучеником». Это рассказ о способности противостоять страданию и боли, **победить телесную слабость духовной силой**, которая основана на вере. Таким образом, мотив тела в данном случае имеет совершенно иную функцию.

Именно финал повествования Росоловского вызывает у слушателей сильнейшую реакцию. Изображение и оценка Сироцинского позволяют понять, почему история о неудавшемся замысле «возмущения и побега» и жестоком наказании осужденных по делу могла

все-таки подтолкнуть жену Мигурского к идее побега. Иначе говоря, теперь становится понятной сюжетная функция этого рассказа.

Таким образом, три названных нами произведения связаны разработкой темы **противостояния власти и жизни**. Не случайно поэтому, что государственное насилие во всех трех случаях направлено против людей, не принадлежащих к этой государственности этнически, т. е. **чуждых ей как бы по природе** (в «После бала» «гоняют за побег» *татарина*). Естественным должно выглядеть поэтому, наоборот, сопротивление власти. Поскольку в повести «За что?» такой поворот темы находится в центре внимания и дан в исторической перспективе, в рассказе Росоловского и появляются соответствующие новые акценты (новые функции образа тела), которые напоминают скорее изображение гибели Хаджи-Мурата, чем наказания шпицрутенами в «После бала». В то же время идея противостояния русской государственности «природным» правам человека именно в «За что?» прямо выражается в авторском слове: «Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь *за то, что они хотели быть тем, чем они родились*, — поляками...» (выделено мной. — Н. Т.). Здесь, собственно, и дан ответ на вопрос, заключенный в названии повести.

2. Два варианта разработки одной темы, наглядно представленные различными описаниями одинаковой казни в «После бала» и «За что?», связаны у Толстого с художественным исследованием возможностей двух форм противостояния власти.

Зрелище казни вызывает в Иване Васильевиче не только страдание, но и духовный переворот, повлиявший на всю его дальнейшую судьбу. Аналогичная ситуация реализована и в сюжете «За что?». Иосиф Мигурский и Альбина не могут противопоставить крушению своих планов — в отличие от Сироцинского — ничего, кроме страдания и взаимной привязанности. Но выдавший их казак Данило Лифанов переживает сильное душевное потрясение. Выраженная таким образом идея «расширения» добра через страдание, близкая «Фальшивому купону», экстраполируется на исторический план повести. Те русские люди, которые «задавили» польскую революцию 1831 г., «сами не зная, зачем они делают это», — жертвы «развращения и одурения», на которое, как сказано в повести, были «бессознательно направлены все силы» Николая Павловича. Люди эти, надо полагать, вполне подобны казаку Даниле Лифанову, который, в свою очередь, похож на Мигурского

простотой и добротой. Этот ряд сопоставлений говорит о возможности перемен в сознании людей, а следовательно, и в истории.

Заметим теперь, что в сюжете повести «За что?» соотнесены две истории о побеге — с Иосифом Мигурским и с ксендзом Сироцинским в их центре. В этом отношении показательно, что в глазах Альбины Мигурский «был величайший герой и мученик», т. е. она думает о нем буквально то же самое, что впоследствии говорит Росоловский о Сироцинском. По-видимому, решая в повести «За что?», как и в «Хаджи-Мурате», вопрос об исторических перспективах сопротивления человека государственному насилию, Толстой стремился и в этом случае сопоставить и приравнять столь различные, на первый взгляд, позиции, как смиренное претерпевание судьбы и активное отстаивание неотъемлемых прав человека на жизнь и свободу. Христианское принятие смерти, которое в «кавказской истории» уравновешивало героическую гибель (имею в виду сопоставление последних минут солдата Авдеева и Хаджи-Мурата), здесь свойственно человеку, создавшему тайное общество с целью поднять вооруженное восстание. И наоборот, в роли человека, осуществляющего рискованный и весьма авантюрный замысел, оказывается Иосиф Мигурский, которому необыкновенная физическая сила не мешает быть «кротким, смирным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке...». Заметим здесь несомненное сходство с основными мотивами портрета Хаджи-Мурата: «улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием <...> перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой» и т. д.

Сравнивая в повести «За что?» христианское отношение к судьбе и смерти и дохристианскую героиню, Л. Толстой более прямо и непосредственно, чем в «Хаджи-Мурате», противопоставляет и то, и другое власти, государственному насилию. Видимо, поэтому две позиции оказываются здесь не только равносильными, но и внутренне близкими.

Россия в глазах Мариана Здзеховского

Мариан Здзеховски, самый видный польский славист конца XIX — первой половины XX в., одно из главных мест в своих научных работах отвел России. В их обширной проблематике, наряду с интересом к европейскому романтизму, к философским и религиозным течениям современной исследователю эпохи проявляется пристальный интерес к духовному и культурному облику России, к ее политическим и идейным тенденциям, историософии и религии. Работы Здзеховского о Льве Толстом, Владимире Соловьеве, русском славянофильстве, большевистской революции, не теряя ни своего глубокого значения, ни индивидуального измерения, до сих пор актуальны.

Этот ученый весьма повлиял на развитие польской русистики и одновременно на восприятие русской культуры и мысли на польской почве.

Роль Здзеховского-русиста подтверждена значимостью его работ в области религии, философии и истории, прежде всего тех, в которых он указал европейские корни большевистской революции. Считая ее результатом длительного духовного кризиса Европы, польский ученый предвидел его новый этап в виде Второй мировой войны. В связи с этим в послевоенной социалистической Польше не публиковались ни его работы, ни работы о нем. Это стало возможным только в эпоху посткоммунизма. Исследователи наследия Здзеховского считают, что на его интерес к русской проблематике повлиял тот факт, что он учился в русском лицее в Минске, а затем в русских университетах: в Петербурге и Дерпте¹. Одновременно они подчеркивают необыкновенную его способность устанавливать дружеские связи с самыми интересными и наиболее талантливыми представителями русской литературы, философии, богословия. Эта способность, которую Базыли Бялокозович называет одаренностью, сопутствовала ведущему в работах польского русиста принципу синтеза². Свойственная ему склонность синтезировать культурную и историческую действительность позволяла выделить

¹ См. работы о М. Здзеховском: *J. Widacha. Utopia słowianofilska w badaniach Mariana Zdziechowskiego // Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce / Red. R. Łużny. Wrocław, 1976; J. Skoczyński. Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław, 1983; B. Białokozowicz. Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Białystok, 1995.*

² *B. Białokozowicz. Op. cit., s. 23.*

в дружеских связях с русскими универсальный, объективный план бытия, что в свою очередь происходило — как подчеркивает Бялкович — благодаря контактам со знаменитыми россиянами. Среди них были Лев Толстой, Дмитрий Мережковский, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Евгений Трубецкой и его братья — Сергей и Григорий, Александр Веселовский, Александр Пыпин.

Некоторые из них повлияли на интерес Здзеховского к проблемам русской культуры и философии, другие — непосредственно на философские и историософские взгляды самого ученого. Как подчеркивает Янина Видаха в работе *Utopia słowianofilska w badaniach Mariana Zdziechowskiego nad romantyzmem rosyjskim*, важную роль в формировании Здзеховского-русиста и мыслителя сыграла кроме того атмосфера университетов в Петербурге и Дерпте³. Первую свою работу он написал, будучи еще студентом, под влиянием лекций Павла Висковатова: *Warunki, w jakich powstała słowianofilska nauka w Rosji* (1883). Она стала исходным пунктом для его позднейших работ о русском славянофильстве, главным образом для очерка проблемы *Mesjaniści i słowianofile* (1888), а также для книги *U opoki mesjanizmu* (1912).

Самое большое влияние оказал на Здзеховского Соловьев, от которого польский ученый заимствовал философский пессимизм и историософскую катастрофичность. Они — как онтологические и аксиологические категории — стали основополагающими принципами его работ о европейском романтизме и христианском модернизме. Результатом этого влияния была также выдвигаемая им позже идея единства западного и восточного христианства. Польский исследователь глубоко верил в эту высокую идею, восхищаясь возможностью объединения католицизма с тем видом православия, который представляли Алексей Хомяков, Владимир Соловьев, Евгений и Сергей Трубецкие, Николай Бердяев, Сергей Булгаков.

Идею единства христианства Здзеховски выдвигал в своих лекциях о русской религиозной мысли, которые читал в Сорбонне в 1925 году. Как замечает Ян Скочински в работе *Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego*, они пользовались огромной популярностью не только среди французских славистов, но и среди теологов и философов⁴. Стоит заметить, что парижские лекции Здзеховского слушали также русские эмигранты, среди которых были Бердяев, Мережковский с Зинаидой Гиппиус, Евгений Трубецкой. Именно эти

³ J. Widacha. Op. cit., s. 78.

⁴ J. Skoczyński. Op. cit., s. 23–25.

лекции стали импульсом для межконфессиональных дискуссий, которые позже организовал в Париже Бердяев.

Контакты Здзеховского с русскими эмигрантами имеют особое значение для его взглядов как на послереволюционную Россию, так и на Европу. В них исследователь разделяет точку зрения Бердяева, указывая на Ренессанс как на начало обожествления человека и абсолютизации разума, ведущие к большевистской революции.

Отдельным вопросом является отношение Здзеховского к Льву Толстому, с которым он вел оживленную переписку и которому посвятил значительную часть своей работы *U opoki mesjanizmu*. Фрагмент этой работы он озаглавил *Lew Tolstoj i jego Zmartwychwstanie*, включая ее в раздел *Z dziejów rewolucjonizmu rosyjskiego*. Стоит подчеркнуть, что Здзеховски, подобно Соловьеву и Бердяеву, критикует христианство Толстого, называя его религиозным анархизмом, не только ослабляющим духовное единство Церкви, но и уничтожающим морально-идеалистические основания всякой государственности.

Деятельность Здзеховского-русиста охватывает длительный период с 1882 года по 1937 г. Несмотря на критическое отношение к большевистской революции, его симпатии всегда оставались на стороне традиционной, православной России, в христианстве которой он видел положительные элементы даже для католической Европы. Это послужило поводом для обвинения Здзеховского в русофилии, что не имеет смысла в свете его работ, критикующих большевизм наряду с марксизмом и социализмом. Его нельзя было упрекать в русофилии после опубликования таких работ, как *Wpływy rosyjskie na duszę polską* (1920); *Europa, Rosja, Azja* (1923); *Od Petersburga do Leningradu* (1934); *W obliczu końca* (1938); *Widmo przyszłości* (1939).

Исследователи выделяют в наследии Здзеховского два периода: постпозитивистский — до 1914 года и междувоенный — до 1938. В обоих периодах наблюдается склонность ученого к философско-религиозным, историософским и, главным образом, этическим проблемам, благодаря чему в его работах, включая историко-литературные, обнаруживается духовный и исторический образ России. Среди работ первого периода самыми важными являются те, в которых автор касается проблем славянофильства и противоположного ему западничества. Характерной чертой славянофильства Здзеховски считает мессианство, выделяя в нем религиозный и политический уровни. Стоит подчеркнуть, что в своей первой работе *Mesjaniści i słowianofilia* он не замечает больших различий между русским и польским мессианством, констатируя, что первое характеризуется рассудком

русского народа и критикой по отношению к Европе, а второе — фантазией и мистицизмом.

Таким образом, как отмечает Янина Видаха, автор умаляет существенные различия между польским и русским мессианством, сводя их лишь к психологическим и умственным особенностям наций. Главным стремлением ученого было выделить национальные черты, повлиявшие на возникновение утопических мессианских доктрин. Критический элемент русского мессианства был, по его мнению, одновременно и слабой, и сильной стороной доктрины. Упрекая Запад в анархии и отсутствии моральных принципов, славянофилы — замечает Здзеховски — не сумели объективно оценить историю России и представить ее прошлое без идеализации.

Первая стадия славянофильства характерна — что главным образом наблюдается у Хомякова и у И. Киреевского — восприятием Запада как христианского мира. Отсюда подчеркиваемое ими чувство внутреннего родства с христианской Европой, однородность жизненной цели и одновременно характер критики, истекающей из типичного для православия религиозного восприятия западного мира. Здзеховски замечает, что родство с Западом соединяется здесь с глубоким чувством русского своеобразия, неотделимого для славянофилов от православной традиции. Он обращает внимание на факт, что идея внутренней целостности в их взглядах дополняется идеей включения личности в надиндивидуальное единство Церкви, тогда как на Западе расцвет индивидуализма неизбежно сопровождается разрушением высшего единства. В работе *Mesjanisci i słowianofile* автор вместе с тем видит сходства между польским романтическим и русским славянофильским мессианствами. Эти сходства, как он считает, проявляются в глубокой мистической вере в высшее призвание обеих наций морально исцелить погибающую от материализма Европу. Замечая духовную близость русской и польской утопий, автор определяет ее двумя однородными названиями: «мистический патриотизм» (польский) и «патриотический мистицизм» (русский). Вера в высшую миссию двух наций вытекает из ощущения ими своего славянского духовного своеобразия в Европе, независимого от религиозных различий.

Наблюдая будущие судьбы славянофильства, главным образом его политический характер во второй половине XIX века, Здзеховски меняет свои взгляды, не меняя критериев оценки. В книге *U opoki mesjanizmu*, носящей характерное подзаглавие *Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich*, на первый план ученый выдвигает идейный и политический характер русского панславизма и паназиатизма.

Имея в виду главным образом деятельность Ивана Аксакова после Крымской войны и деятельность таких идеологов, как М. Н. Катков, Здзеховски подчеркивает, что высшая миссия, выдвигаемая ранними славянофилами, заменилась идеей политической борьбы против Запада и жаждой его подчинения. Резкий тон критики наследников Хомякова соединяется в книге *U opoki mesjanizmu* с чувством горечи, рождающимся у автора в связи с антипольскими взглядами русских консервативных мыслителей, в том числе Аксакова и Каткова, после январского восстания 1863 года в Польше. Итак, исследователь пишет, что противоборство России и Запада имеет уже не столь моральный и религиозный характер, как идейный и политический, проявляющийся с новой силой в отношении России к Польше, а также ее реакции на польское восстание. С особой отчетливостью Здзеховски осознавал тот факт, что Россия второй половины XIX века боялась духовного сближения с Западом и в то же время всячески боролась против Польши. Стараясь избежать «одной горечи и боли» в своем мышлении о России — как пишет в IV разделе этой книги — он ищет инакомыслящих, в том случае положительных русских. Таким примером является для Здзеховского упомянутый в заглавии раздела юрист и правовед Борис Чичерин, который как автор работ о государстве и праве предлагает восстановить отношения России к Польше на основе справедливости и почтительного уважения к вере поработщенного народа⁵.

Однако самым блестящим примером останется для автора Соловьев, у которого он ценит глубокое чувство истории и ощущение ее единства. Особенно близко Здзеховскому историческое мышление русского философа и его понятие богочеловечества как понятие историческое. Чтения о Богочеловечестве Соловьева он считал глубоким анализом западной цивилизации, которая стремится «прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека», выявляя таким образом свою пагубную односторонность⁶.

Здзеховски подчеркивает, что автор Чтений видит и на Востоке односторонность, хотя иного характера — односторонность религиозного сознания, которое ограничивало возможности создания христианской культуры, а затем умаляло христианство. Самый близкий исследователю был тезис русского философа о взаимной необходимости христианского Востока и Запада и вы-

⁵ См.: Б. Чичерин. Собственность и государство. Курс государственной науки. История политических учений.

⁶ M. Zdziechowski. U opoki mesjanizmu. Kraków, 1912.

ступающая позже в его творчестве, главным образом в *Повести об антихристе*, идея их соединения и выступающая наряду с ней идея исторического единства. Здзеховски замечает, что в концепциях Соловьева Россия освобождается от антизападничества и от исторического провинциализма.

Занимаясь темой революции, Здзеховски обращает внимание на ее исторические, политические и духовные причины, общим знаменателем которых является русское западничество с его главными чертами, т. е., культом рационализма и вместе с тем увлечением утопией социализма. Опасным явлением при этом является низведение религии к одному, этическому принципу, как было у Льва Толстого в его учении о непротивлении злу насилием. Важно отметить, что Здзеховски, называя христианство автора *Войны и мира* анархическим, имеет в виду также его пассивность, которая, искушая людей высоким моральным принципом, все же порабощает их силу воли к борьбе со злом. Провозглашая пафос малых дел, Толстой — по мнению исследователя — в то же время провозглашает нравственность, которую Бердяев определяет нравственностью страха. Таким образом, он опасный пацифист, который не видит необходимости героических поступков.

Подробный анализ русской революции и большевизма наблюдается во многих работах Здзеховского, возникших после 1920 года, главным образом в таких, как *Wpływy rosyjskie na duszę polską; Europa, Rosja, Azja; Walka o duszę młodzieży; Od Petersburga do Leningradu; W obliczu końca; Widmo przyszłości; Terror intelektualny w Rosji*. Победа большевизма в России была бы невозможна, по мнению Здзеховского, без упадка религии и культуры на Западе и без победы французской революции. Следуя и здесь Бердяеву, он считает самую революцию чисто западным элементом истории, который получил в большевизме русскую внутреннюю форму. Эта форма выражается в таком виде максимализма, целью которого является абсолютное счастье в общественной области и абсолютная власть в области политики. Вследствие этого — пишет Здзеховски — вместо идеала появляется жестокое отрицание действительности, а также разрушение духовного и морального начал. Русский максимализм и абсолютизм в понимании западной антихристианской идеи революции привели к тотальной катастрофе, выход из которой возможен только на пути религиозного и морального возрождения.

Говоря об исторических аспектах революции в России, он обращает внимание не только на Ренессанс как на источник ду-

ховного кризиса Европы, но и на Первую мировую войну как проявление жесточайшего зла в истории. Выдвигаемый историками факт, что большевики захватили власть в России, свергнув демократическую республику, родившуюся после свержения царизма в феврале 1917 года, не имеет для него значения. Революция в России — детище Первой мировой войны, которой никто не хотел, но которая стала неизбежной в результате политики европейских держав, изменив характер XX века. После самой жестокой борьбы, жертвами которой пали миллионы граждан наиболее цивилизованных стран мира, стало возможным каждое зло. В числе главных последствий войны была революция в России, октябрьский переворот, создание государства, уничтожающего человека.

Здзеховски говорит о большевистской революции, имея в виду октябрьский переворот и ряд связанных с ним явлений, главным образом — инструменты власти, основной арсенал которых был создан при Ленине, а также ментальность самого Ленина. Следует отметить, что в октябре временное правительство было свергнуто партией, возглавляемой человеком твердо убежденным, что он постиг законы и смысл истории, опираясь на учение Маркса-Энгельса. Большевизм обнаружил новый тип сознания, в котором — по мнению Здзеховского — проявляется деяние темных сил. Будучи под влиянием Бердяева, говорящего о религии Антихриста и его деянии, он одновременно пользуется выдвигаемыми Гегелем концепциями «негативной идеи», «негативного бога», «негативной и уничтожающей энергии».

Сводя анализ большевизма к эсхатологическому уровню, Здзеховски подчеркивает, что он направляет историю к концу, ведет к «призраку» будущего, о котором говорит заглавие одной из его работ. Автор пытается преодолеть свой философский и историософский пессимизм по отношению к мировой истории на уровне религии и порождаемой ею морали. Надежду на реальное, не «призрачное» будущее он связывает с возрождением христианства и христианской морали. Именно это рассматривается Здзеховским как высочайшая духовная обязанность Запада и России.

Польская душа и русская идея в творчестве Вячеслава Иванова

В книге *Война и Польша*, изданной в 1914 году в Москве, Леон Козловски подчеркивает во вступлении, что для русских Польша это terra incognita. У интеллигентного русского представления о любой европейской стране более определенные, чем представления о Польше¹. Вспышка Первой мировой войны создала в России политическую обстановку, в которой замечается общий рост интереса к «польскому вопросу», как в печати, так и в политических мероприятиях властей: великий князь Николай Николаевич обращается к полякам с манифестом, призывающим поддерживать Россию и упоминаящим о «растерзанном на части живом теле Польши»².

Вопрос польско-русских отношений затрагивался Ивановым в текстах, опубликованных, главным образом, в сборнике *Родное и вселенское* (1917). Среди них были такие эссе, как: *Славянская мировщина, Польский мессианизм как живая сила, Духовный лик славянства, Русская идея, Лик и личины России, Два лада русской души*. Мотивы национального самосознания появляются и во многих других произведениях: в стихотворениях, созданных во время русско-японской войны (цикл *Година гнева*) и в книге *Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика*. На упомянутых текстах сказались обстоятельства патриотического подъема, вызванного угрозой со стороны военного противника. Названные эссе не были, однако, лишь высказываниями на случай. Трактровка темы проводится Ивановым в духе разработанной им раньше методологии и легко вписывается в систему его мнений о существовании культуры.

Встрече с Польшей способствовали контакты с колонией польских эмигрантов в Москве. Иванов ссылается на высказывания Тадеуша Мицинского, выступавшего с докладом о польском мессианизме на заседании Религиозно-философского общества, посвященном памяти Владимира Соловьева. Русский поэт цитирует слова Мицинского —

¹ Л. Козловски. Вступление // *Война и Польша*. Польский вопрос в русской и польской печати. М., 1914, с. VIII. См.: J. Orłowski. Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny światowej // *Polacy w życiu kulturalnym Rosji, Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN w Krakowie*, 45 / Red. R. Łużny. Wrocław, 1986, с. 129.

² Цит. по: J. Orłowski. Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny światowej..., с. 129.

«если Христос только мечта, нет Польше надежды на Воскресение»³. С особым интересом воспринимаются Ивановым мессианские концепции Мицинского, усматривавшего в соблюдении моральных ценностей залог будущего Польши. Теплые слова автора Кормчих звезд о польском поэте не были лишь проявлением внешней вежливости. В творчестве обоих можно отыскать ряд мотивов, свидетельствующих о разделяемых ими взглядах. К ним можем причислить убеждение о пророческой роли поэта — предводителя масс, критику люциферической культуры, основанной на абсолютизации разума, а также призыв синтезировать новую жизнь на основе религиозных ценностей⁴. Оба писателя публиковались в газете «Утро России».

Основной категорией, с помощью которой анализируются Ивановым польско-русские контакты, является идея национальной психологии, национального характера польской и русской душ. Нация, по мнению Иванова, это соборная личность⁵.

Поэт указывает четыре условия процесса сближения враждующих стран: распознавание, понимание, покаяние и исповедание. Кровное братство — это причина сходных у поляков и русских попыток определить свое тождество и свои национальные цели. Таким образом, понимать, значит признать в брате право на его путь к тождественности. С XIX века обе нации провозглашают мессианские идеи⁶. В Польше их полнейшим проявлением, по мнению Иванова, было пророческое творчество Мицкевича, в России же славянофилы определили суть мессианских чаяний и убеждений.

Поляки и русские — братские нации — в прошлом были в состоянии вражды, так как не узнали брата друг в друге. Поэт перечисляет основные грехи обеих наций в прошлом: «Триста лет назад взял грех на душу брат Лех: пошел на русского брата,

³ В. Иванов. Польский мессианизм как живая сила // В. Иванов. Собр. соч. Bruxelles, 1984, т. 3, с. 665. Очередные тома этого издания появлялись в следующем порядке: т. 1 — 1974 г., т. — 1979 г., т. 3 — 1984, т. 4 — 1987 г. Далее цитируется это издание, в сносках указывается заглавие, том и страница.

⁴ О творчестве Мицинского см.: J. Tynecki. Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim. Łódź, 1976. Особенно глава: Pierwsza wojna światowa i śmierć Micińskiego, s. 198–205. См. также: Z. Kuderowicz. Historia i wartości integrujące. Konceptje historiozoficzne w publicystyce Tadeusza Micińskiego // Studia o Tadeuszu Micińskim, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 1979, s. 159–194.

⁵ См.: В. Иванов. Польский мессианизм..., с. 660.

⁶ О польском романтическом мессианизме см. работы А. Валицкого: A. Walicki. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa, 1970; Millenaryzmy i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski // «Pamiętnik Literacki», 1971, t. LXII, z. 4, s. 23–46.

чтобы не вещественно лишь разорить его и как бы исторгнуть из него живое сердце. Он покусился на его святая святых. На его православную душу»⁷. Грех России похож: в XVIII веке она участвовала в разрыве польской души, которая теперь «как Исида блуждает и ищет нетленные члены святого тела»⁸. Однако в этом преступлении виноват не безмолвствующий русский народ, но не связанная с народом власть. В характеристике данной Ивановым, русская вина оценивается с помощью славянофильских положений⁹ о внутреннем разрыве между святой Русью и чужой народу властью. Мученичество Польши имеет внутреннюю причину такого же порядка — несогласование национальной личности.

Стараясь понять сущность и причины польско-русской вражды в прошлом, Иванов смотрит на историю наших отношений сквозь призму знакомства Пушкина и Мицкевича. Автор *Konrada Wallenroda* был для русских поэтов воплощением образа пророка. Диалог Пушкина и Мицкевича считается историей диалектики понимания и непонимания. Встреча объединила поэтов мечтой о чистом, идеальном согласии между нациями в будущем. Выступления в защиту представляемых ими национальных интересов приняли форму вспылчивой распри. Иванов употребляет пушкинские фразы о «семейной вражде», ссылаясь в своем рассуждении на посвященное Мицкевичу стихотворение Пушкина «Он между нами жил» и так называемую антипольскую трилогию. Однако, по мнению Иванова, оба поэта говорили более существенные, более правдивые вещи, когда ссорились, чем когда «благородно мирились на общей почве гуманных начал»¹⁰. Страсть к спорам и тяжбам — это общеславянский порок. Упомянутые Пушкиным французские упреки в адрес России, попирающей просветительские принципы гражданственности в Польше, по сути дела беспочвенны, так как пропитанная именно просветительскими идеями власть совершила разделы Польши. Это одно из дурных последствий эпохи, породившей абстрактную рассудочность и безрелигиозную, антропоцентричную мораль.

В своей антропологической концепции автор *Кормчих звезд* пользуется герменевтическим понятием «проникновения», определяя

⁷ См.: В. Иванов. Славянская мировщина..., т. IV, с. 657.

⁸ Там же.

⁹ Об отношении Вяч. Иванова к славянофильству см.: Б. Ф. Егоров. Вяч. Иванов и русские славянофилы // «Русский текст», 1993, № 1, с. 43–56.

¹⁰ См.: В. Иванов. Славянская мировщина..., с. 656.

его как состояние, позволяющее «воспринимать чужое „я“ не как объект, а как другой субъект <...> Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением чужого бытия: «ты еси» <...> значит, <...> твоим бытием я познаю себя сущим. «Es, ergo sum» ¹¹. Герменевтика Иванова ¹² — не только способ узнать духовную жизнь другого, но, проникая в нее, самоопределить себя. Личность другого онтологически необходима для меня. Поскольку нация — это соборная личность, она плодотворно развивается только тогда, когда утверждает другое соборное «я» как субъект. Для Иванова основной метафизической чертой личности является «воля», открывающаяся к любви, как замечает Кандида Гидини — итальянская исследовательница Иванова ¹³. Первичное проявление метафизической воли к любви — это выбор: за или против Бога.

В своем стремлении понять поляков и русских Иванов обращается к интерпретации Тютчева, который распознал брата в убитом Россией «одноплеменном орле», осознавая свою трагическую вину, наподобие Агамемнона ¹⁴. Смысл пророчества Тютчева:

«(...) с Русью Польша помирится (...)

Не в Петербурге, не в Москве,

А в Киеве и в Цареграде» ¹⁵

обнаруживается в контексте событий мировой войны. Тютчев указывает Иванову, что будущее невозможно без покаяния и искупления вины, последнее же немислимо вне христианства.

Неоднократно в упомянутых текстах звучит сострадание, сочувствие к участи Польши. В 1914 году, ожидая необыкновенных событий, связанных с войной, поэт подчеркивает, что Польша — это Иов

¹¹ См.: В. Иванов. Достоевский и роман-трагедия. Собр. соч., т. 4, с. 419.

¹² В своей книге: Дионис и прадионисийство (Баку, 1923). Иванов пользуется понятием «высшей герменевтики». Анализ герменевтических положений Иванова см.: Л. Силард. Несколько заметок к учению В. Иванова о катарсисе // Культура и память. Третий Международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову. Доклады на русском языке / Ред. Фаусто Мальковати. Firenze, 1988, с. 143–154; К. Гидини. Литературная критика и герменевтика в работах Иванова о Достоевском. Некоторые общие замечания // Vjaceslav Ivanov: Russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV. Internationalen Vjaceslav-Ivanov-Symposiums, Heidelberg 4–10, September 1989, hrsg. W. Potthoff, Heidelberg 1993, с. 190–203.

¹³ К. Гидини. Литературная критика и герменевтика..., с. 197.

¹⁴ См.: Ф. Тютчев. «Как дочь родную на закланье...» // Ф. Тютчев. Лирика / Подготовка текста К. Пигарева. Т. 2. М., 1965, с. 107–108.

¹⁵ См.: Ф. Тютчев. «Тогда лишь в полном торжестве...» // Ф. Тютчев. Лирика. Т. 2, с. 124.

среди наций. Он провозглашает необходимость искупления «братской вины перед народом польским»¹⁶. Это убеждение основано на заповеди из Евангелия от Матфея, цитируемой Ивановым: «Если ты принесешь дар свой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто против тебя, оставь дар свой перед жертвенником и пойди, прежде помирись с братом своим, и потом приходи и принеси дар свой»¹⁷. Таким образом, примирение — не только проявление благосклонности и доброжелательных чувств по отношению к страдающим, но также неперемное условие чистоты и христианского характера русской идеи. Это необходимый для русской души акт, без которого она не будет осознавать правоту и моральную чистоту своей вселенской миссии¹⁸. Дар Святой Руси, Руси — «невесты Христовой», «алтаря Христова»¹⁹ не будет принятым без покаяния за грехи. Моральная чистота для Иванова — условие хороших отношений между поляками и русскими. Поэт ссылается на изречение Цицерона «Дружба может быть только между добрыми». Но тут возникает проблема источника добра. Ивановская концепция культуры основана на идее абсолютных — то есть евхаристических — ценностей²⁰. Поэт многократно выступает против абстрактного гуманизма, который пришел в состояние кризиса. Культура, воспринимаемая как «Иаковлева лестница», указывает на Христа как на стоящий фундамент этики. Для диалога наций-личностей Христос — тот необходимый иной — третий — участник общения, поскольку Он сам — личность: «один Христос, переживаемый как Лицо, может истинно сочетать дружащихся»²¹. По мнению Иванова христианство это необходимый фактор тождественности и внутреннего единства

¹⁶ В. Иванов. Славянская мировщина..., с. 655.

¹⁷ Там же. Неточная цитата. В синодальном издании Библии этот отрывок имеет форму: «если ты принесешь, дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приходи и принеси дар твой» (Мт. 5, 23–24). Цит. по: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Перепечатано с Синодального издания, Объединенные Библейские Общества. Нью Йорк; Женева; Лондон.

¹⁸ Мессианский характер идеи «Святой Руси» заключается в убеждении, что Русь — это не «Христос наций», но «Христос Вселенной». См.: С. Аверинцев. Византизм и Русь. Два типа духовности. «Новый мир», 1988, № 7, с. 160.

¹⁹ Это определения, характерные для ивановского варианта русской идеи. См.: A. Dudek. Idea rosyjska Waczesława Iwanowa // «Arka», 1991, № 5, с. 40–49.

²⁰ См.: В. Иванов, М. Гершензон. Переписка из двух углов. Т. 3, с. 406. См. также: В. Иванов. Письмо к Александру Пеллегрини о «Docta pietas», т. 3, с. 445.

²¹ См.: В. Иванов. Польский мессианиззм..., с. 660.

как польской, так и русской души. Несогласие Иванова вызывают мнения просвещенных гуманистов, считающих, что религия — это лишь отрасль культуры, и как таковая она может прагматично и инструментально использоваться для осуществления политических целей сближения враждующих наций²². Религия для Иванова сверхкультурное явление. Как раз благодаря верности религии поляки и русские остались живыми нациями, сохранившими свою идентичность. Россия и Польша как мифологический Антей теряют свою внутреннюю силу, когда скудеет их связь с религиозной почвой.

В обсуждаемых текстах Иванов старается начертить внутренние портреты польского и русского национальных характеров. У поляков поэт замечает преобладание лирического воодушевления, религиозной экзальтации и мистического субъективизма: «прямой поляк даровитее мятежится, чем притворствует, и зорче провидит, нежели предусматривает». «Поляки — самые опрометчивые и самые вещие из славян»²³. Эта черта сказывается на реакциях поляков, у которых самонадеянность чередуется с унынием, когда иллюзии распадаются. Русским, в свою очередь, присущ мистический реализм, духовная трезвость. В стихотворении «Русский ум» поэт утверждает:

«Как пламень русский ум опасен,
Так он неудержим, так ясен.
(...) Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле». (I, 556).

Русские мистики по-другому воспринимают Христа. В православной мистике, как замечает Иванов, нет опыта вхождения Христа в человека, распинаания Иисуса в человеке, что свойственно западной религиозности, а в том числе также польскому мессианизму. В русской религиозности это человек облачается во Христа²⁴. Если основной строй польской души лиро-трагический, то в русской душе совмещены эпическое и трагическое начала. Эпический лад — жизнеутверждающий, трагическое же начало — это антиномичность и полярность воли, стремление к нарушению покоя, облагораживание человеческой немощности. Отличительная черта русской религиозности — ожида-

²² См.: В. Иванов. Польский мессианизм..., с. 665. См. также: Письмо В. Иванова Э. Метнеру и А. Белому от 3.II.1912 // В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров. Вступ. статья и публикация В. Сапова // «Вопросы литературы», 1994, вып. II, с. 328.

²³ См.: В. Иванов. Польский мессианизм..., с. 661.

²⁴ См.: В. Иванов. Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского, т. 4, с. 464.

ние воскресения Духом Святым, живая эсхатологическая установка. В счастливых же странах Запада самое торжественное — переживание Рождества Христова²⁵. Для русского исповедания веры очень важным является соборный путь к незримой Церкви — Граду Божию, который строится безмянными праведниками и угодниками в смирении, в прочной связи с землей, при заступничестве Божией Матерью²⁶.

Портреты душ, анализ национальных характеров, стремление уловить смысл мессианской идеи русских и поляков проводится Ивановым с целью перевоплощения русской и польской идеи в славянскую, которая становится прежде всего заданием духа. Мир с Польшей — необходимое условие предпринимаемого подвига. Его суть — спасение мира перед угрозой безбожной и бездушной культуры²⁷.

Автор *Cor Ardens* замечает, что в процессе примирения поляков и русских важную роль могут сыграть чехи. Иванов утверждает, что символическим покровителем желанного единства славян может быть чешский король-мученик святой Вацлав-Вячеслав, почитаемый Востоком и Западом:

«Князь чешский, Вячеслав, святой мой покровитель
Славянской ныне будь соборности зиждитель»²⁸.

У всех трех наций Иванов замечает зародыши будущего общечеловеческого религиозного сознания. Каждая из трех славянских наций обладает даром проникновения к одному аспекту будущей вселенской правды: у поляков это дар евхаристической мистики жертвы, у чехов — дар мистики Христовой Крови (по преданию святой Вацлав сам изготавливал вино для литургии), у русских же — это дар мистики Софии Божией Премудрости. Для будущего человечества все три пути миропостижения сольются в единую, абсолютную правду²⁹.

Единение славян можем интерпретировать, таким образом, как национальный аспект основной для Ивановской концепции культуры идеи синтеза, стремления к всеединству бытия. Начиная с познания частей, поэт доходит до попытки проникнуть в смысл целого, чтобы затем с помощью целого еще ближе подойти к познанию составных частей категории славянства.

²⁵ См.: В. Иванов. Два лада русской души. Т. 3, с. 352; О русской идее. Т. 3, с. 334.

²⁶ См.: В. Иванов. Живое предание, т. 3, с. 341; Стих о святой горе, т. 1, с. 334.

²⁷ См.: В. Иванов. Славянская мировщина..., с. 657.

²⁸ См.: В. Иванов. Моление святому Вячеславу, т. 4, с. 55. В Польше, о чем не упоминает Иванов, святой Вацлав почитается как покровитель Вавельского собора в Кракове, в котором находятся гробницы королей, а также — Мицкевича и Словацкого.

²⁹ См.: В. Иванов. Духовный лик славянства. Т. 4, с. 671.

Славянская душа в работах Иванова трактуется как культурная энергия дионисийского характера (в отличие от романо-германской аполлинской души). Поэтому судьба славян во многом напоминает судьбу Диониса: славянская душа — страдательница, растерзаемая жертва. Дионисийские черты в славянском характере — это текучесть, жажда смен, женственность, отзывчивость, связь с землей, чувствительность, стремление к открытым просторам, самозабвение, растворение индивидуального разума в разуме сверхличном. Дионисийским характером отличалось творчество Коперника, Мицкевича, Словацкого, Шопена, Достоевского, Скрябина. Способность к иступлению и возлюбленная плавность форм — благоприятные факторы, помогающие выполнить общечеловеческую миссию славянства, перешагнуть грани старого, косного и бездушного мира. Духовное задание славянства подвергается однако двум опасностям. С одной стороны, это искушение хаоса и разъединения, с другой — искушение мертвого и бездушного порядка организации. Метод избежать их заключается в опыте польско-русских отношений: «беречь свое предание, любовно множить взаимность»³⁰.

Доброжелательное отношение Иванова ко всем славянским нациям, стремление искать прежде всего то, что является совместным достоянием, сказались на необыкновенной формуле присоединения поэта к Католической Церкви в 1926 году. Вопреки принятому тогда порядку ритуала, требующего отречения от прежней конфессии, Иванов не отрекся от православия, подчеркивая, что, присоединяясь к католицизму, он одновременно считает себя православным. В письме Шарлю Дю Бо поэт сравнил свое состояние с человеком, который опять может дышать двумя легкими, так как теперь для него доступны два священных клада религиозного опыта³¹. Полвека позже вслед за Ивановым эту метафору часто употребляет папа Иоанн Павел II в своих экуменических проповедях³².

В пути от непонимания к пониманию, завершая свой герменевтический круг, Вячеслав Иванов имел право сказать в эссе *Славянская мировщина*: «Я разумею Россию (...). Я разумею Польшу (...). Я разумею (...) Чехию»³³.

³⁰ Там же, с. 672.

³¹ См.: В. Иванов. Письмо к Дю Босу, т. 3, с. 427.

³² См.: Речь Иоанна Павла II к участникам римского симпозиума «Вячеслав Иванов и культура его времени» // В. Иванов. Собрание сочинений, т. 4, с. 700–702.

³³ См.: В. Иванов. Славянская мировщина..., с. 658.

Польская тема в «военных» статьях Вяч. Иванова

Речь в докладе пойдет о круге идей, изложенных в трех статьях Вяч. Иванова, написанных в 1914–1917 гг.: «Славянская мировщина» (1914), «Польский мессианизм как живая сила» (1916) и «Духовный лик славянства» (1917). Жизнь русской культуры в годы Первой мировой войны до сих пор не нашла достойного отражения в трудах историков. Помимо суммарных характеристик (разделение писателей на «ура-патриотов» и пораженцев, шовинистов и интернационалистов) и анализа отдельных текстов, почти отсутствуют работы, описывающие идеологические комплексы, господствующие в это трехлетие, не говоря уже об их генезисе, взаимодействии публицистики и художественной литературы, способов проникновения политической проблематики в тексты искусства и т. п.¹

Один из важнейших идеологических комплексов этого времени — возродившаяся перед лицом «германской опасности» славянофильская идея «панславизма». В контексте этой идеи заново начинает звучать один из самых больных вопросов российской национальной политики — польский вопрос. В задачу доклада не входит анализ этой проблемы с позиций политической истории. Любой историк назовет идеи Вяч. Иванова, как и вообще панславистский комплекс идей, утопией, а его надежды на «религиозное единение» несбывшимися. Однако статьи Вяч. Иванова дают возможность рассмотреть в концентрированном виде весь набор «топосов», связанных в этот период с польской темой в русской публицистике и художественной литературе, при всем несомненном своеобразии решения этого вопроса самим поэтом-символистом.

Понятие «топоса», которым я буду оперировать в докладе, требует некоторых пояснений. Речь идет о некоторых константах, «общих местах» языка той или иной культурной эпохи, которы-

¹ Существует лишь одна специальная монография, явно недостаточная по охвату материала и устаревшая по своим оценочным критериям работа, вышедшая в СССР: О. Цехновицер. Литература и мировая война. 1914–1918. М., 1938. См. также: Хеллман Бен. Когда время славянофильствовало. Русские философы и первая мировая война // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. Проблемы истории русской литературы начала XX века. Helsinki, 1989. P. 211–239; Баран Хенрик. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 171–185.

ми владеют и пользуются современники, даже находясь в разных общественно-политических станах². К первоэлементам этого общего культурного языка эпохи относятся устойчивые мотивы, символы, образы, повторяющиеся сюжеты, иерархии имен, а на более глубинном уровне — категории культуры, без которых она не может существовать. Блестящий образец анализа глубинных категорий культуры на материале Средневековья — работы А. Я. Гуревича. Набор *категорий* для всех культурных эпох один и тот же — пространство, время, причина, судьба, число и т. п. — меняется лишь их содержательное наполнение. Набор *топосов* в каждую эпоху индивидуален и неповторим, полная смена топосов может означать конец одной эпохи и начало другой. Именно с выявления и описания этих топосов должно начинаться изучение культуры того или иного периода. Я не уверена, что мы ныне достаточно дистанцировались от Серебряного века, чтобы корректно описать систему его топосов. Сегодняшний доклад — попытка продемонстрировать возможности этого подхода на примере топоса «Россия и Польша», или «польский вопрос» в эпоху Первой мировой войны. При этом недостаточно изучения произведений одного, даже и яркого и репрезентативного автора. Лишь сопоставление его текстов со статьями и даже художественными текстами других авторов позволит понять, в каких случаях автор лишь пользуется привычным для данной эпохи языком «общих мест», а в каких реально преобразует его.

Первый сквозной мотив, объединяющий статьи и художественные тексты этого времени, восходит к знаменитому пушкинскому стихотворению «Клеветникам России», — «семья» (у Пушкина — «сия семейная вражда») и связанные с этим мотивом образы и даже сюжеты «братской вражды», «братоубийственной распри» и просто «братьев». При этом акцент делается именно на то, что перед лицом общего врага бессмысленная вражда уходит в прошлое, а Польше предстоит возрождение.

Начнем со стихотворения В. Брюсова «Польше» (1 августа 1914), раньше всех обратившегося к этому мотиву. Поставив эпиграфом к стихотворению строки из стихотворения Тютчева «Как дочь родную на закланье...» («И наша общая свобода, / Как феникс, возродится в нем...»), Брюсов соединяет в своем стихотворении пушкинские и тютчевские мотивы:

² Несколько лет назад мне уже приходилось ставить задачу изучения культурных «топосов» той или иной эпохи, говоря об изучении сборника «Вехи».

Опять родного нам народа
Мы стали братьями, — и вот
Та «наша общая свобода,
Как феникс», правит свой полет.

А ты, народ скорбей и веры,
Подъявший вместе с нами брань,
Услышь у гробовой пещеры
Священный возглас: «Лазарь, встань!».

О конце «бессмысленной» «братской» вражды между Россией и Польшей писал в октябре 1914 г. Л. Андреев в статье «Восхождение» (Биржевые ведомости. 1914. 16 и 20 октября). Н. Бердяев в статье «Русская и польская душа» (1914) не только пользуется выражением «старая ссора в славянской семье», говоря о ссоре русских и поляков, но и разворачивает это уподобление, говоря о трудностях взаимопонимания между народами и в семейной жизни: «Народы родственные и близкие менее способны понять и более отталкиваются друг от друга, чем далекие и чужие. Родственный язык звучит неприятно и кажется порчей собственного языка. В семейной жизни можно наблюдать это отталкивание близких и невозможность понять друг друга. Чужим многое прощают, но своим, близким ничего не хотят простить... И никто не кажется таким чужим и непонятным, как свой, близкий»³.

В первой же статье Вяч. Иванова «Славянская мировщина» (1914) метафора «семьи» не просто подхвачена, но и развернута в легендарное повествование: «Конечно, русско-польская тяжба есть славянская семейная вражда и должна быть решена на славянской мировщине по семейному, по кровному, по Божьему закону и прадедовскому завету <...> Недаром стародавние песни и былины славян изобилуют рассказами о братских ковах. И как эпически проста кровавая летопись этой семейной вражды! Триста лет назад взял грех на душу брат Лех: пошел на русско-го брата, чтобы не вещественно лишь, но и духовно разорить его и как бы исторгнуть из него живое сердце. Он покусился на его святая святых, на его православную душу. Весы истории перекачнулись, и вот, к концу XVIII века Россия (о, к счастью, не народ русский, не сокровенная и безмолвствующая душа его, а

³ Н. Бердяев. Русская и польская душа // Н. Бердяев. Судьба России. М., 1990, с. 152–153.

власть правящая и народу внеположная) совершает не покушение только, но действительное историческое преступление, которое — именно потому, что оно облеклось в осуществление и действие, — бессильно было затронуть духовную и бессмертную личность Польши, когда видимая и осязаемая плоть ее была растерзана на части»⁴.

В созданной Вяч. Ивановым легенде становятся явными еще несколько мотивов, связанных с топомосом «Россия и Польша». Прежде всего это мотив взаимной исторической вины и вытекающий из него мотив взаимного исторического покаяния, или, иначе, взаимного возмездия, расплаты. Сходные мотивы развиваются в названной статье Н. Бердяева: «В прошлом колонизация и латинизация русского народа была бы гибелью для его духовной самобытности, его национального лика. Польша шла на русский Восток с чувством своего культурного превосходства. Русский духовный тип казался полякам не иным духовным типом, а просто низшим и некультурным состоянием. <...> Россия выросла в колосса, как государственного, так и духовного, и давно уже раздувание польской опасности, как и опасности католической, постыдно и обидно для достоинства русского народа. Более сильному обидчику не подобает кричать об опасности со стороны более слабого»⁵.

Однако приходится признать, что мотив взаимной вины и взаимного покаяния, прощения, возмездия встречается значительно реже и в статьях, и в художественных текстах того времени (чаще вина и покаяние связываются лишь с одной из противостоящих друг другу сторон). Тем знаменательнее совпадение этого мотива у Вяч. Иванова и А. Блока в поэме «Возмездие». Мне уже приходилось писать о том, что нереализованный в тексте поэмы, но намечаемый в ее планах лейтмотив «мазурки», несомненно, связан у Блока с польской темой и с традицией ее использования в русской оперной музыке («Иван Сусанин» Глинки и «Борис Годунов» Мусоргского): в обеих операх лейтмотив мазурки связан с темой польской интервенции, с периодом Смутного времени, иными словами, с эпохой, когда вина и сила были на стороне Польши. В Предисловии к поэме Блок начинает именно с этой темы: «Вся поэма сопровождается определенным лейтмотивом „возмездия“; этот лейтмотив есть мазурка,

⁴ Вяч. Иванов. Славянская мировщина // Вяч. Иванов. Собр. соч. Т. 4. Брюссель, 1987, с. 657.

⁵ Н. Бердяев. Ук. соч., с. 154–155.

танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах»⁶. Но кроме упоминания о Марине Мнишек, «крылья мазурки» носили Костюшку и Мицкевича, а это своего рода ответ уже на историческую вину России перед разделенной Польшей. Таким образом, у Блока, как и у Вяч. Иванова речь идет о взаимной вине, и о взаимном ее искуплении.

До сих пор речь шла о топосах, более или менее характерных для всей русской культуры времени Первой мировой войны. Однако в публицистике Вяч. Иванова польская тема приобретает еще особый поворот, которого нет у других публицистов и художников этого времени. Речь идет об уподоблении разделенной Польши растерзанному жертвенному телу древнего божества, о включении «польского» топоса в важнейший для Вяч. Иванова миф о страдающем и вечно воскресающем Дионисе в соединении с христианской символикой искупительной жертвы и грядущего Воскресения. В статье «Славянская мировщина» легенда о братоубийственной вражде переходит в изложение архаического мифа: «Рассечена была плоть, как расчленяется, по древнему мифу, бог страдающий. Польская душа, как Исида, блуждает и ищет нетленные члены святого тела. Ныне оно восстанавливается «по составу своей гармонии», как говорили герметические мистики о воскресении Осириса: воссоединится состав тела, и бог оживет. Здесь тайна и таинство, и не отвлеченному человеколюбию понять и осуществить мистерию судеб вселенских»⁷. Думается, что этот, очень важный для Вяч. Иванова акцент в «польском» вопросе отвечает не только его мифологизированной концепции истории, но и самосознанию польского мессианизма, видящего в трагедии Польши искупительную жертву.

Наконец, важнейшей составной частью «польского» топоса в годы Первой мировой войны был мотив окончательного будущего примирения русского и польского народа, России и Польши. Помимо общих утверждений об окончании вековой вражды (начиная с процитированного в начале доклада стихотворения Брюсова), в публицистике и в художественной литературе активно обсуждался вопрос о путях этого примирения. Для Бердяева необходимым услови-

⁶ А. А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960, с. 299.

⁷ Вяч. Иванов. Ук. соч., с. 657.

ем примирения становится воля к взаимопониманию со стороны обоих народов: «Русский народ должен искупить свою историческую вину перед народом польским, понять чуждое ему в душе Польши и не считать дурным непохожий на его собственный духовный склад. Польский же народ должен почувствовать и понять душу России, освободиться от ложного и дурного презрения, которому иной духовный склад кажется низшим и некультурным»⁸.

В поэме Блока «Возмездие» разрешение взаимного противостояния намечается на «третьем» пути: не в непосредственном столкновении стран и народов, а в рождении ребенка от русского героя польской девушкой — того самого «последнего отпрыска рода», который, согласно замыслу Блока, «готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества»⁹.

Вяч. Иванов в своем подходе в теме примирения выдвигает на первый план религиозный аспект. Еще в начале 1880-х гг. мысль о религиозном характере примирения России и Польши была категорически высказана в статье Вл. Соловьева «Нравственность и политика. Исторические обязанности России». Утверждая, что «внешнего примирения с Польшей у нас нет и быть не может»¹⁰, философ возлагал надежды на сближение России и Польши в лоне будущей единой христианской церкви. Вяч. Иванов оказывается здесь духовным преемником Соловьева, хотя, в отличие от него, не пытается указывать конкретные пути этого соединения: «Чаем в грядущем этого благодатного, богоданного, самородного замирения и соборования в Христовой вере, но чего именно и как чаем, — не ведаем сами»¹¹.

Изучение «топосов», связанных с польской темой, дает возможность проследить формирование общекультурного мифа, влияющего и на художественное творчество, и на политические концепции. Думается, что изучение «польского» топоса в русской культуре рубежа веков могло бы дать возможность не только выявить связанные с ним повторяющиеся мотивы и сюжеты, но и создать пластический портрет «русской Польши», который сочетал бы в себе культурологическую концептуальность с фактографической надежностью.

⁸ Н. Бердяев. Ук. соч., с. 158.

⁹ А. А. Блок. Ук. соч., с. 298.

¹⁰ В. С. Соловьев. Национальный вопрос в России. Выпуск первый // В. С. Соловьев. Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1989, с. 277.

¹¹ Вяч. Иванов. Ук. соч., с. 658.

Русская эмиграция третьей волны и поляки

Мы исходим из установки, что есть история литературы и есть история людей пишущих¹. Обе эти сферы могут быть предметом исследований филолога.

Первая часть заглавия отсылает настоящее исследование к отдельной отрасли исторического литературоведения — к науке о литературе эмиграции — эмигрантологии, понимаемой, главным образом, как наука идеографическая, регистрационно-описательная. (Такая трактовка этой области исследований отнюдь не исключает номотетического подхода.)

Проблема, обозначенная в заглавии, находит свое место в сравнительно-историческом литературоведении — компаративистике, понимаемой как литературные связи, отношения и восприятие текстов (контактология), в истории переводов, а также в дисциплине, которая исследует литературные биографии — жизнь и личность писателя (biografistyka, Dichterbiographie, literary biography)². Она причастна кроме того к такой категории научных исследований, как литературная жизнь (życie literackie, literary life)³, именуемая также наукой о литературной культуре⁴.

Проблема «русская эмиграция третьей волны и поляки» обширна и многопланова: она должна стать объектом солидного монографического исследования. Назовем несколько ее аспектов и проявлений, шире остановимся лишь на некоторых из них.

Одним из интересных вопросов, важных и показательных в аспекте взаимопонимания поляков и русских, являются контакты между русскими и польскими эмигрантами на Западе, то есть в идентичной ситуации изгнания, причиной которого был политический строй. Примером пусть послужит сотрудничество парижских журналов «Континент» и «Культура» («Kultura»). Начиная с первого номера, в редакцию «Континента» входили Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский и Юзеф Чапский. В том же номере вниманию читателей была предложена *Справка о журнале «Культура»*, в которой читаем: «В июле 1972 года польский журнал „Культура“, выходящий в Париже,

¹ Р. Уэллек, О. Уоррен. Теория литературы. М., 1978, с. 272.

² Г. Маркевич. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980, с. 30–31.

³ M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Stawieńska, J. Stawieński. Słownik terminów literackich. Warszawa, 1976, s. 513.

⁴ S. Żółkiewski. O badaniu dynamiki kultury literackiej // Problemy teorii literatury. Seria 2. Wrocław, 1976, s. 287–314.

отметил свое 25-летие. В предельно лаконичном „Отчете“, опубликованном в юбилейном номере, основатель журнала и бессменный его руководитель Ежи Гедройц вспоминает: в начале 1946 года было заложено издательство „Литературный институт“ — полтора года оно выпускало только книги; с июля 1947 года стал выходить журнал <...> Польская „Культура“ 1974 года отмечена номером 323. Вышедший в этом же месяце „Архипелаг ГУЛаг“ Александра Солженицына в блестящем переводе Михаила Каневского — 247 по счету выпуск „Литературного института“⁵. Количество издаваемых Литературным институтом книг быстро росло. В *Словаре польской эмигрантской литературы*, увидевшем свет в 1989 году, Ян Зелинский называет цифру 500 томов⁶. Среди них были также переводы русской литературы, которые открывает *Доктор Живаго* (1958). Появились тексты Абрама Терца, антология современной русской литературы (1963), запись процесса А. Синявского (1966), многие произведения Солженицына (*В круге первом* — 1970, *Раковый корпус* — 1971, *Архипелаг ГУЛаг* — 1974–75)⁷, сборник стихов Н. Горбаневской, известный труд М. Геллера *Русская литература и концентрационный мир*.

Тексты русских авторов третьей эмиграции и самиздата в польских переводах печатались также в лондонских издательствах «Контра» (Венедикт Ерофеев) и Polonia Book Fund (М. Геллер, А. Некрич, *Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней*). Произведения А. Солженицына, Виктора Суворова (*Акваариум*) вышли в парижском Editions Spotkania, а в издательской серии ежеквартальника «Zeszyty Literackie» были опубликованы стихотворения и эссе И. Бродского⁸. В парижской «Культуре» постоянную рубрику *В советской печати* вел под псевдонимом Адам Кручек русский эмигрант Михаил Геллер⁹.

Тексты эмигрантов и материалы, посвященные СССР, — культуре, политике, литературе — появлялись также в других польских эмигрантских журналах, таких, как «Wiadomości», «Aneks»,

⁵ «Континент», 1974, № 1, с. 273–274.

⁶ J. Zieliński. Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin, 1989, с. 147.

⁷ M. Danilewicz-Zielińska. Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż..., с. 386.

⁸ A. Dziadek. Życie literackie. Instytucje kulturalne na emigracji. 1939–1989 // Literatura emigracyjna. 1939–1989. T. 2. Katowice, 1996, с. 140–149.

⁹ J. Kowalik. «Kultura» 1947–1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 — maj 1959). Paryż, 1959; M. Danilewicz-Zielińska. Bibliografia. «Kultura» (1958–1973). «Zeszyty Historyczne» (1962–1973). Działalność wydawnicza (1959–1973). Paryż, 1975; M. Danilewicz-Zielińska. Bibliografia. «Kultura» (1974–1980). «Zeszyty Historyczne» (1974–1980). Działalność wydawnicza (1974–1980). Paryż, 1981; M. Danilewicz-Zielińska. Bibliografia. «Kultura» (1981–1987). «Zeszyty Historyczne» (1981–1987). Działalność wydawnicza (1981–1987). Paryż, 1989.

«Spotkania», «Libertas», «Kontakt», «Puls» и «Zeszyty Literackie», в состав редакции которого входил Иосиф Бродский.

Огромную роль в ознакомлении русской эмиграции и жителей метрополии с польскими событиями, связанными с возникновением «Солидарности» и военным положением, играла парижская газета «Русская мысль». Ни одна из иностранных газет не писала о ситуации в Польше столь много и с такой симпатией.

В «Русской мысли» 28 августа 1980 года была напечатана переданная телеграфным агентствам телеграмма Солженицына *Бастующим польским рабочим*: «Восхищаюсь вашим духом и достоинством. Вы даете высокий пример всем народам, угнетенным коммунистами. Ваш Александр Солженицын»¹⁰. 11 декабря 1980 года «Русская мысль» опубликовала вызванное сгущением признаков подготовки советского вторжения высказывание Солженицына *Об угрозе Польше*: «Кровавые последователи Ленина продолжают ломиться за своей несбыточной мечтой покорить мир — не считая, сколько народов, чужих и своих, будет перемолото и опозорено в той мясорубке. В эти дни сердце подневольного русского народа — вместе с польским»¹¹.

Среди польских авторов в эмиграции были талантливые переводчики с русского. За тексты писателей третьей волны эмиграции и сам-издата первыми взялись Ежи Стемповский и Юзеф Лободовский, которые перевели *Доктора Живаго*. Лободовский перевел стихи к роману, а кроме того тексты А. Терца (Синявского), включенные в сборники *Суд идет. Что такое социалистический реализм*, *Мысли врасплох* и *Фантастические рассказы* (совместно с Александром Ватом, псевдоним С. Бергхольц). Этому переводчику поляки обязаны знакомством с романом Солженицына *Раковый корпус*, а в *Круге первом* и *Архипелаг ГУЛАг* были переведены Ежи Помяновским, известным по псевдониму как М. Каневски. Замечательные переводы стихов Бродского вышли из-под пера С. Бараньчака, который переводил также стихотворения Н. Горбаневской. Последняя в свою очередь имеет большие заслуги в популяризации польской поэзии в русской среде. Ее переводы текстов Чеслава Милоша (*Поэтический трактат*) и Герлинга-Грудзинского (*Другой мир*) печатались в журнале «Континент»¹².

Вопрос «русская эмиграция третьей волны и поляки» входит в более широкую тему — «русская культура и Польша», которая в

¹⁰ А. Солженицын. Собрание сочинений. Вермонт–Париж, т. 10, 1983, с. 393.

¹¹ Там же, с. 395.

¹² W. Woroszyński. Natasza // N. Gorbaniewska. Nic nie będzie dziwnego / Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył W. Woroszyński. Kraków, 1997, s. 7–8.

свою очередь является частью еще более обширной проблемы — «Россия и Польша». Интерес поляков к России и русским может иметь разные мотивировки и принимать различные оттенки. Он может быть индивидуальным, групповым, национальным, может действовать стихийно или на основе разработанной программы (например, деятельность Общества польско-советской дружбы). Восприятие творчества русских эмигрантов третьей волны в Польше показывает, что у поляков настоящий интерес к русской культуре не зависит от политической обстановки. Он свидетельствует о том, что поляки русскую культуру, ту, которая стала достоянием всего мира, умели отделить от продукции чиновников от литературы, пропагандирующих идеологию советизма. Это общее утверждение не касается исключительно писателей эмиграции, но также авторов из метрополии. Исходя из темы настоящей работы, мы концентрируем свое внимание только на писателях эмигрантах и произведениях самиздата.

Интерес к русской культуре возродила эпоха перемен, вызванных изменениями в сознании людей в конце 70-х и начале 80-х годов. Мы остановимся сейчас на чрезвычайно важном и показательном явлении, которое иллюстрирует факт беспристрастного, широкого интереса поляков к русской культуре, к России, к русским. Это годы 1980–1984, период военного положения в Польше, когда власти пугали угрозой вооруженной интервенции со стороны СССР. Может показаться странным, что в ту эпоху, когда в Польше в многочисленных публикациях рассматривались наиболее существенные проблемы страны, ее истории и современности, когда читатель смог впервые прочесть тексты, ранее от него скрываемые, у него возникло желание шире и глубже познакомиться с нашим восточным соседом.

Из официальных источников об этом народе и об этой стране можно было узнать не слишком много интересного. Это отнюдь не значит, что о России и СССР не писали. Наоборот, писали слишком много, но не таких информаций ожидал читатель. Его не могла заинтересовать ни идеологическая бессмыслица и новояз газет, ни напыщенные, помпезные и приукрашенные картинки из ненастоящей жизни СССР, которые показывали по телевидению (кстати, их готовили польские журналисты, аккредитованные в Москве), ни скучные путеводители типа *Moskiewskie ABC*.

Полки наших магазинов гнулись под тяжестью переводов с русского — никто не хотел покупать произведений второразрядных (а нередко и третьеразрядных) писателей. Зато книги известных авторов, которые нередко выпускались малыми тиражами, произведения таких писателей, как Ахматова, Цветаева, Мандельштам,

Пастернак, Булгаков, Окуджава, Шукшин продавались из-под прилавка. Этих писателей, хотя и выборочно, печатали официально.

В официальной структуре не было места для писателей эмиграции: такие авторы, как Солженицын, Бродский, Зиновьев, Максимов, Войнович могли появиться только в самиздате. Польский самиздат (*drugí obieg nieoficjalny*) показывает, как возникает интерес к России, ее истории, современности, к политике и культуре, к литературе, философской и религиозной мысли. Публикации польского самиздата позволили наверстать упущенное в нашем знании о русской литературе. Впервые можно было познакомиться с текстами, известными лишь понаслышке, без которых, однако, картина русской литературы нашей эпохи была бы неполной, и даже больше — неправдивой, извращенной, фальсифицированной.

Среди писателей третьей волны эмиграции особое место принадлежало Солженицыну, и его тексты нужно было прежде всего донести до польского читателя. В Польше судьба его произведений была аналогична советской: в либеральную эпоху польского Октября (синоним русской оттепели) появился его *Один день Ивана Денисовича* и другие рассказы, а потом наступило молчание. Творчество писателя подвергалось нападкам и получало лишь критические оценки, выносимые, как правило, на основании переводов с русского.

В начале 80-х годов в самиздате появились у нас литературные произведения Солженицына — вся его малая проза, драма *Олень и шалашовка*, фрагменты *Бодался теленок с дубом* и, конечно же, *Архипелаг ГУЛаг*. Вышли также его публицистические тексты: *Письмо вождям Советского Союза* ¹³, *Речь в Гарварде* ¹⁴, *Телеинтервью в Париже* и *В газету «Афтенпостен»* ¹⁵.

Тогда же в самиздате появились полемические тексты о публицистике Солженицына и ответ писателя ¹⁶. Было также опубликовано критическое по отношению к Солженицыну интервью А. Синявского журналу «Le Monde» ¹⁷. Из других писателей третьей эмиграции в самиздате печатался А. Терц. Это были, как и в случае большинства произведений Солженицына и других авторов, перепечатки парижских публикаций Литературного института, которые

¹³ В издательстве NZS был перепечатан текст Солженицына, опубликованный в эмигрантском журнале «Aneks» 1974–1975, № 7–8.

¹⁴ Zmierzch odwagi. «Biblioteka Literacka», без указания места и года издания.

¹⁵ Оба в сборнике: Pokój i przemoc, — Przeciw niewolnictwu. Głos wolnej Rosji, «Signum».

¹⁶ A. Solżenicyn, A. Sacharow. Polemika wokół Listu do przywódców Związku Radzieckiego Solżenicyna. 1973–1974, «Niezależna Oficyna Wydawnicza». Warszawa, 1981.

¹⁷ «Zapis», 1980, № 15.

много сделали для пропаганды русской литературы в Польше. Появились фрагменты *Саги о носорогах* В. Максимова¹⁸.

Несколько раз в разных журналах помещались публицистические тексты А. Зиновьева из тома *Мы и Запад*¹⁹. Были опубликованы большие фрагменты *Светлого будущего*²⁰, появилось несколько статей о произведениях Зиновьева²¹.

Были переведены также пьеса А. Амальрика *Конформист ли дядя Джек*, *Стихи и поэмы* Бродского, стихотворения Н. Горбаневской²². Большим успехом пользовались также опубликованное в самиздате произведение В. Ерофеева *Москва-Петушки*, *Доктор Живаго*, *Колымские рассказы* Шаламова, эмигрантское издание стихов Г. Айги (переводы В. Ворошильского).

Из публицистических текстов эмигрантов следует назвать *Проществовал ли Советский Союз до 1984 года* А. Амальрика и его же *Идеологии в советском обществе*, текст В. Буковского *Пацифисты против мира*²³, а также эссе выдающегося критика А. Белинкова *Сдача и гибель советского интеллигента*.

Одним из важных источников знаний о России и СССР были работы Геллера и Некрича. Религиозной жизни были посвящены тексты Левитина-Краснова²⁴.

В начале 80-х годов немалую роль в ознакомлении поляков с русской литературой эмиграции третьей волны сыграли польские русисты. Первое место среди них принадлежит Анджею Дравичу. Прежде всего следует назвать его обзорные работы: *Заграничная Россия*²⁵, *Вольная литература*²⁶. Его тексты об отдельных писателях и произведениях авторов третьей волны появлялись во многих подпольных журналах этого времени.

¹⁸ «Zapis», 1980, № 15; «Miesięcznik Małopolski», 1984, № 3.

¹⁹ *My i Zachód*. Kraków, 1983; *Rosja i Zachód*. Kraków, 1984; *Rosja i Zachód..* Warszawa, 1984. См. (L. Suchanek). *Polskie przekłady A. Zinowiewa* // *Miesięcznik Małopolski*, 1984, № 9–10, s. 108–109).

²⁰ *Świetlana przyszłość*. Wydawnictwo Społeczne KOS. Warszawa, 1984.

²¹ *Azet* (L. Suchanek). *Filozofia radziecka, filozof radziecki i A. Zinowiew* // *Miesięcznik Małopolski*, 1983, № 1–2, s. 51–56; *R. Zimand*. Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Warszawa, 1982; *J. S.* (Janusz Sławiński), *R. Z.* (Roman Zimand), *L. S.* (Lucjan Suchanek). *Zamiast wstępu. Rozmowa o A. Zinowiewie* // *Rosja i Zachód*. Warszawa, 1984, s. I–XX.

²² «Miesięcznik Małopolski». 1984, № 3.

²³ *Pacyfiści kontra pokój*. «Biblioteka Wolnej Myśli». Kraków, 1983.

²⁴ *Religia państwa w państwie bez religii*. «Obóz», 1981, № 2.

²⁵ *Rosja zagraniczna (jej książki, ludzie, czasopisma, idee)* // *A. Drawicz*. *Pytania o Rosję*. «Kraąg». Warszawa, 1981, s. 10–22.

²⁶ *Wolna literatura*. «Kurs», 1983, № 4, s. 16–26.

Важным событием в университетской жизни была научная конференция «Лики России», которая состоялась в Ягеллонском университете 11–12 декабря 1981 года. Конференция была посвящена А. Солженицыну в связи с его шестидесятилетием. Юбиляру было отправлено поздравительное письмо.

Краковская конференция была первым в Польше научным мероприятием, на котором говорилось об авторах, чьи имена нельзя было раньше публично упоминать. Она имела громадный успех. Кроме научных сотрудников и студентов в ней участвовало много школьников и вообще жителей Кракова. Зал был набит до отказа, часть людей слушала выступления в коридоре. Потом только один раз удалось собрать в актовом зале университета такое количество слушателей: примерно столько же пришло тогда, когда в Ягеллонском университете выступил первый раз проживающий до сих пор за границей лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош.

Конференция закончилась 12.XII. 1981 года, а 13 было введено военное положение, один из ее участников — А. Дравич был интернирован.

Большинство выступлений касалось творчества писателей эмиграции третьей волны и самиздата. О творчестве Солженицына говорили А. Дравич (*Александр Исаевич Солженицын — человек, творчество, дело*), и Г. Пшебинда (*Приказ убить: почему не был опубликован Раковый корпус А. Солженицына*), о Шаламове — А. Разны (*Варлам Шаламов и мир Колымы*), о Максимове — Р. Лужны (*Владимир Максимов и другие. Религиозное течение в современной русской литературе*), Л. Суханек — о Зиновьеве (*Александр Зиновьев и «светлое будущее»*), М. Кунински — о Амальрике (*Амальрик и 1984 год. Политическая социология и профетизм*)²⁷.

Неофициальные издательства работали у нас до 1989 года. За это время в польском самиздате появились другие произведения писателей русской эмиграции третьей волны. Потом популяризацию русской литературы взяли на себя официальные издательства (в том числе и частные), а также журналы («Literatura na świecie»). Переиздавались тексты, которые раньше ходили по рукам в плохой полиграфической самиздатской форме или издавались в польских эмигрантских издательствах. Начали появляться новые переводы — отдельными книгами и в журналах²⁸.

²⁷ Доклады были опубликованы в самиздате: Oblicza Rosji. Lublin, 1987.

²⁸ Данные (неполные) о Бродском, Войновиче и Галиче в Польше содержатся в книге: И. Рудзевич. Русские писатели-эмигранты в Польше. СПб., 1994.

В настоящее время из текстов Солженицына не переведена лишь эпопея *Красное колесо*. Вышли все основные тексты Шаламова. Появилось несколько книг Войновича: *Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина*, Москва 2004, *Шапка*, *Трибунал*. *Судебная комедия*. Опубликованы *Заглянуть в бездну* В. Максимова, *Верный Руслан* Г. Владимирова, *И сотворил себе кумира* Л. Копелева, *И возвращается ветер* и *Письма русского путешественника* В. Буковского, рассказы Сергея Довлатова. Многократно печатались тексты И. Бродского (стихи, эссе, *Мрамор*), вышел новый сборник стихов Н. Горбаневской.

В польской университетской русистике русская эмигрантская литература третьей волны и тамиздата занимает важное место. В Ягеллонском университете работает исследовательская группа «Литература русского зарубежья и самиздата». В ее состав входят: Л. Суханек — руководитель, А. Разьны, Л. Либурска, А. Дудек, Х. Ковальска, К. Петшица-Бохосевич, К. Дуда. Результатом ее деятельности являются три коллективных труда: *Emigracja i tamizdat* ²⁹, *Dać świadectwo prawdzie* ³⁰, *Realności i postmoderniści* ³¹. Вышли также две монографии: Л. Suchanek, *Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta* ³² и К. Duda, *Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku* ³³.

Литературе третьей эмиграции посвящена книга: А. Wołodźko, *Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji* ³⁴. Много материала по этой теме содержат книги: Т. Klimowicz, *Obywatele Arkadii* ³⁵ и его же: *Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996)* ³⁶. Особое место занимает книга: *Aleksander Sołżenicyn i Polska* ³⁷.

²⁹ *Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej* / Red. L. Suchanek. Kraków, 1993.

³⁰ *Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich* / Red. L. Suchanka. Kraków, 1995.

³¹ *Realności i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych* / Red. L. Suchanek. Kraków, 1997.

³² *L. Suchanek. Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta*. Kraków, 1994.

³³ *K. Duda. Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku*. Kraków, 1995.

³⁴ *A. Wołodźko. Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji*. Warszawa, 1995.

³⁵ *T. Klimowicz. Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917*. Wrocław, 1993.

³⁶ *Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996)*. Wrocław, 1996.

³⁷ *Aleksander Sołżenicyn i Polska*. Pod red. J. Litwinowa. Poznań, 1997. См. также: *Rosyjska literatura emigracyjna. Styl, język, poetyka*. Red. W. Piłat. Olsztyn, 1992.

Фрагменты, посвященные литературе третьей эмиграции, содержатся в двух учебниках: G. Poręba, S. Poręba, *Historia literatury rosyjskiej 1917–1991* ³⁸ и *Historia literatury rosyjskiej XX wieku* ³⁹. Фрагменты текстов писателей третьей волны включает *Antologia wolnej literatury rosyjskiej* ⁴⁰.

Невозможно перечислить все тексты русских писателей третьей волны эмиграции, переведенные на русский язык, как невозможно назвать все польские работы, посвященные этой проблематике. Уже этот неполный обзор показывает, какое важное место в культурной жизни поляков играет русская литература. Ее популярность позволяет нам прийти к выводу, который сам напрашивается: лучший путь к сближению народов ведет через культуру.

³⁸ G. Poręba, S. Poręba. *Historia literatury rosyjskiej 1917–1991*. Katowice, 1994.

³⁹ *Historia literatury rosyjskiej XX wieku* / Praca zbiorowa pod red. A. Drawicza. Warszawa, 1997.

⁴⁰ *Antologia wolnej literatury rosyjskiej* / Pod. red. A. Drawicza. Warszawa, 1992.

Польша в сознании поколения оттепели

О понятии «поколение» и о поколении оттепели.

В польском литературоведении, особенно после Казимежа Выки, термин «поколение» стал не только общепризнанным научным термином, но термином продуктивным и эвристичным, важным инструментом анализа любых эпох, будь то современность или начало века (два поколения «Молодой Польши») или даже поколение Сэмпя Шажиньского и Себастьяна Грабовецкого — в книге Яна Блоньского о Сэмпе — между поколениями Яна Кохановского и поэтами барокко. У нас до недавнего времени слово «поколение» некоторые считали «ненаучным», а слово «поколенческий» вообще отсутствует в словарях русского литературного языка (как, впрочем, и в польских словарях — слово «*rokoleniowy*»). В первых моих статьях о польской литературе наши журналы неохотно пропускали мне это слово, пока, наконец, не привыкли. Но в литературной и общественной жизни России понятие «поколение» часто оказывалось важным, иногда — важнейшим, особенно в переломные моменты истории, таков был, после смерти Николая Первого, конфликт «людей 40-х годов» и «людей 60-х годов».

Поколение оттепели формировалось у нас в 1954–1960 годах, хотя дебютировать и войти в литературу многим моим ровесникам, поэтам и прозаикам, удалось лишь значительно позже, некоторым — после 1985 года, а некоторым — лишь посмертно. По возрасту это люди 1930-х годов рождения, начиная с 1930-го и кончая 1938-м, возрастные границы — абсолютно те же самые, что и у польского «поколения 56» (от Уршули Козел и Станислава Чича до Эдварда Бальцежана). Но иным, нежели у наших польских ровесников, было содержание творчества нашего поколения оттепели. Иными были судьбы. Иной была ситуация поколения в литературной и общественной жизни последующих лет. Иной остается и ситуация нашего поколения в литературоведении.

Литературный процесс второй половины 50-х и начала 60-х наши литературоведы, литераторы, читатели все еще представляют себе неполно, неточно, неверно, хуже, чем какое бы то ни было десятилетие XIX века. Особенно это касается Ленинграда. В данной аудитории, наверно, нет нужды объяснять, почему. Ленинград и Москва — это почти то же, что Краков и Варшава, при всех, конечно, и различиях этих двух противостояний. Москвичи привыкли думать, что все писалось и пишется в Москве, лишь Нобелевская премия Иосифа Брод-

ского в 1987-м вывела их из этого приятного заблуждения. В трехтомнике московского критика Сергея Чуприна «Оттепель» (Москва, 1989–1990) Ленинград представлен лишь 5-ю стихотворениями Ольги Берггольц из московского «Нового мира» 1956 года. Сейчас наметились сдвиги. В Ленинграде вышла в 1990-м антология ленинградских поэтов оттепели (правда, тираж 25 тысяч экз. в Ленинграде же и разошелся). В Москве Эдмунд Иодковский в издававшейся им два года, в 1992–93-м, газете «Литературные новости» начал публиковать антологию поэтов оттепели — и москвичей, и ленинградцев, он дошел до буквы «К», но погиб в автокатастрофе. Поколением оттепели открывается антология «Поздние петербуржцы», выпедшая в нео-Петербурге в 1995-м. В «Вопросах литературы» (1995 вып. IV) и в «Новом литературном обозрении» (1995 вып. 14) вышли два моих больших текста о ленинградской оттепели: глава из воспоминаний и статья. Только что «шестидесятым годам» посвятила целый номер «Звезда» (1997 № 7), во вступительной заметке редакция определяет «шестидесятые» как годы между 1956-м и 1968-м.

Поколению оттепели в жизни нашей страны — в жизни литературной, идеологической, общественной, всякой — непосредственно предшествовало «военное» поколение, поколение участников войны. В литературе оно явилось в первые же послевоенные годы, в годы очень короткой «как бы оттепели», сменившейся тут же жестким идеологическим зажимом. Явилось оно тогда не целиком, а только частью. Другая часть «военного поколения» входила в литературу в середине 50-х годов, одновременно с нами, с некоторыми из нас, «первенцами» поколения оттепели. Давид Самойлов, осенью 1960-го писавший мне рекомендацию в Союз Писателей, сам был принят в Союз лишь двумя годами ранее, а наши первые книжки вышли в одном и том же — 1958-м. Между поколением оттепели и «военным» поколением грань — только возрастная, конфликта не было, мы относились к ним с уважением, они к нам, многие из них, — доброжелательно. Среди них не было «русского Ружевича», который совершил бы «поэтическую революцию», но двое из них были авторитетны для нас: Самойлов и Слуцкий. И здесь я могу, наконец, произнести слово «Польша», потому что — и, может быть, не случайно — именно эти два поэта — авторы двух самых ярких и значительных поэтических текстов о Польше в нашей поэзии 2-ой половины века.

У Самойлова нас — и меня, и других — восхищали мощные стихи о царе Иване, это было не просто иносказание о сталинщине, ведь Иван Грозный — архетип и кумир российского тоталитаризма. Поэму же Самойлова «Ближние страны» и ее варшавскую

главу я по-настоящему оценил позже, в 60-х и 70-х, когда всерьез занялся современной историей Польши, хотя надпись на книге Самойлова, подаренной мне, датирована апрелем 1959-го.

Но ориентиром был все же Слуцкий, более резкий и диссонансный; его тонический стих, его косноязычие и корявость больше привлекали. Со Слуцким я познакомился и провел целый день в беседах с ним в начале августа 1956-го в Москве, он уделил мне этот день целиком, поскольку видел во мне тогда лидера лининградской поэтической молодежи. В августе 1956-го оттепель развивалась еще по восходящей, вскоре начались и первые «заморозки».

«Оттепель» — словечко Эренбурга. Так мы думали тогда. Лишь много лет спустя, из переписки Аксаковых, я узнал, что «оттепель» — это словечко Тютчева, сказанное им о первых месяцах после смерти Николая Первого. Тютчев в 1856-м продолжал сомневаться, что можно «вечный полюс растопить». Эренбург тоже был старым скептиком. Мы, молодые, были уверены — в 1954-м, в 1955-м, в первой половине 1956-го, — что наступает не «оттепель», а весна. Прав оказался Эренбург (или Тютчев?), но мы еще долго не хотели соглашаться. Ища подтверждения нашей правоты или хотя бы нашей веры и надежды, мы и повернули головы к Польше, которая стала для нас недостижимым идеалом свободы.

Польша привлекла всеобщее внимание в нашей стране — ненависть одних, сочувствие и восхищение других — событиями в Познани летом 1956-го и «польским октябрём», сколь ни скудны были у нас сведения об этих событиях. Молодой математик Револьт Пименов, руководитель группы, арестованной в Ленинграде в начале 1957-го, вдохновлен был «польским октябрём», переводил статьи из польских журналов. Процесс Пименова и другие политические процессы в 1957 году показали слабость и обреченность оттепели. Тем больший восторг вызывала соседняя Польша.

Взоры поэтов повернул к Польше Борис Слуцкий, своим знаменитым стихотворением о поэзии и Польше:

Покуда над стихами плачут,
Пока в газетах их порочат,
Пока их в дальний ящик прячут,
Покуда в лагеря их прочат, —

До той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
Хоть выдержала три раздела...

Слущкий обычно читал мне свои стихи вслух. Но это — совсем свежее — стихотворение он дал мне — в июле 1957-го — прочесть глазами, явно рассчитывая на мою — феноменальную в те годы — память, на то, что я запомню его целиком и прочту своим ленинградским товарищам. Я запомнил, прочел, мои товарищи ахнули. Но по-настоящему «судьбоносным», как теперь говорят в России, это стихотворение стало для меня: оно стало напутствием, девизом, эпитафией моей многодесятилетней работы переводчика и исследователя польской поэзии.

«Польша была нашей поэтикой», — сказал где-то Бродский. Это, конечно, метафора, смысл в эту фразу нужно вкладывать широкий, а не такой примитивный, что польская поэзия влияла на поэтику наших поэтов поколения оттепели и моложе. Польская поэзия помогала нам не образцами поэтики, а самим своим существованием. «Без Норвида я бы не выжил», — выразился Айги. Норвид был для Айги не поэтической, а *нравственной* опорой. Такой нравственной опорой были и для меня многие польские поэты, которых я читал, о которых писал, которых переводил, с которыми общался.

Среди моих ленинградских ровесников с польского в разные годы жизни переводил — и стихи, и прозу — Виктор Соснора. Из польских современников он особенно высоко ценит позднюю поэзию Тымотеуша Карповича («Я ничего подобного не знал в европейской литературе. Очень могучее воображение!» — говорил он мне), из более молодых ему нравились Стахура (как прозаик), Воячек. Книжечку своих переводов из польских поэтов издал и подарил мне другой ленинградец — Сергей Тхоржевский. Половину книжечки составляют переводы из Витольда Домбровского, с которым Тхоржевский дружил, по приглашениям которого дважды гостил в Польше (третий раз, в 1976-м, его не пустили). Тхоржевский — прекрасный прозаик. Хочу обратить внимание в данной аудитории, что в варшавском «Словаре русских писателей» 1994 года Тхоржевского нет. (Нет в этом словаре и выдающегося прозаика поколения оттепели ленинградца Виктора Голявкина, нет ленинградских поэтов поколения оттепели, таких, как Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Владимир Уфлянд).

У Тхоржевского — польские корни. У Сосноры отец был поляк. У меня мать была полька. По-польски она уже не говорила, прожив всю жизнь среди русских и русскоговорящих, и то, что мать была полька, осталось бы лишь деталью моей анкеты, если бы польская поэзия не стала для меня делом жизни, если бы я не почувствовал, что моя «польскость» — это не привилегия, а ответственность. Долг. Долг перед моими ровесниками,

не видевшими Польши. Долг перед польскими друзьями, которые появились у меня в первый же приезд, летом 1963-го, и которые увидели во мне посланца нашей оттепели.

Вернее, не во мне, а в нас. Мы приехали вдвоем. Польшу принесла мне в приданое Наталья Астафьева, выдающаяся русская поэтесса польского происхождения. Весной 1958-го она стала моей женой, а осенью того же года, впервые после 30-летнего отсутствия, побывала в родной Варшаве. Дебютировать, будучи дочерью «врагов народа», она могла лишь в 1956-м. В 1963-м в Варшаве в ПИВ-е вышел составленный Ворошильским томик русских стихов Астафьевой в переводах польских поэтов и переводчиков. В России у нее вышло к тому времени две книги, как и у меня. Мы были «молодыми поэтами». Впрочем, в антологии Яна Спевака «*Młode głosy*», изданной им в 1965-м, рядом с нашими стихами — стихи Самойлова, даже Бокова: «молодыми» тогда еще казались чуть ли не все поэты, начавшие печататься после смерти Сталина.

В Варшаве нас были особенно рады видеть все переводчики русской поэзии, все, кто интересовался Россией и русской литературой, таких было много. Мы были у Ворошильского, у Спевака и Каменьской, у Слободника, у Полляка, встречались с Вачковым и Литвинюком, нанесли визиты Анатолию Стерну и Антонию Слонимскому.

Но моим тайным желанием, с которым я ехал в Варшаву, было познакомиться с моими ровесниками — польскими поэтами «поколения 56». В тот первый приезд я познакомился лишь с одним из них — с Марианом Гжещак. Гжещак вполне отвечал моему представлению об этом поколении. Замечу, что именно Гжещак написал потом — единственную в польской художественной литературе — книгу о Познанском восстании: «Одиссея, одиссея» (Варшава, 1976). В составленном мной сборнике польских поэтов «поколения 56» — «Из современной польской поэзии. Гроховяк, Харасымович, Посвятовская, Гжещак» (Москва, 1979) я переводил Гжещака, на пару с Владимиром Буричем, который Гжещака тоже знал лично. Гжещак был одним из переводчиков моей польской книги, вместе с Вачковым и Литвинюком.

С другими польскими поэтами «поколения 56» я познакомился в последующие годы: с Новаком и Харасымовичем, с Уршулей Козел, с Лукасевичем и Бальцежаном, со Станиславом Чичем и Ярославом Марекком Рымкевичем... Все они оказались несколько иными, чем я ждал, иными, чем мои российские ровесники. Я научился ценить их такими, как они есть, научился на этом примере не искать чересчур прямых и простых параллелей между нашими литературами, поколениями, отдельными фигурами.

Но с одним еще поэтом «поколения 56» я столкнулся в первый же приезд, в 1963-м. Это был Эрнест Брыль. Издательство «Искры» пригласило на встречу с молодыми московскими поэтами, с Астафьевой и со мной, молодых варшавских поэтов. Среди них с наибольшим апломбом высказывался Брыль.

— Вы, русские, никогда нас не поймете, — заявил он, — у вас не было Кохановского!

Действительно, в XVI веке у нас не было Яна Кохановского. Зато в XII веке был Кирилл Туровский (в уже упомянутом варшавском «Словаре русских писателей» он, слава Богу, есть!). А в XIV веке был Андрей Рублев. А в XX веке — автор фильма о Рублеве Андрей Тарковский.

Но я благодарен Брылю. Его пафос заставил меня почувствовать, что путь к пониманию поляков лежит через понимание Кохановского. Что знанием польской культуры двадцатого века или двадцатого плюс девятнадцатый не обойдешься. В ближайшие же годы я купил — в московском книжном магазине «Дружба» — двухтомник полного Кохановского и двухтомник поэтов польского барокко (*такого* барокко у нас в поэзии тоже не было), а в 70-х годах в «Вопросах литературы» появились и моя статья о поэзии польского барокко, и статья о Кохановском, переведенная впоследствии на польский язык.

В «Вопросы литературы» я пришел весной 1966-го. После двух поездок в Польшу я был переполнен впечатлениями польской поэзии, мне не терпелось поделиться ими. Я написал обзор современной польской поэзии как бы «на полях» первых шести номеров начавшего тогда выходить в Польше журнала «Роежя». Позже это был журнал Дроздовского, но первые годы это был журнал поэтов. Моя статья так и называлась — «Журнал поэтов». Ее тут же отдали в набор, а когда она появилась, Анджей Дравич звонил в редакцию, благодарил и поздравлял, а газета «Życie Warszawy» — случай, кажется, беспрецедентный, напечатала сокращенный перевод моей статьи.

В конце оттепели и в первые годы «застоя», очередного «подмораживания» России, сменившего оттепель, журнал «Вопросы литературы», довольно либеральный, был одним из оазисов. Я писал у них о творчестве Леца, о польском авангарде, о Стаффе — все шло как по маслу. Заместитель главного (он сейчас — главный, это критик Лазарь Лазарев) вычеркивал из моей статьи одну фразу, чтобы главный знал, что заместитель прочел, а потом главный вычеркивал еще одну фразу, чтобы вся редакция знала, что он статьи прочитывает. Но идиллия кончилась. Добродушного главного сменил другой, более

жесткий, и мое сотрудничество с журналом прервалось лет на пятнадцать, аж до 1991 года, до моей статьи о Милоше.

После нескольких моих статей в «Вопросах литературы» ко мне подошли на какой-то встрече Борис Стахеев и Виктор Хорев. Они тогда ходили вместе: Стахеев — участник войны и Хорев — мой ровесник. Вместе они и предложили мне написать что-нибудь для «Советского славяноведения», я написал статью «Польские романтики о польском барокко» (1972, № 1).

Переводил же я польских поэтов XX века, чаще — второй половины века. (Американцев я тоже переводил лишь XX века, за исключением Уитмена, впрочем, и он принадлежит скорее XX веку.)

Для переводчика зарубежной поэзии у нас было два поля деятельности. Журнал «Иностранная литература», где с 1970 года существовал отдел поэзии и печатались большие поэтические циклы с предисловиями переводчиков. И издательства, где время от времени издавали томик какого-нибудь поэта или сборник, антологию. В журнале польскую поэзию, кроме Натальи Астафьевой и меня, представлял мой ровесник Асар Эппель. В издательствах, кроме нас и Эппеля, появился еще один мой ровесник — Анатолий Гелескул: в 60-х годах он переводил только испанцев, в 70-х — также и поляков. Раньше, чем другие мои ровесники, с начала 60-х годов, публиковал переводы с польского Владимир Бурич. В 1967 году, в томике Галчиньского, появились и переводы более молодого, чем мы все, Иосифа Бродского.

Поколение оттепели дало яркую плеяду переводчиков зарубежной поэзии. Годами расцвета поэтического перевода стали годы застоя. Люди, успевшие в годы оттепели опубликовать свои первые книги, возможности публиковать свои дальнейшие книги лишились лет на десять–пятнадцать, как Астафьева или я. И могли присутствовать в литературе лишь переводами. А люди, не успевшие до конца оттепели опубликовать что-то свое, изначально могли существовать на «поверхности» литературы только как переводчики, свои же книги они публиковали и публикуют после 1985-го, как давний переводчик польской поэзии, ныне прозаик Асар Эппель. Или Андрей Сергеев, известный переводчик англоязычной поэзии, а ныне — прозаик. А Марк Самаев, известный переводчик испаноязычной поэзии, умер в 1986-м, не опубликовав ни строки своих стихов, книгу его стихотворений и поэм издал посмертно его младший брат, физик-теоретик, попросив меня написать предисловие.

В содружестве, в соревновании, даже в соперничестве с мастерами, ровесниками или старшими (бок-о-бок с нами продолжал

работать Самойлов, переводил с польского и Слуцкий, переводчиком по складу он не был, но близких ему поэтов переводил иногда очень хорошо) работать было интересно. Были «черные списки» (между первой и второй публикациями Херберта в журнале «Иностранная литература», 1973-м и 1990-м, — 17 лет). Были «темные люди» (и в редколлегии, и в руководстве издательств). И все-таки переводческая работа приносила радость. И нам. И нашим читателям. И переводимым нами поэтам.

В моих поездках в Польшу (а я бывал там много раз) главным для меня были встречи с поэтами. Не каждый поэт выигрывает при личном знакомстве, не каждый оказывается столь же интересным, столь же глубоким, я уж не говорю, столь же приятным, как его стихи. Не каждый польский поэт оказывался такой тонкой и красивой натурой, как аристократ Збигнев Херберт, потомок знатного английского рода, дававшего и графов и великопленных английских поэтов и философов. Или как крестьянин Тадеуш Новак, творчество и сама личность которого — изысканный цветок на тысячелетнем древе польской крестьянской культуры. Но встреча и с каждым другим польским поэтом (а таких встреч было без числа) была важной. Важной не только для того, чтобы переводить этого поэта или писать о нем. Каждая такая встреча раскрывала что-то еще в польском национальном характере, ведь поэзия веками была — и в XX веке оставалась — главным способом самовыражения польской нации, главным жанром польской культуры.

Перевод поэзии требует вдохновения и мастерства, но также — знаний. Наше поколение в школьные и студенческие годы было отгорожено железным занавесом и запретами от многих знаний о мировой культуре. Отсюда — наперекор — страсть нашего поколения к познанию. Я лично эту поколенческую страсть в значительной мере вложил в познание польской культуры.

Многое в моем ощущении Польши и польской культуры связано с моим и только моим личным опытом. Попытаюсь обозначить то общее, что было в ощущении Польши не моим лично, а *нашем*.

Восприятие Польши в сознании моем и моих ровесников менялось во времени. В первую очередь, вначале Польша была для нас окном в свободу. Во вторую очередь, позже она была для нас окном в Европу. Но раньше или позже для всех нас Польша становилась окном в самое себя, окном в Польшу, в польскую культуру, одну из самых фундаментальных, многовековых европейских культур, но и остросовременную, и яркоцветущую культуру XX века.

Месяц назад я беседовал с моими земляками-ровесниками, поэтами Александром Кушнером и Евгением Рейном. Только что перед тем, в начале октября, они, оба одновременно, побывали в Польше, в Кракове, оба — впервые в жизни. Когда-то они, как и я и другие, боготворили Польшу как страну свободы, обожали фильмы Вайды. Теперь их обоих восхитил древний Краков, древний Вавель, древние краковские соборы, словом, и для них, теперь, в 1997-м, Польша стала окном в самое себя.

А когда-то первым, что пришло к нам и покорило нас, было великое польское кино. Говоря о польском кино, я должен максимально расширить объем моего «мы»: тут уж речь идет не только о поколении оттепели, а о многих возрастах — и старше, и моложе. Разумеется, мое «мы» — где более широкое, где более узкое — условно. Я вынужден говорить на своем примере. Но я был человеком того времени. В какой-то степени был «как все». Позже, с 1967-го, я переводил стихи Ивашкевича, перевел в итоге две или две с половиной тысячи строк, в 70-х и 80-х написал две большие статьи о его поэзии, в 90-х — предисловие к книге его прозы, где пытался анализировать тончайший, ускользающий от любого анализа рассказ «Мать Иоанна от Ангелов». Но вначале я — как все — увидел фильм Кавалеровича. Ивашкевич рассказывал в польской газете, как, приехав в Бухарест, он увидел по всему городу афиши: огромными буквами «КАВАЛЕРОВИЧ», а ниже, мелкими буквами «дупа Ивашкевич». «Дупа» по-румынски — «по»: «по Ивашкевичу». Ивашкевич отнесся к этому философски. Что делать, такова судьба любой, сколь угодно прекрасной прозы в век кино. Точно так же было с Анджеевским и Вайдой. В 1963–1965-м Анджеевский стал для меня, года на два, едва ли не главным прозаиком, а в 1990-м я написал предисловие к московскому двухтомнику Анджеевского, вместившему большую часть написанного им. Но когда-то, прежде чем прочесть «Пепел и алмаз» Анджеевского, я — как все — увидел фильм Вайды. А потом увидел остальные фильмы Вайды, от «Канала» до «Человека из мрамора», «Человека из железа», «Дантона», удалось нам посмотреть и театральную вайдовскую постановку «Дела Дантона» Пшибышевской, которую софийский театр привозил в Москву. Позже были и московские фестивали фильмов Вайды, и его выступления в Москве, на которые ломилась наша интеллигенция.

Польша была страной великолепного театра. Я не был театралом, Театралом я стал только в Варшаве. В Варшаве 1960-х. Здесь было столько разных театральных эстетик, от «Истории достославного Воскресения Господня» и «Жития Иосифа» Деймека до «Танго»

Мрожека-Аксера, а позже «Данте» Шайны. Театр Кантора мы узнали, к сожалению, слишком поздно и видели только в видеозаписях: в 1992-м два вечера подряд смотрели это чудо в Польском культурном центре в Москве, а год спустя — еще вечер. Помню и приезды польских театров в Москву, особенно гастроль Ханушкевича, он приезжал дважды, всем запомнился «Беневский» — когда московский зал, захваченный ритмом спектакля и игрой Ольбрыхского, хором подпевал песне Эрнеста Брылля «...по Украине...» — вот где пример коллективного гипноза! Отнюдь не все, кому полюбился польский театр, могли бывать в Польше, но поляков, приезжавших со спектаклями в Москву, в 70-х ли, в 80-х, в 90-х, ждал полный зал.

Однако еще больше было — и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах — читателей польской книги. Я видел их, толпящихся и перебирающих книги на полках магазина «Дружба». Были читатели детективов, были любители Лема, были знатоки, уже читавшие Шульца. Меня поначалу полностью захватил Анджеевский. «Врата рая» мы купили в Варшаве. В Ленинграде в тамошнем магазине «Дружба» (который отличался от московского и большим обилием польских книг, и большим умом и вкусом в их отборе) я купил сразу три книги — «Złoty lis», «Niby gaj», «Idzie skaczac po górach». В Москве чуть позже купил «Пепел и алмаз», а вскоре, в 1965-м, вышло в Москве и русское его издание, с предисловием Бориса Слуцкого. А вот повесть «Мрак покрывает землю» достать не удалось, пришлось читать ее в московской Библиотеке иностранной литературы вечерами. Анджеевский в тот момент был для меня, тоже ощущавшего себя участником крестового похода детей к вратам несуществующего рая, писателем самым своевременным, нужнейшим. И книга об инквизиции, и «Страстная неделя», и книга о художнике. А еще другое: Анджеевский был поэтом. Бывают такие неудавшиеся поэты, которые становятся выдающимися прозаиками. Не случайно все его книги названы микроцитатами из поэзии: из Норвида, из Мицкевича, из Гомера, из Ветхого Завета...

Многие польские прозаики — писатели европейского класса. И те, которых я успел видеть, как Стрыйковского (помню случайную беседу с ним в 1963-м, помню его гигантский вечер в варшавском костеле в 1986-м)... И те, кого давно уже не было в живых: Шульц, Виткаций, Гомбрович (долгие годы я знал только «Фердыдурке», но для оценки этого вполне достаточно).

Однако часть наших читателей искала в польских отделах магазинов «Дружба» польских переводов западноевропейской прозы. Магазины «Дружба» тоже были польским «окном в Европу». У меня на

полке «Портрет художника в щенячьем возрасте» Дилана Томаса стоит в польском переводе: Варшава, 1966, тогда же куплено в магазине «Дружба». А прототип этой книги — «Портрет художника в юности» Джойса удалось откопать, поискав, у букиниста в Варшаве, по-польски книга вышла еще в 1957-м, у нас — много позже. Разумеется, и «Улисса» мы привезли из Польши, и книги Кафки, Камю...

А вот книгу Камю «Человек бунтующий» я читал — z wupiekami na twarzy, как говорят поляки, в Народовой Библиотеке в Варшаве. Эту книгу Камю, изданную по-польски на Западе, мне в Народовой в 1965-м дали без звука. У нас она вышла лишь совсем недавно, в 1990-м. А уж кому читать эту книгу, как не россиянам! В той же Народовой библиотеке, тогда же, в 1965-м, выдали мне и «1984» Оруэлла, я даже не поверил в первую минуту. Об этой книге у нас ходили легенды, достать ее по-английски в Москве мне удалось много позже, а до 1965-го я знал ее лишь в подробном, подробнейшем пересказе одного журналиста-международника, имевшего доступ к подобным книгам и пересказывавшего ее — часа полтора! — в новогоднюю ночь, в ночь на 1962-й год, в компании молодых московских философов.

Словом, польское окно в Европу было одновременно и окном в свободу, в свободу от бесчисленных запретов, из которых состояла наша российская жизнь.

Польша бывала даже окном в Россию, в русскую культуру. Книга Ворошильского «Жизнь Маяковского», которую он прислал нам в 1966-м, у нас поныне и не превзойдена и не переведена. Не превзойденной остается и двухтомная его антология русской поэзии XX века, вышедшая в 1971-м. Вот лишь один фрагмент оглавления: ...Иван Игнатьев, Елена Гуро, Василий Каменский, Константин Большаков, Алексей Крученых, Велемир Хлебников, Божидар, Григорий Петников...

Помню, как Северин Полляк в Варшаве дал нам почитать американское издание Мандельштама. В России томик Мандельштама появился лишь восемь лет спустя, и такой кастрированный, что страшно сейчас смотреть. В 1986-м мы были в Варшаве, нам подсказали, что после обеда в книжном магазине на Рынке Старого Мяста будет продаваться часть тиража краковского двуязычного Мандельштама, я примчался, но опоздал: книгу расхватили. А Пастернака, изданного в Москве в 1965-м, мы купили тогда же в Варшаве три экземпляра, один из них вскоре, зимой 1965–1966-го, я подарил Иосифу Бродскому. Здесь уместно вспомнить и то, что в Польше — тот же Ворошильский, тот же Полляк — очень рано начали печатать Бродского.

Поляки печатали Соснору. Печатали Бурича — в годы, когда и Бурич и вообще верлибр были у нас «нон грата». Поляки же открыли Европе, миру, а тем самым в конечном счете и России — Геннадия Айги.

Бальцежан писал недавно («Literatura na świecie» 1997 nr 4–5) об очевидной связи поэзии Айги с живописью абстракционизма. Помню, как в 60-х Айги, тогда еще сотрудник Музея Маяковского в Гендриковом переулке, с гордостью показывал мне лубок Малевича времен Первой мировой войны, который он контрабандой включил в экспозицию одной из выставок. В постоянных экспозициях каких бы то ни было наших музеев ни Малевич, ни Кандинский, ни кто-либо еще из наших абстракционистов не фигурировал. Все они были спрятаны в запасниках. Впервые они предстали перед нами в Москве на выставке «Москва–Париж 1900–1930», то есть в 1980 году. Так что в России, на родине абстракционизма, мы многие годы могли видеть лишь репродукции западных абстракционистов, либо западные репродукции абстракционистов наших. В натуре же — никого и ничего. В первые мои приезды в Польшу — в 1963-м, в 1965-м — я искал польского абстракционизма, но в Польше абстракционизм был нормой, поэтому выставлялись не обязательно высшие достижения, а любые абстракционисты, стало быть, преобладали посредственные и третьестепенные, их я и видел поначалу. Лишь летом 1968-го, на ретроспективной выставке польского искусства за 50 лет, я увидел целый зал полотен Тадеуша Бжозовского — они меня ошеломили. Ошеломили тем более, что за несколько дней до этого, в Закопане, в доме поэта Томаша Глюзиньского, я оказался рядом с Тадеушем Бжозовским, мы беседовали целый вечер, он с интересом расспрашивал о России, но я, знавший, правда, его имя (был даже у нас плохонький альбомчик его черно-белых репродукций), еще не представлял себе в тот вечер, что это за художник.

Сейчас 50–60-е годы так далеки, что такие вещи нужно напоминать. Что, у нас в России в поколении оттепели не было в те годы своих художников? Были. Был прекрасный живописец Олег Целков, он теперь во Франции. Он москвич, но в 50-х годах учился и работал в Ленинграде. Мы, молодые ленинградские поэты, общались с ним, знали его работы. Он написал тогда две абстрактные работы. Вообще он фигуративный художник, абстракционизм ему не нужен, но молодой художник ищет в разных направлениях, две вещи он написал абстрактные. Эти вещи он уничтожил. Опасно ему было хранить их у себя. Он еще не был членом Союза Художников, был уязвим. Атмосфера же была вот такая. Один мой ленинградский знакомый рассказывал: у них в коммунальной квартире жил художник. При-

шли люди из органов, в отсутствие художника, спрашивают у соседей: — А он футюризмом не занимается? — Соседи не знали, что такое «футюризм», но ответили, слава богу, что нет. Те ушли.

Другой случай. В Москве в 1961-м выходила моя вторая книга стихов, «Наташа», любовная лирика. Молодой художник, способный, нарисовал эскиз суперобложки: женское лицо, но слегка в духе Пикассо. Так вот: Главлит (то есть цензура) запретил суперобложку, за то, что похожа на Пикассо. Книга вышла без суперобложки.

Вот почему в 60-х годах приходилось ездить смотреть абстракционизм в Варшаву.

Наша интеллигенция жила с головой, настолько повернутой вбок, в сторону Польши, что иногда нечто польское многие у нас узнавали раньше, чем подобное свое. Так было с современной музыкой. Имя и музыку и Лютославского, и Пендерецкого слушатели Московской и Ленинградской консерватории слышали раньше, чем имена и музыку Шнитке, Денисова, Губайдулиной.

Огромной популярностью пользовалась у нас польская эстрада и некоторые ее звезды. Мы, бывая в Варшаве, познакомились с Яном Петшаком, ценили и любили его, но Петшак в Москву до самого последнего времени приезжать не мог. Приезжала Ева Демарчик. Она потрясла Большой зал Дома Литераторов, позже мы купили и ее московскую пластинку. Очень многие москвичи полюбили другую певицу — Анну Герман. Интонации польской эстрады, польского джаза так сильно влияли на интонации наших, что смешно было слушать. (Зато в 1986-м столь же смешно было слушать в Варшаве, на общепольском конкурсе студенческой песни, подражания нашему Высоцкому.)

Кроме массовых слушателей, были массовые читатели. В московских киосках продавались «Szpilki» и «Przekrój», которые покупали интеллигенты, и журнал «Kobieta i życie», который спрашивали простые девушки.

Для людей с более высокими интеллектуальными запросами Польша была окном в западноевропейскую современную философию. В конце 1965-го мы привезли из Варшавы свежую антологию Колаковского и Помяна «Экзистенциальная философия». Года на два у нас ее вскоре одолжили два московских философа, Юрий Давыдов и Пиама Гайденко, намеревавшиеся издать нечто подобное, но прежде, чем ее им одолжить, мы ее немножко посмаковали сами. (Особенно я, тем более, что без знания экзистенциалистов, с которыми полемизировал тогдашний Витольд Вирпша, нельзя было понимать Вирпшу, а я как раз начинал его переводить.) Кроме

антологии «Экзистенциальная философия», привезли мы из Варшавы и скромный, но для россиянина куда как полезный двухтомничек «Философия и социология XX века», тот самый, где рядом стоят, по алфавиту, Ленин и Маритен. И скромные, но емкие книжечки — о Кассирере, о Тейяре де Шардене...

Но еще интереснее, чем читать антологии, составленные Колаковским, было услышать и увидеть живого Колаковского, осенью 1965-го, читающего — в варшавском Клубе Международной Прессы и Книги — публичную лекцию: «Иисус Христос — пророк и реформатор». А как влюбленно глядела на него варшавская молодежь!.. Недолго им оставалось на него глядеть и слушать его — скоро ему пришлось уехать...

К концу 70-х у нас в России становилось душно. В ожидании перемен многие смотрели опять-таки в сторону Польши. Тем больше удивило, что в беседе с нами в октябре 1979-го Тадеуш Новак, ждавший, как и мы, перемен, сказал, что перемены, по его мнению, могут начаться только у нас в России, а не в Польше. В конечном счете он оказался прав. Только в Советском Союзе могли произойти такие перемены, последствия которых изменили всю Восточную Европу.

Но началось — и очень скоро, менее, чем через год после той нашей беседы с Новаком, все-таки в Польше: «Солидарность».

Затаив дыхание, следили мы за событиями августа 1980-го и последующих месяцев. До конца лета 1981-го польские журналы и газеты продолжали приходить. Осенью 1981-го все это оборвалось для нас. На пять лет прекратилась возможность нашей польской работы, все польское было под подозрением. Прекратилась и возможность следить за происходящим в Польше, кроме как по заглушаемым передачам «Свободной Европы», сквозь треск и помехи.

Полностью прекратилась — для нас и для всех, кроме людей сугубо «проверенных», — возможность бывать в Польше.

А когда в 1986-м, осенью, после 7-летнего отсутствия, мы с Астафьевой приехали в Польшу, нам показалось, что у поляков (особенно в Варшаве; в Кракове и во Вроцлаве такого ощущения почему-то не было), что у поляков — полная апатия и прострация, что кончился запас их душевных сил, запас их надежды. На самом деле, это было не так — вскоре наступил 1989-й.

Наше поколение, поколение оттепели, было счастливым поколением. За последние 200 лет мало какому поколению в России удалось прожить хоть несколько лет своей жизни в состоянии надежды. А когда наша надежда кончилась, нам помогала выжить — Польша.

Обзор советских репрессивных кампаний против поляков и польских граждан

Среди исторических факторов, обусловивших нынешнее отношение польского общества к России, возникновение и устойчивое существование в Польше определенных стереотипов и штампов России и русских, одним из самых недавних и самых мощных по своему воздействию на современное польское общественное мнение являются массовые репрессии, осуществленные в тридцатые–пятидесятые годы карательными органами СССР. В результате этих репрессий огромное число поляков и польских граждан других национальностей оказалось в Советском Союзе в лагерях и на поселении, а многие погибли. Удивительно, а может быть закономерно, что в российских представлениях о Польше и об отношении поляков к России этот фактор учитывается редко, многие в нашей стране в лучшем случае что-то слышали о Катыни, а в худшем отождествляют ее с белорусской Хатынью, или продолжают утверждать, что 15 тысяч пленных польских офицеров и полицейских расстреляли немцы, а не СССР. И это при том, что различных публикаций как раз о Катынском преступлении вышло в России довольно много. С другой стороны привычные польские представления о масштабах советских репрессий, устоявшиеся в польском общественном мнении за несколько предшествующих десятилетий, явно нуждаются в уточнении и корректировке. Общественное мнение в отношении этой проблемы нуждается в модернизации в обеих странах, однако это явно асимметричная модернизация, ибо в Польше есть нужда только в количественных уточнениях, а в России требуется кардинальное качественное изменение: признать наличие проблемы, осознать, что наша страна осуществила целый ряд массовых преступлений по отношению к польским гражданам и это предопределяет характер наших взаимоотношений.

В настоящем сообщении рассмотрены документальные статистические данные о масштабах массовых политических репрессий, в результате которых пострадали поляки и польские граждане. Обзор опирается на работы многих авторов. Большая часть этих работ опубликована в первом выпуске «Исторических сборников „Мемориала“»¹, вышедшем в 1997 году. Используются также результаты

¹ Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1: Репрессии против поляков и польских граждан, Москва: Звенья, 1997.

некоторых ранее опубликованных работ, выполненных вне рамок исследовательской программы «Мемориала».

В течение нескольких десятилетий вопрос масштабов советских репрессий против поляков затрагивался только польской историографией, преимущественно эмиграционной, причем, при довольно большом разном данных различных авторов, суммарные оценки численности всех категорий репрессированных после сентября 1939 года польских граждан составляли, по порядку величины, около 2 миллионов человек². Более точные и надежные оценки стали возможны лишь несколько лет назад — после «приоткрытия» советских архивных источников, прежде всего документальных материалов различных органов НКВД–МВД СССР. Нужда в таких более точных и достоверных оценках обусловлена, в частности, практическими задачами — реабилитацией пострадавших от репрессий, работой над социальноправовыми запросами индивидуальных заявителей — бывших репрессированных или членов их семей.

При рассмотрении прилагаемой сводной таблицы с оценками, основанными на советских архивных документах (и округленными, как правило, до целых тысяч), необходимо учитывать, что в ней представлены лишь самые крупные, массовые кампании политических репрессий, среди которых хронологически первой была высылка поляков из приграничных областей УССР в 1936 г. Более ранние аресты поляков в СССР, проводившиеся по политическим причинам, были значительно менее масштабными и в таблицу не вошли. Еще одна оговорка касается употребления термина «поляки и польские граждане». В настоящем сообщении этим термином охвачены как советские граждане польской национальности, так и поляки, проживавшие на всех территориях довоенного польского государства, а также польские граждане других национальностей, проживавшие на землях, захваченных Советским Союзом в 1939–1940 гг. В таблице не учтены лишь довоенные польские граждане немецкой национальности, проживавшие в довоенной Польше, репрессированные в 1944–1945 гг. именно как немцы, ставшие после 1939 г. гражданами Германии.

Архивные источники подтверждают известный факт, что репрессии, затронувшие поляков, шли волнами. По документам довольно четко различаются отдельные потоки репрессированных и репрессивные акции, в которых применялись различные виды репрессий:

² Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR. Przegląd piśmiennictwa / Wybór i opracowanie G. Doktor, K. Podhorski, T. Staliś, red. T. Walichnowskiego. Warszawa, 1989.

1) депортации — то есть насильственная высылка больших групп населения в глубь СССР на поселение в изолированных режимных спецпоселках НКВД либо на поселение под административный надзор;

2) аресты граждан, содержание их под стражей в тюрьмах и в лагерях ГУЛАГа как следственных и осужденных, применение высшей меры наказания;

3) незаконное содержание в советском плену польских военнопленных;

4) интернирование и содержание под стражей в лагерях военнопленных и в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД-МВД СССР.

До 1939 г. были осуществлены две массовые репрессивные кампании, затронувшие поляков — граждан СССР. Первая из них — это депортация в 1936 г. польских семей из приграничных областей Украинской ССР (главным образом Каменец-Подольской, Винницкой и Житомирской). Согласно документам, опубликованным Н. Ф. Бугаевым³, в Казахстан было насильственно переселено около 36 тысяч поляков. Отметим, что это была единственная операция, в которой официально в качестве критерия применения репрессии указывалась польская национальность (но еще и немецкая — Постановление Совнаркома СССР предписывало выселить 15 тысяч польских и немецких семей). Во всех других представленных в таблице кампаниях формально (то есть в официальных директивных и нормативных актах) использовался не национальный, а социальные признаки, хотя фактически эти репрессии были направлены прежде всего против поляков.

Вторая массовая репрессивная акция — это «польская операция» 1937–1938 гг., одна из составных частей так называемого Большого террора. Сведения о ней изложены здесь по работе Н. В. Петрова и А. Б. Рогинского⁴. Кампания массовых арестов, расстрелов и заключения в лагеря в 1937–1938 гг. формально основывалась на оперативном приказе НКВД № 00447, направленном против «враждебного элемента» (бывших кулаков, контрреволюционеров, духовенства, бывших членов различных политических партий), а также на ряде приказов о проведении «национальных» операций, среди которых важнейшей оказалась именно «польская» опе-

³ Н. Ф. Бугай. Л. Берия — И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М., 1995.

⁴ Н. В. Петров, А. Б. Рогинский. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. // Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1, с. 22–43.

рация, осуществленная по оперативному приказу № 00485 от 11 августа 1937 г. Согласно этому приказу аресту подлежали члены так называемой Польской организации войсковой (ПОВ — в то время уже мифической), оставшиеся в СССР после 1922 г. поляки — бывшие военнопленные, все перебежчики, политэмигранты и политобмененные из Польши, бывшие члены Польской социалистической партии и других партий, активисты из польских районов на территории СССР, члены их семей. Арестованные в основном осуждались в так называемом «альбомном» порядке, что означало максимально ускоренный «конвейерный» метод рассмотрения дел и отнесение либо к первой категории — подлежащих расстрелу, либо ко второй — подлежащих заключению в лагеря. Всего жертвами Большого террора стали несколько более 1,6 миллиона человек, из них 9% — 144 тысячи человек были арестованы по «польскому» приказу № 00485. Из них почти 140 тысяч человек были осуждены, причем 111 тысяч человек (79%) — расстреляны. Однако не все репрессированные по приказу № 00485 были поляками. С другой стороны, поляки были среди арестованных по другим приказам — «кулацкому» № 00447 и другим «национальным». Н. В. Петров и А. Б. Рогинский оценивают число поляков, репрессированных за 2 года Большого террора, в 118–123 тысячи человек. Нижний предел этой оценки приведен в сводной таблице наряду с числом арестованных по «польскому» приказу. Отметим, что по данным переписи 1937 г. всего в СССР проживало в это время 636 тысяч поляков, то есть репрессирован был примерно каждый пятый из них.

После 17 сентября 1939 г. — дня вторжения СССР в пределы довоенной Польши, советские репрессии впервые в массовом порядке охватили граждан другого государства. Среди них первый по времени поток составили польские военнослужащие, захваченные в плен и бесправно удерживаемые в лагерях военнопленных НКВД СССР, несмотря на то, что война объявлена не была и польская армия, как правило, не вступала в бой с частями Красной Армии. Сведения об этом потоке изложены по фундаментальным работам Н. С. Лебедевой⁵. Всего в плен было взято 240–250 тысяч человек, из которых в течение первых 2 месяцев значительное большинство было отпущено по домам, часть — передана Германии. По состоянию на декабрь 1939 г. в лагерях военнопленных были оставлены 39 тысяч человек, в том числе все

⁵ Н. С. Лебедева. Катынь: Преступление против человечества. М., 1994; Катынь: Пленники необъявленной войны: Документы / Отв. сост. Н. С. Лебедева. М., 1997. (Россия: XX век).

захваченные офицеры, полицейские, жандармы, тюремная стража, пограничники. Еще 5 тысяч человек поступило в советские лагеря военнопленных летом 1940 г., после захвата Прибалтики. Это были военнослужащие, перешедшие в сентябре 1939 г. в Литву и Латвию и интернированные в этих странах. Таким образом, суммарное число поляков, находившихся в 1939–1941 гг. в течение длительного срока в советском плену, составило 44 тысячи человек. Это число включает в себя 15 тысяч человек, содержавшихся в трех офицерских лагерях и бессудно расстрелянных в апреле–мае 1940 г.

Длительной репрессивной кампанией на захваченных землях довоенной Польши стали массовые аресты среди гражданского населения. Согласно статистическим сводкам Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, изученным О. А. Горлановым и А. Б. Рогинским⁶, всего по обвинению в контрреволюционных преступлениях с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. в западных областях УССР и БССР было арестовано 108 тысяч человек, к которым следует добавить также тех арестованных в Литовской ССР, кто до сентября 1939 г. был гражданином Польши⁷. В результате получаем приблизительную оценку в 110 тысяч человек. Это число включает в себя 7305, а может быть и все 11 тысяч человек бессудно расстрелянных по тому же Постановлению Политбюро ВКП(б) от 5 марта 1940 г., по которому были расстреляны военнопленные из трех офицерских лагерей. Кроме того, оценка в 110 тысяч арестованных включает в себя также более 10 тысяч заключенных, расстрелянных в ходе эвакуации тюрем западной Украины и западной Белоруссии в первые недели после нападения Германии на СССР⁸.

Самым массовым видом советских репрессий в 1939–1941 г. были депортации гражданского населения в глубь СССР. Всего на восточных территориях довоенного польского государства в этот период были проведены четыре операции высылки — три в 1940 г. и одна — в 1941 г. Депортированные в ходе каждой из этих операций образовали четыре категории поселенцев, проходившие по отдельным учетам НКВД.

⁶ О. А. Горланов, А. Б. Рогинский. Об арестах в западных областях Белоруссии и Украины в 1939–1941 гг. // Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1. С. 77–113.

⁷ От Польской комиссии Общества «Мемориал» // Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1. С. 5.

⁸ К. Popiński, А. Kokurin, А. Gurjanow. Drogі śmierci. Warszawa, 1995; А. Гурьянов, А. Кокурин. Эвакуация тюрем // Карта (Российский независимый исторический и правозащитный журнал, Рязань). 1994. № 6. С. 16–27.

Самой многочисленной была февральская высылка 1940 г., которой подверглись польские осадники и лесники вместе с семьями — всего около 140 тысяч человек, вывезенных в изолированные спецпоселки НКВД в северных и восточных районах СССР.

Затем в апреле 1940 г. последовала административная высылка семей, в которых кто-нибудь к этому моменту уже был репрессирован, в частности семьи тех, кто содержался в лагерях военнопленных. Решение об этой высылке было принято тремя днями раньше Постановления о расстреле 15 тысяч военнопленных из офицерских лагерей и 11 тысяч заключенных тюрем западной Белоруссии и западной Украины, а сама высылка осуществлялась параллельно с этим расстрелом. Всего в апреле 1940 г. было депортировано 61 тысяч человек, которые попали на поселение в Казахстан под административный надзор НКВД.

В конце июня 1940 г. были депортированы около 78 тысяч спецпереселенцев-беженцев, которых разместили в изолированных спецпоселках НКВД, как правило, отдельных от спецпоселков спецпереселенцев-осадников, но примерно в тех же северных и восточных районах СССР.

Четвертая депортация была проведена в мае-июне 1941 г., накануне войны с Германией. В отличие от 1940 г., когда высылались только польские граждане, высылка 1941 г. охватила также Прибалтику и Бессарабию с Северной Буковиной. Большая неопределенность нашей оценки числа депортированных польских граждан, от 34 до 44 тысяч человек, вызвана невозможностью точно указать число жителей довоенной Польши среди высланных из Литовской ССР.

Наши оценки числа депортированных в 1940–1941 гг. основаны на сопоставлении двух видов архивной информации — «эшелонных» и «расселенческих» данных⁹. «Эшелонные» данные получены из архивных документов конвойных войск НКВД СССР и Отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР, позволивших составить практически полные каталоги эшелонов с высланными в 1940–1941 гг. «Расселенческие» данные взяты из отчетных документов территориальных органов НКВД в местах расселения спецпереселенцев, а также из сводок Отдела трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД СССР в Москве. В результате и была получена сум-

⁹ А. Gurjanow. Cztery deportacje // KARTA: Niezależne pismo historyczne (Warszawa). 1994. № 12, s. 114–136; А. Э. Гурьянов. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 г.; А. Э. Гурьянов. Масштабы депортации населения в глубь СССР в мае-июне 1941 г. // Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1... С. 114–175.

марная оценка числа польских граждан, депортированных в глубь СССР в 1940–1941 гг., — около 320 тысяч человек. Это число в целом согласуется с оценкой современных польских авторов¹⁰, проанализировавших новейшие российские публикации, но в 3–5 раз меньше оценок традиционной польской историографии¹¹ и подсчетов советского историка В. С. Парсадановой¹², допустившей курьезную интерпретационную ошибку¹³.

подавляющее большинство репрессированных в 1939–1941 гг. было освобождено из мест заключения, плена и спецпоселения в результате амнистии польских граждан, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г. Однако вскоре советско-польские отношения снова стали ухудшаться, и в 1942–1943 гг. последовали новые аресты, которым подверглись, в основном, две группы поляков: сотрудники территориальных представительств польского посольства в СССР — так называемых «делегатур», и те, кто отказывался принять советское гражданство в ходе проводившейся с начала 1943 г. паспортизации так называемых «бывших польских граждан». Всего после амнистии 1941 г. и по 1944 г. было арестовано и осуждено около 3 тысяч поляков, из них 1583 — за отказ от советских паспортов¹⁴.

Новая волна арестов последовала в 1944–1945 гг. на территориях Польши, освобождаемых Красной Армией от германской оккупации. Аресты производились внутренними войсками НКВД СССР, органами военной контрразведки «Смерш» (иногда при участии польской милиции и польских органов безопасности) и были направлены прежде всего против участников массового некоммунистического антигитлеровского подполья. Из архивных документов конвойных войск за 1944–1945 гг. Главного управления по делам военнопленных и интернированных и Секретариата НКВД–МВД СССР следует, что в результате этих арестов от 39 до 48 тысяч поляков (в том числе около 17 тысяч участников подпольной Армии Крайовой — главной вооруженной силы антигерманского сопротивления) попали в лагеря

¹⁰ S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski. Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej. Wrocław: Prace historyczne, 1993.

¹¹ Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR...

¹² В. С. Парсаданова. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2. С. 26–44.

¹³ S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski. Masowe deportacje radzieckie... S. 48; A. Gurjanow. Cztery deportacje... S. 129.

¹⁴ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 379–383.

военнопленных и в проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ) НКВД в глубине СССР, где они, будучи неосужденными, от нескольких месяцев до нескольких лет без приговора содержались под стражей в качестве интернированных¹⁵. Большая неопределенность приведенной оценки вызвана прежде всего тем, что одновременно с интернированными поляками конвоировались в глубь СССР и содержались в лагерях военнопленных и в ПФЛ значительно более многочисленные «контингенты» других категорий (военнопленные германской и других неприятельских армий, бывшие советские военнопленные и гражданские лица, угнанные немцами на принудительные работы в Германию, германские граждане, арестованные при «очистке тыла Красной Армии» и принудительно «мобилизованные» на восстановительные работы в СССР, советские граждане с оккупированных территорий), причем в архивных документах зачастую отсутствует четкое разграничение отдельных категорий.

Арестованных в 1944–1945 гг. поляков пришлось содержать под стражей в качестве «всего лишь» интернированных потому, что даже в глазах советского «правосудия» поводы их ареста были недостаточно весомы для оформления приговоров! Лишь примерно одну тысячу арестованных в то время польских граждан удалось осудить (советскими военными трибуналами) к различным срокам лишения свободы в ИТЛ¹⁶.

Аресты поляков на бывших польских территориях в Литве, западных областях БССР и УССР и их депортации из этих территорий в глубь СССР продолжались и после войны, однако оценить их масштабы по архивным документам пока не удалось. На основании косвенных данных можно предположить, что эти репрессии были все же значительно менее массовыми, чем в 1939–1941 гг. По-видимому, одной из последних таких акций была высылка в Иркутскую область 4,5 тысяч бывших военнослужащих польской армии под командованием генерала Андерса и членов их семей¹⁷.

¹⁵ А. Э. Гурьянов. Интернирование — один из видов советских репрессий против поляков и польских граждан; Н. Е. Елисеева, П. А. Алтекар, И. М. Нагаев, И. В. Успенский, А. Э. Гурьянов. Каталог эшелонов с интернированными поляками, отправленными в глубь СССР; О. А. Зайцева, А. Э. Гурьянов. Документы ЦХИДК об интернировании польских граждан в СССР в 1944–1949 гг. // Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1... С. 207–256.

¹⁶ ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 168. Л. 401–404.

¹⁷ Депортация народов СССР: 1930–1950-е годы. Ч. 1 / Сост. О. Л. Милова. М., 1992, с. 346.

Изученные архивные документы свидетельствуют, что в 1930–1950-е гг. массовым политическим репрессиям со стороны советских органов подверглись примерно 670–720 тысяч поляков и польских граждан, в том числе после 17 сентября 1939 г. — 510–540 тысяч, что почти в 4 раза меньше оценок традиционной польской историографии. Причины этого расхождения двоякие. Основная — это скорее качественный, а не количественный характер данных, содержащихся в польских первоисточниках — документах 1941–1943 гг. польского посольства в СССР и в документации армии Андерса. Вторая, менее существенная причина — это отсутствие в нашем обзоре двух групп польских граждан, которые рассматривались польскими авторами как репрессированные Советским Союзом: военнопленных, отпущенных по домам и переданных Германии осенью 1939 г., а также жителей западных областей УССР и БССР, призванных в 1940–1941 гг. в Красную Армию.

СОВЕТСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ И ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН

«Потоки» репрессированных (репрессивные операции)	Годы	Число чел., тыс.
Высылка из приграничных областей Украинской ССР	1936	36
Большой террор, польская операция	1937–1938	118, 144
Военнопленные (по сост. на XII.1939) + интернированные Литвой и Латвией	1939	44
Аресты в зап. обл. УССР и БССР+ЛитССР	1939–1941	110
Депортации 1940–1941:		
1) «осадники»	1940	140–141
2) «семьи репрессированных»	1940	61
3) «беженцы»	1940	78–79
4) «ссыльнопоселенцы»	1941	34–44
Аресты после амнистии 1941 года	1941–1944	3
Интернирование в лагеря военнопленных и в ПФЛ	1944–1945	39–48
Осужденные польские граждане	1944–1946	1
Послевоенные аресты и депортации в ЛитССР, зап. областях УССР и БССР	1944–1952	9
— в том числе «андерсовцы»	1951	4,5
Всего	1936–1956	670–720
— в том числе после 17.09.1939 г.		510–540

Польская рецепция русской литературы советского периода (60-е — 90-е гг.). Литературно-критическое творчество Анджея Дравича

1. За знаменитой фразой И. Бродского «Польша была поэтикой моего поколения» стоит целый комплекс представлений о Польше нескольких поколений советских людей. Можно говорить о «польском мифе», укорененном в общественном сознании и просуществовавшем не одно десятилетие (сер. 50-х — сер. 80-х гг.). Интерес к польскому кино, литературе, культурному и политическому опыту современности, тяга ко всему, что польское (от парфюмерии и косметики до изучения языка), — следствие особого восприятия Польши как относительно либерального и — географически и культурно — близкого нам общества, такого, каким хотелось бы быть.

В книге мемуаров А. Дравича «Поцелуй на морозе», являющейся, несомненно, одним из интереснейших свидетельств иностранцев о России, находим этому не одно подтверждение (о чем, может быть, и не подозревал автор). Так, например, Дравич пишет об И. Звереве, бывшем «самым страстным полонофилом» из всех ему известных: «Приезжал к нам, бегал, рыскал всюду, смотрел, старался понять. Ему очень нравилось, что мы другие. „У вас черное — не совсем черное, а белое — не совсем белое“, — сказал он мне»¹.

Современное Бродскому поколение полонофилов (в лучшем значении этого слова) — это люди, формирование эстетических пристрастий которых в значительной мере было связано с этим увлечением. И в Польше, конечно, имело место осознание этой роли «маяка». А. Дравич так описывает впечатление, которое произвели на него хмурые лица москвичей и скованность уличной толпы летом 1957 г., когда он — незадолго до начала Международного фестиваля молодежи и студентов — впервые приехал в СССР: «Я уже понимал, что и мы в Варшаве довольно хмурые и невеселые. Знание это принесла серия чьих-то фотографий с Запада <...>. Вторым источником информации были иностранцы на предыдущем, варшавском, фестивале: они развлекались всюду, легко и естественно, тогда как мы торчали, как корявые пни. Однако по сравнению с Москвой мы были карнавалом в Рио»².

¹ A. Drawicz. Pocałunek na mrozie. Łódź, 1990, s. 58.

² Там же, s. 22–23.

Эта — легендарная для нас — большая свобода (или — что было бы точнее — меньшая несвобода) в известной мере сделала Польшу посредником между советским читателем и не допускаемой к нему литературой: польский учили, может быть, даже в первую очередь для того, чтобы получить возможность читать современную западную литературу (не говоря уже о той огромной части литературы русской, на чтение и издание которой было наложено жесточайшее вето).

Однако — как это ни парадоксально — и самой польской культуре необходимо было посредничество в восприятии русской литературы XX в., даже шире — в восприятии России в целом. Для понимания особенностей польской рецепции русской литературы советского периода в 60-е — 90-е гг. надо помнить о том, что складывающийся в эти годы в Польше образ России «двоится»: с одной стороны, все русское (советское) — навязываемо, насильственно насаждается и потому вызывает реакцию отторжения, а с другой стороны, в России, оказывается, не все советское, и это уже привлекает внимание, например, издательского движения *drugí obieg*, родственного нашему самиздату (сер. 70-х — конец 80-х гг.).

Таким образом, в польском восприятии как бы сосуществовали (и следы этого сосуществования видны до сих пор) две России: Россия-СССР как оплот ненавистного строя, фальшивый образ которой навязывает пропаганда (т. н. *Rosja propagandna*), и «другая» Россия — та, в которой, несмотря ни на что, существовала и существует культура, хоть и гонимая и запрещенная (*Rosja światła*). И именно в Польше на протяжении трех десятилетий (60-е — 80-е гг.) постепенно, движимая порой необъяснимыми интересом, вниманием и любовью, «писалась» альтернативная, так называемая «польская» история русской литературы XX века. Речь идет не о советизированной академической русистике, а о русистике «изнутри» (в отличие от русистики «сверху», официальной и идеологизированной). Отличительными (и поучительными) особенностями этой «альтернативной» русистики, неофициальной, но все же всегда существовавшей, являются опережение отечественной, проницательность, прозорливость и верность своим открытиям. По сути мы имеем дело с особым типом культурной рефлексии, о восприятии одной культуры другой через собственные потребности.

Самой важной в этом многомерном процессе фигурой и ярчайшей индивидуальностью является, вне всякого сомнения, Анджей Дравич (1932–1997) — историк литературы, литературный критик, переводчик, публицист и общественный деятель.

В статье 1977 г. «На дне русистики» Дравич, приводя внушительный список фамилий (Мандельштам, Хлебников, Цветаева,

Шкловский, Волошин, Хармс, Введенский, Олейников, Тарковский, Самойлов, Слуцкий, Мориц, Аксенов, Домбровский, Казаков, Ахмадулина, Конецкий, Матвеева, Богомолов, Кушнер, Битов, Горбовский), обращается к читателю с вопросом: «Что это за список? Что связывает этих писателей?»³. Оказывается, объединяет этих писателей отсутствие их имен на страницах польского издания подготовленной в ИРЛИ «Истории русской советской литературы» — академического тома под редакцией П. Выходцева. Ряд писателей (Паустовский, Трифонов, Шукшин) представлен только упоминаниями. Уровень книги чудовищно низок. После этих печальных констатаций Дравич пишет: «Здесь мы снова сталкиваемся с деятельностью группы (колеблюсь перед обязывающим ко многому определением „научной“ — скорее „организованной на территории науки“)»⁴.

«Организованной на территории науки» Дравич называет не только группу авторов книги, но и тех, кому обязан своим появлением ее польский перевод. Научный редактор польского издания и автор предисловия Б. Бялокозович, В. М. Гробский, Р. Срочиньский и другие, выступающие со статьями о проблемах развития польской русистики, — это, по Дравичу, люди, насаждающие (и в своих трудах проводящие в жизнь) «программу советизации»⁵. О такой русистике Дравич пишет безжалостно: «Дно остается дном. И лучшее, что мы можем сделать, — это посылнее оттолкнуться от него ногами»⁶; о самом издании и ему подобных — еще жестче: «Не использовать ни под каким видом! <...> В руки не брать, потому что потом их не отмоешь»⁷.

Более явной декларации отмежевания, пожалуй, не встретишь нигде. И нет ничего более закономерного, чем то, что сделана она именно Дравичем — человеком, независимость которого была внутренней движущей силой всей его деятельности, столь репрезентативной (при всей индивидуальности) для развития польской независимой гуманитарной науки⁸.

Надо отметить, что в трудах Дравича порой трудно установить четкую границу между литературной критикой и историей литера-

³ A. Drawicz. Pytania o Rosję. Warszawa, 1981, s. 46.

⁴ Там же, s. 50.

⁵ Там же, s. 51–52.

⁶ Там же, s. 53.

⁷ Там же, s. 53.

⁸ «Независимая гуманитарная наука» в данном случае — перевод польского словосочетания «niezależna humanistyka», за которым (для 70-х — 80-х гг.) стоит более широкий контекст: не только гуманитарное знание, но вся неофициальная культура.

туры. И это принципиально: ни одна из этих двух возможностей высказывания не казалась ему достаточной. Явленный в работах Дравича филологический синтез может быть назван литературно-критическим творчеством, с одной стороны, для удобства, но, с другой стороны, и не без оснований, если критику понимать предельно широко: как тип мыслительной деятельности.

В данном случае необходимо отказаться от поверхностного понимания критики (против которого уже в 60-е гг. выступил Р. Барт) как «вынесения верных суждений во имя „истинных“ принципов»⁹ при невнимании к функциональному смыслу произведения. Несомненна природа критики — «деятельность», как ее определил Барт, т. е. «последовательность мыслительных актов, глубоко укорененных в историческом и субъективном (что одно и то же) существовании человека»¹⁰ — и ее цель — «п р и л а д и т ь <...> язык, данный нам нашей эпохой, <...> к другому языку, <...> который выработал автор в соответствии со своей собственной эпохой»¹¹. При этом важно помнить о том, что, с одной стороны, язык, которым пользуется критик, предложен ему его эпохой, а, с другой стороны, выбор этого языка — «осуществление неотъемлемой интеллектуальной функции» самого критика¹².

Изучение критического наследия, рассматриваемого под таким углом зрения, может и должно привести к реконструкции «диалога двух исторических эпох и двух субъективностей — автора и критика»¹³, заключенного (в нашем случае) еще и в рамки диалога двух различных, хотя и соседних, культур, осложненного к тому же рядом причин исторического и политического характера.

«Приглашение к путешествию» — название книги очерков Дравича о русской литературе XX в. — это формула, ярче всего обозначающая цель и основной мотив литературно-критического творчества Дравича. Открыть своим соотечественникам все то прекрасное, истинное, общечеловечески ценное, что было и есть в России XX в., убедить их по-новому, по-другому, через призму великой литературы и великой трагедии, взглянуть на Россию — в этом Дравич видел свою задачу, может быть, даже миссию, исполнению которой он «сознательно и бесповоротно», говоря словами Блока,

⁹ Р. Барт. Что такое критика? // Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. Сост., ред. и вступ. статья Г. К. Косикова. М., 1994, с. 271.

¹⁰ Там же, с. 272.

¹¹ Там же, с. 273.

¹² Там же, с. 274–275.

¹³ Там же, с. 275.

посвятил жизнь. «Тот, кто хоть немного знает Польшу и поляков, — не без горечи констатирует В. Щукин, — легко представит себе, какой тяжелый труд брал он на себя»¹⁴.

«Тема о России» действительно стала е г о темой почти с самого начала (хотя по образованию Дравич — полонист и русский язык учил самостоятельно (!), чем — и в неменьшей степени тем еще, что специальностью выбрал литературу XX в., — вызывал по меньшее мере удивление, а как правило — недоверие: «Поляк с а м ? Кто он тогда — крошечный идиот или суперловкач?»¹⁵). Осознание необходимости расширения границ взаимопонимания и — в первую очередь — знания друг о друге пришло к Дравичу очень рано, еще в один из первых визитов в СССР в 1963 г.: «Нет, мы решительно мало знаем друг о друге, слишком мало. Нам необходим более тесный контакт»¹⁶.

В этой связи нельзя не упомянуть об основных переводах, сделанных Дравичем. Это «Котлован» А. Платонова¹⁷, «Роковые яйца»¹⁸ и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова¹⁹ («Мастер и Маргарита» в переводе Дравича — вторая польская версия романа), статьи Вс. Мейерхольда²⁰ воспоминания Н. Я. Мандельштам²¹, воспоминания Г. Козинцева²², «Верный Руслан» Г. Владимова²³, «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева²⁴ и др.

На протяжении всей жизни Дравич переводил также русскую и русскую советскую поэзию XX в. (А. Ахматова, О. Мандельштам, В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак, М. Петровых, Д. Самойлов, И. Бродский, А. Тарковский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Б. Слуцкий, А. Вознесенский, Ю. Мориц, Н. Коржавин, А. Кушнер, Ю. Левитанский — далеко не полный список).

¹⁴ В. Щукин. Анджей Дравич // Новое литературное обозрение, 1997, № 28, с. 151.

¹⁵ A. Drawicz. Pocałunek na mrozie. Łódź, 1990, s. 11–12.

¹⁶ Там же, s. 73.

¹⁷ A. Płatonow. Wykop. Paryż, 1986. Wyd. nast.: Warszawa, 1986; Warszawa, 1987; Warszawa, 1990.

¹⁸ M. Bułhakow. Fatalne jaja i inne opowiadania / Przeł. A. Drawicz [et al.]. Warszawa, 1988.

¹⁹ M. Bułhakow. Mistrz i Małgorzata / Przeł. A. Drawicz. Wrocław, 1995.

²⁰ W. Meyerhold. Przed rewolucją (1905–1917) / Wstęp i wybór J. Koenig. Przeł. A. Drawicz i J. Koenig. Warszawa, 1988.

²¹ N. Mandelsztam. Nadzieja w beznadziejności. Tłum. A. Drawicz. Londyn, 1976.

²² G. Kozincew. Głębia ekranu. Warszawa, 1981.

²³ G. Władimow. Wierny Rusłan. Londyn, 1983. Wyd. nast. z podtyt. Historia obozowego psa. Warszawa, 1983; Warszawa, 1984.

²⁴ W. Jerofiejew. Moskwa — Pietuszki. Wyst. TV, 1992.

В 80-е гг. Дравич активно выступает как публицист и общественный деятель. В эту сферу деятельности Дравич окунулся, когда, по его мнению, опасность полной потери Польшей понимания опыта России и угроза отказа от принятия ее в каком бы то ни было виде были особенно велики. Понимание и оценка значения этих выступлений Дравича ярче всего выражены в признании А. Романовского: «Этой любовью (к России. — *Н. С.*) он заражал. Разве убереглась бы революция времен „Солидарности“ от антироссийского комплекса — без Дравича?»²⁵.

Исполняемая Дравичем миссия посредничества между польской и русской культурами современниками, людьми, близкими Дравичу и не очень, осознана в полной мере:

«Встречи с Анджеем были для нас... одним из элементов нашего антинационалистического воспитания» (*Е. Маркушевский*²⁶);

«Он был легендой польской независимой гуманитарной науки 70-х и 80-х гг.: это по его книгам мы изучали Россию.<...> В том, как он упорно и последовательно пробивался сквозь панцирь коммунистической пропаганды, было что-то дерзкое, захватывающее дух» (*А. Романовский*²⁷);

«В своем служении родине он избрал трудную дорогу — сближение нас с русскими. Во всем том, что перевел и написал, он показал нам такую Россию, которую можно полюбить» (*Я. Куронь*²⁸);

«Он много сделал для победы над главным врагом обоих народов — невежеством, рождающим взаимное недоверие» (*Е. Помяновский*²⁹);

«Говоря, что „в России надо жить долго“ (любимые слова Дравича, памятные всем, кто его знал. — *Н. С.*), Анджей хотел подчеркнуть, сколько еще нужно сделать. Хотя самому ему жить было отпущено недолго, для налаживания польско-русских отношений он успел сделать так много, как если бы жил сто лет или даже больше» (*Г. Пшебинда*³⁰).

²⁵ *A. Romanowski. Zmarł Andrzej Drawicz // Tygodnik Powszechny, 1997, № 21.*

²⁶ *J. Wójcik, St. Ciosek, Z. Fedeki, St. Grodzieńska, A. Hall, J. Kuroń, O. Lipińska, J. Markuszewski, J. Pomianowski. Nie mylił literatury z ustrojem // Rzeczpospolita, 1997, № 113.*

²⁷ *A. Romanowski. Zmarł Andrzej Drawicz // Tygodnik Powszechny, 1997, № 21.*

²⁸ *J. Wójcik, St. Ciosek, Z. Fedeki, St. Grodzieńska, A. Hall, J. Kuroń, O. Lipińska, J. Markuszewski, J. Pomianowski. Nie mylił...*

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Grz. Przebinda. Pielgrzym urzeczony. Andrzej Drawicz — wspomnienie z lat 80 // Tygodnik Powszechny, 1997, № 31.*

Со временем характер интересов Дравича в области русской литературы менялся, и менялись приоритеты. В настоящей работе предлагается исходить из предположения, что эта смена выражала не только индивидуальную эволюцию взглядов и пристрастий Дравича-критика, но и соответствовала общим параметрам восприятия русской литературы XX века в Польше 60-х — 80-х гг. в связи с изменениями в идеологической, общественно-политической и общекультурной ситуации как внутри самой Польши, так и в сфере польско-советских отношений.

На разных этапах возрастает интерес к определенным писателям. Так, Маяковский интересен как пример чистой веры и самоотдачи делу революции (сер. 50-х — сер. 60-х гг.); Булгаков — как символ внутренней оппозиционности и сотворения культуры вопреки невозможности в условиях тоталитаризма (70-е гг.); Солженицын — как образец открытой конфронтации и вызова режиму (80-е гг.).

Согласно этому предположению произведен отбор материала (работы А. Дравича о Маяковском, Булгакове, Солженицыне — писателях, олицетворявших собой три модели существования в трагической действительности XX в., каждая из которых в определенный период времени была притягательна для Польши); по принципу доминант, усматриваемых в конструировании Дравичем литературного ряда, возникновение которых в свою очередь может быть связано с определенной эволюцией, отражающей актуальный для Польши в 60-е — 80-е гг. процесс самоосознания через прочтение русской литературы.

2. Зарождение интереса А. Дравича к русской литературе XX в. связано с Маяковским. С большой степенью уверенности можно говорить о том, что судьба Маяковского (личная и творческая) интересовала Дравича в равной мере и как судьба поэта огромного масштаба, и как знаковое для русской советской культуры явление. Важным свидетельством в этой связи является рассказ Дравича о том, как его, мальчика 14-ти или 15-ти лет, внимание приковала к себе стоящая в витрине книжного магазина в Ченстохове брошюра, с обложки которой, «заложив руки за спину, смотрел исподлобья человек с выдвинутой вперед челюстью. Он выглядел затравленным, а надпись большими буквами гласила: „Хорошо!“ Я стоял, — пишет Дравич, — смотрел и не мог справиться с этим несоответствием слова и изображения. Оно долго не давало мне покоя, хотя смысла я тогда не уловил. Зато, может, меня зацепил этот мрачный взгляд Маяковского? <...> Зацепил, задержал и уже не отпустил?»³¹.

³¹ A. Drawicz. Pocałunek na mrozie. Łódź, 1990, s. 13.

В самом деле, постепенно интерес Дравича к собственно литературе перерастал в интерес к проблеме существования и выживания литературы в послереволюционной России, и вызвана эта модификация была именно вчитыванием в Маяковского.

Для понимания литературного процесса в России XX в. знание внелитературного контекста необходимо в большей мере, чем для изучения любой другой литературы, т. к. без него картина будет не то что неполной, а порой до неузнаваемости искаженной или вообще непонятной — эту позицию Дравич занимал всю жизнь, изучив пример Маяковского: «Учиться по-настоящему читать по-русски — это означает учиться видеть помимо текста еще и под- и надтекст»³².

В середине 50-х гг. наследие Маяковского, как это тогда сформулировал Дравич, «участвует в современных идеологических столкновениях»³³. Маяковский притягателен как пример чистой веры.

Любопытно, что в середине 50-х гг., работая в Польско-советском институте, Дравич должен был заниматься польской рецепцией Маяковского, однако так и не выполнил научного поручения. Правда, написал несколько очерков о Маяковском (характерно название одного из них: «Наш Маяковский») и смелую рецензию на вышедшие в СССР книги А. Метченко «Творчество Маяковского. 1917–1924 гг.» и Е. Наумова «Маяковский в первые годы советской власти». Эта рецензия по существу является протестом против навязываемого образа Маяковского.

Отмечая недостатки обеих монографий (главный — принципиальное невнимание к поэтике), Дравич предлагает понимать творческий процесс как «отражение внутренней биографии писателя», т. е. пользоваться методом, «который можно определить как метод психологической реконструкции»³⁴.

О книгах Метченко и Наумова Дравич пишет как о «настораживающе друг на друга похожих»³⁵, прекрасно понимая тенденцию и как бы предвидя то, что и в Польше произойдет с Маяковским: окончательное наведение «хрестоматийного глянца» и — как следствие этого — угасание всяческого интереса.

В 1966 г. Дравич пишет статью «Прощай, Маяковский — здравствуй, Маяковский!», которая через 8 лет войдет в книгу очерков о рус-

³² Там же, s. 55.

³³ A. Drawicz. Dwukrotnie o Majakowskim // Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego, 1956, № 3/4, s. 286.

³⁴ Там же, s. 295.

³⁵ Там же.

ской литературе XX в., «Приглашение к путешествию» — книгу, на многие годы ставшую неофициальным учебником для польских студентов-русистов. Дравич как бы призывает перечитать Маяковского, пересмотреть отношение к нему, увидеть и понять трагедию, не воспринимать Маяковского одномерно. За этим уже несомненно стоит глубинное понимание трагедии всей эпохи, хоть и выражено оно в терминах, позволенных временем: трагедия революции, отклонившейся от ленинского курса, которую «Маяковский почувствовал (или понял — сейчас это трудно установить) глубже и раньше других»³⁶.

А по сути Дравич предлагает — через судьбу Маяковского — вдуматься в происходившее (и происходящее), не ориентируясь на привычно умалчивающие (как минимум умалчивающие) о самом главном интерпретации.

Надо сказать, что читательская аудитория, к которой обращается Дравич, к этому моменту как раз получает возможность «пересмотреть» Маяковского, по-новому и по-своему взглянуть на стихи и биографию поэта: в 1965 г. появляется книга В. Ворошильского «Жизнь Маяковского», которая, как напишет спустя 20 лет Дравич, «решала особую задачу полемики <...>, была открытием и откровением, опрокидывала миф»³⁷.

«Жизнь Маяковского» — это монтаж фактов, документов и различных свидетельств, минимальный авторский комментарий и — стихи, вновь переведенные, но принципиально не снабженные ключом для интерпретаций. Одно свидетельство противоречит другому, один и тот же факт предстает пропущенным через разные сознания, планы и точки зрения быстро сменяются. Ворошильский намеренно не делает выводов и ничего не подытоживает: «На Маяковского я хочу посмотреть извне, избегая догадок, гипотез, собственных эмоций, и право голоса даю только различного рода документам. <...> Думаю, что это Маяковский правдивый»³⁸.

«Жизнью Маяковского» — книгой, в которой так нуждалась русистика, причем не только польская, — был предложен фактически новый (а точнее, хорошо забытый) Маяковский и открыт путь к переосмыслению его творчества и судьбы и — через это — к осмыслению истории.

³⁶ A. Drawicz. Zaproszenie do podróży. Szkice o literaturze radzieckiej XX wieku. Kraków, 1974, s. 21.

³⁷ A. Drawicz. «Gorzka jest dola wieszczów na tym świecie...» // Tygodnik Powszechny, 1984, № 4.

³⁸ W. Woroszyłski. Życie Majakowskiego. Warszawa, 1965, s. 5.

К судьбе Маяковского как к одному из ключей для понимания советской эпохи Дравич обращался на протяжении всей жизни — в преподавании, в отдельных статьях³⁹, — хотя со временем в его занятиях русской литературой XX века возникали другие доминанты.

Маяковский интересен Дравичу прежде всего как поэт, говоривший «о времени и о себе», всем своим творчеством и всей своей судьбой демонстрировавший и доказавший трагическую зависимость одного от другого.

Судьба Маяковского, по Дравичу, может быть рассмотрена до некоторой степени как модель судьбы русского авангарда в целом. Точнее, не просто судьбы, а драмы. Основные положения концепции Дравича таковы⁴⁰:

1. События политической и общественной жизни в России начала века (Первая мировая война, большевистский переворот, гражданская война), а также перелом в ходе истории, заявленный новой властью и лапидарно сформулированный Маяковским («Все заново»), казались идеальными проекциями принципов эстетики авангарда на саму жизнь. Именно убеждения эстетические (в большей мере, чем идеологические) толкнули большинство деятелей русского авангарда на службу новой власти. Некоторое время царит атмосфера слепой веры в то, что происходит все самое лучшее для построения лучшего из миров, — «триумф прикладной телеологии».

2. На этом фоне послереволюционное «саморазрушение» Маяковского и типично, и — в своей интенсивности — исключительно одновременно. Поэт должен был отречься от себя прежнего, «свернуть шею лирике» и «запрячь Пегаса в воз ассенизатора» («становясь на горло собственной песне»), чтобы аккумулируемая таким образом энергия прибавлялась к усилиям властей, двигая страну в будущее.

3. Это, однако, не означало обыкновенного упрощения стиха. Маяковский решает задачу повышенной трудности: сопротивление материала грубой, непоэтичной повседневности должно быть преодолено средствами выразительности нового искусства, чтобы неиску-

³⁹ См., например: A. Drawicz. «Poeta jest zawsze wszechświata dłużnikiem...» (O poezji W. Majakowskiego) // *Lektury i problemy*. Warszawa, 1976, s. 267–276.

⁴⁰ Окончательно оформленная целостная концепция предложена Дравичем в докладе на конференции «Владимир Маяковский и утопия XX века» (Сорбонна, июнь 1993). Публикация текста выступления (в сокращенном виде), по которой приводятся цитаты: A. Drawicz. *Dramat Włodzimierza Majakowskiego (Z rosyjską awangardą w tle)* // *Tygodnik Powszechny*, 1993, № 34.

шенный читатель (слушатель) оказался сагитированным политически и эстетически одновременно.

4. Гигантские усилия оказались бесполезными и неоцененными. Русская поэзия, по сути, осознала пример, данный Маяковским, как искусственный. Самопожертвование оказалось напрасным.

5. Это поражение вписывается в контекст судьбы авангарда.

5.1. Искусство авангарда, ставшее на путь служения революции, невольно разоблачало обман властей самим фактом своего существования: осознавая и формируя себя как искусство революции (и являясь при этом настоящим искусством), оно тем самым создавало образ революции, не соответствующий и по всем параметрам несоразмерный реальному ее облику.

5.2. Общественное сознание отождествило в конце концов отвергнутый властью авангард с этой самой властью, ибо общественный вкус не утруждает себя необходимостью различать поэтику и политику. Маяковский, может быть, как никто другой оказался жертвой такого искаженного восприятия.

В год столетия Маяковского Дравич обращается к делу, начатому более четверти века назад: «В посткоммунистических странах, — пишет он в 1993 г., — все еще действует безусловный рефлекс: даже великие шедевры авангарда не могут рассчитывать на доброжелательность и не вызывают интереса, если они — революционные, ни у кого кроме горстки интеллектуалов. Не удастся отделить тему от формы, „что“ от „как“ — читатели глухи к „Хорошо!“ Маяковского, а зрители слепы к „Октябрю“ Эйзенштейна, и, видимо, это еще продлится некоторое время (у нас — потому что Запад может себе позволить искреннее восхищение)»⁴¹.

В книге мемуаров Дравича «Поцелуй на морозе» находим его признание в том, как было бы легко поддаться соблазну неглубокого понимания России XX в. («Тот, впервые увиденный, Маяковский, та пропасть между „Хорошо!“ и трагичностью судьбы; все отсюда бы и вытекало»⁴²), тогда как в разговоре о России необходимы вещественные доказательства.

Тем не менее описанное в мемуарах и не один раз упомянутое в различных интервью отроческое, тогда еще интуитивное, ощущение знаковости увиденного несоответствия во многом предопределило как формирование системы взглядов Дравича

⁴¹ A. Drawicz. *Dramat Włodzimierza Majakowskiego...*

⁴² A. Drawicz. *Pocałunek...*, s. 19.

на литературный процесс в послереволюционной России в целом, так и понимание им судьбы Маяковского.

«Драма Владимира Маяковского», одна из последних статей Дравича о Маяковском (сокращенная версия доклада, с которым автор выступил на конференции «Владимир Маяковский и утопия XX века» (Сорбонна, июнь 1993 г.)), была опубликована в газете, что позволило разместить текст... вокруг фотографии Маяковского, на которой поэт запечатлен улыбающимся (!) и со старательной нежностью гиганта держащим на руках щенка (фото А. Родченко). Это, несомненно, осознанный и имевший целую предысторию снятия с Маяковского «хрестоматийного глянца» шаг: предъявить не т и п и ч н ы й портрет «лучшего, талантливейшего поэта нашей социалистической эпохи» в качестве последнего и как нельзя более вещественного доказательства необходимости «освобождения» его из «тюрьмы, где поэт оказался волею власти и ее лакеев от филологии, и имя которой — схема»⁴³.

3. В первой половине 70-х гг. А. Дравич работает над своей главной книгой — книгой о Михаиле Булгакове. Судьба ее близка, хоть и не так драматична, судьбе произведений самого Булгакова, и это — лишнее подтверждение тому, что судьба всего, что булгаковское, и не может быть простой, «ведь простая судьба по сути своей небулгаковская»⁴⁴ (так воспринимал это сам Дравич).

Рукопись «Мастера и дьявола» пролежала «в столе» почти двадцать лет, и единственной время от времени вносимой правкой было, по словам автора, «устранение внутреннего цензора»⁴⁵, что, разумеется, закрывало двери редакций, и тем самым замыкало порочный круг. Здесь приходят на ум исполненные горького юмора слова Ф. Искандера: «Рукописи не горят» — говорится в знаменитом романе Булгакова (гордость отчаянья!), особенно хорошо они не горят, добавим мы, когда рукописи напечатаны»⁴⁶.

Книга Дравича не могла быть напечатана, т. к., «по мере того что делал сам Дравич и что делали с ним, она приобретала все больше и больше немилых власти смыслов»⁴⁷. В этом замечании В. Ворошильского выражена суть актуального для польской неза-

⁴³ A. Drawicz. *Dramat Włodzimierza Majakowskiego...*

⁴⁴ A. Drawicz. *Mistrz i diabeł*. Kraków, 1990, s. 7.

⁴⁵ Там же, с. 7.

⁴⁶ Ф. Искандер. *Рукописи не горят, когда они напечатаны* // Ю. Домбровский. *Факультет ненужных вещей*. М., 1989, с. 693.

⁴⁷ W. Woroszyński. *Śmiech diabła i pogarda mistrza* // *Tygodnik Powszechny*, 1991, № 8.

висимой гуманитарной науки и культуры процесса перерастания независимости в оппозиционность (70-е — начало 80-х гг.).

Семидесятые — годы коллективных протестов против полицейского и судебного бесправия, время формирования оппозиции в писательской и университетской среде; имена деятелей культуры и науки попадают в «черные списки», что означает, как хорошо известно, негласный запрет в частности на публикации, а концентрация оппозиционности в создаваемых текстах растет пропорционально расширению этих списков — зарождается издательское движение *drugi obieg* и т. д.. В 1975 г. Дравич подписывает письмо протеста против внесения изменений в польскую конституцию (статьи о руководящей роли партии и об обязательной дружбе с Советским Союзом) — знаменитое «Письмо 59» («Memoriał 59»); с этого момента он становится одной из ключевых фигур неофициальной культуры; в 1980 г. вступает в «Солидарность», в декабре 1981 г. — после введения военного положения — интернирован.

Конечно же, все это наполняло книгу о Булгакове «немилыми власти смыслами». И дело, разумеется, не в том, что Дравич вписывал в нее новые страницы, а в том, что в контексте нарастающего противостояния режиму эти изначально существовавшие в «Мастере и дьяволе» смыслы проявлялись все более отчетливо.

Исследовательские интересы Дравича в эти годы нельзя назвать ничем не обусловленными или обусловленными только личными пристрастиями эстетического свойства. Какой Булгаков интересен Дравичу? Булгаков-художник — прежде всего. Но и в меньшей степени — Булгаков как явление, которое не может быть понято до конца вне контекста взаимоотношений с властью.

Итак, книга называется «Мастер и дьявол». В основу интерпретаторской метафоры Дравича положено непрекращающееся присутствие дьявола (в разных его обликах) в художественном мире Булгакова и в современном ему мире реальном.

Не задаваясь целью внести вклад в демонологию и умышленно не предлагая точных дефиниций, Дравич оперирует двумя персонификациями: *diabolus minor* и *diabolus major*.

Отмечая тот факт, что русская литература обращалась к дьяволиаде, черту, бесам не единожды, каждый раз по-своему, но в рамках одной постепенно складывающейся традиции (Пушкин, Гоголь, романтики-гофманисты, Сухово-Кобылин, Достоевский, Ремизов, Сологуб, Зощенко), Дравич так определяет родственное гоголевскому обращение Булгакова к этому мотиву: «Дьявол как конкретизированная в традиционном символе загадочность мира и дьявол как точка приложения

неведомых сил, должно быть, казался Булгакову кем-то естественным и необходимым в окружающем его странном порядке вещей. С ним он чувствовал себя по-свойски, часто и много о нем говорил, призывал в свидетели, его присутствием разрешал простые сомнения»⁴⁸.

Этого «черта или чертика»⁴⁹, пришедшего из нескольких традиций (языческой, сказочной, чернокнижной) сразу и всегда фигурирующего даже в самом обыденном воображении, но у Булгакова ставшего частью художественного мира, Дравич предлагает называть *diabolus minor*: «*Diabolus minor* служил Булгакову верно, готовый то приоткрыть дверь Чичикову, <...> то забраться на колокольню, <...> то исполнить еще десять других характерных предназначений или как минимум быть упомянутым каждым персонажем, который захотел залатать какую-нибудь дыру в своем мире именем черта»⁵⁰, но, как отмечает исследователь, «не заставило себя долго ждать время, когда автор „Дьяволиады“ ощутил, насколько слаба традиционная дьявольская сила перед фантазмагорией самой жизни»⁵¹.

Diabolus major — это, по Дравичу, проклятие XX века, дух тоталитаризма, воплощение истинного зла, «сатана перевернутых значений, игнорирования смысла всего предыдущего опыта человечества»⁵². Красноречивым примером этой «перевернутости значений» в судьбе Булгакова является хотя бы письмо В. Качалова, А. Тарасовой и Н. Хмелева А. Поскребышеву, в котором они просят адресата сообщить Сталину о смертельной болезни Булгакова в искренней (!) надежде на то, что тиран совершит чудо, которое вернет Булгакова к жизни. «Спокойным безумием»⁵³ называет Дравич состояние умов в сфере господства *diabolus major*.

Особый — Булгаковым возведенный в ранг неотъемлемой части художественного мира писателя — автобиографизм служит Дравичу естественным «началом координат» всей сложной системы переплетения истории, судьбы, творческой свободы и несвободы, испытаний, попыток борьбы и осмысления, отчаяния и, наконец, освобождения. В «Мастере и дьяволе» от автобиографизма как элемента художественного мира последовательно совершается переход к более широкому контексту (будь то «писатель и время», «художник и власть» или другое похожее противопоставление — Булгаков в любом случае ока-

⁴⁸ A. Drawicz. *Mistrz...*, s. 11–12.

⁴⁹ Там же, s. 12.

⁵⁰ Там же, s. 293.

⁵¹ Там же, s. 294.

⁵² Там же, s. 296.

⁵³ Там же, s. 297.

зывается идеальным для подобной оппозиции репрезентантом), причем переход этот осуществляется всегда мотивированно; обоснованием здесь служат биографические и исторические реалии, а средством — постепенно все более четко прорисовывающаяся фигура *diabolus major*, что лишний раз подчеркивает трагизм ситуации, в которой оказывается художник, — ситуации, по закону которой если не содержанием, то главным усилием жизни является попытка выдержать испытание жизнью — эксперимент, поставленный на человеке не миром или историей вообще, но конкретным режимом.

Дравич признается в том, что вся книга родилась по существу из ощущения присутствия *diabolus major* в современном мире; причины обращения к Булгакову ясны: писатель дал урок «школы отказа»⁵⁴. Урок этот, по Дравичу, преподан Булгаковым в «Мастере и Маргарите» и состоит в следующем.

Булгаковский «роман о дьяволе» — это «бенефис и великий парад»⁵⁵ *diabolus minor*, который, «будучи самой свободой и воплощением волюнтаризма, был впущен как *spiritus movens* со всеми своими суверенными правами в несвободную жизнь — чтобы сбылось и восторжествовало „черт подери“»⁵⁶. Однако, как утверждает исследователь, Булгакову было важно сделать акцент именно на том, что и *diabolus minor* не свободен (об этом свидетельствуют черновики, а главным образом одна из финальных сцен романа, где оказывается, что нынешние обличья свиты Воланда — наказание); связано это с ощущением присутствия *diabolus major*. Но человек освобождается сам, когда освобождает другого (Маргарита дарует свободу Фриде, мастер — Пилату). Этому смыслу романа Дравич в духе своего времени уделяет наибольшее внимание: «Система <...>, в которой Булгакову пришлось жить, перестает существовать. Отменяя ее, роман создает собственный мир, где перевернутые понятия возвращаются в нормальное положение, исчезает давление, под которым зло считается добром <...>. Антисоветский роман? Данная категория не имеет никакого отношения к „Мастеру и Маргарите“. Книга эта просто а с о в е т с к а я — так как не имеет ничего общего со всем тем, из чего состоит система, в рамках которой она формально появилась на свет. Книга эта одной собой уничтожает систему — тем, что говорит, и тем, о чем молчит. В ней особое поле непроизнесен-

⁵⁴ См.: A. Drawicz. Bulhakow czyli szkoła odmowy // Ibidem. Spór o Rosję. Warszawa, 1992, s. 161–175 (статья 1980 г.).

⁵⁵ A. Drawicz. Mistrz..., s. 287.

⁵⁶ Там же, s. 298.

ных слов и непоказанных вещей, тех, которых для Булгакова просто нет, нет даже как объекта для издевки»⁵⁷. Именно это, по Дравичу, А. Ахматова назвала «великолепным презрением».

Эпиграфом ко всей книге Дравич сделал слова Воланда, обращенные к Маргарите: «Все будет правильно, на этом построен мир», считая их главной заповедью главной булгаковской книги. В 1980 г. он обратился с ними к своим соотечественникам:

«А кроме того — все будет правильно. Это правда. Только неизвестно когда. Не сказано, что скоро. Но будет. И мир, будь он сколь угодно распатан, построен именно на этом. Верьте русскому писателю, у которого было много возможностей узнать это наверняка»⁵⁸.

«Мастер и дьявол» вышел в свет лишь в 1990 году. «Раны, нанесенные естественному процессу, не затягиваются бесследно, и книга эта <...> ни для автора, ни для читателя уже не может быть тем, чем была бы пятнадцать лет назад <...>. Нужно принять это во внимание, приступая к чтению „Мастера и дьявола“»⁵⁹, — пишет в рецензии на книгу Дравича В. Ворошильский, и высказанное им переживание понятно: пятнадцать лет в XX веке — это целая эпоха.

Однако — и это главное — книга имеет не относительную, а абсолютную ценность. «Мастер и дьявол» — не только книга о Булгакове, о его жизни и творчестве, особое переплетение которых рассмотрено сквозь призму прекрасной метафоры; это еще и важнейший документ «оптики восприятия» несвободного русского XX века, стремящейся к высвобождению Польшей, — документ, своим возникновением и тем, что состоялся, обязанный глубокой вере А. Дравича в то, что «все будет правильно, на этом построен мир». «Только, — как он любил добавлять, — еще не так скоро».

4. В 80-е гг. — годы выхода из подполья оппозиции и сосуществования ее с официальным режимом как реальной политической силы («Солидарность») — особенно значимой фигурой становится А. Солженицын. И, видимо, в первую очередь не столько Солженицын-писатель, сколько Солженицын как имя и символ вступления в открытую конфронтацию с тоталитарным режимом.

11 декабря 1981 г., в день рождения Солженицына, в Институте Восточнославянской филологии Ягеллонского университета начинает работу конференция «Лики России». На церемонии открытия было

⁵⁷ Там же, s. 329–330.

⁵⁸ Цит по: A. Drawicz. Spór o Rosję. Warszawa, 1992, s. 175.

⁵⁹ W. Woroszyński. Śmiech diabła...

зачитано письмо организаторов конференции автору «Архипелага ГУЛАГ», где говорилось о том, что в Польше «возрос интерес к России, ее истории, культуре и литературе. Поляки хотят увидеть образ Вашей Родины, отличный от того, который тенденциозно, упрощенно, с фальсификациями был представляем пропагандой. Немало было табуированных тем, которые официальная идеология считала ненужными, вредными, опасными. Сегодня ситуация изменилась»⁶⁰.

Согласно воспоминаниям очевидцев, «мало было в Кракове научных мероприятий, вызвавших такой большой интерес у общественности»⁶¹: переполненный актовй зал университета, толпы людей в коридорах и дверях во время выступлений знаменитых русистов и среди них, конечно же, А. Дравича.

Через несколько часов после закрытия конференции в Польше было введено военное положение, а Дравич, тогда уже член «Солидарности», в числе многих других деятелей неофициальной культуры — интернирован.

С этого момента (точнее, с октября 1982 г., которым датируется освобождение из лагеря) и до победы оппозиции на выборах 1989 г., одним из следствий которой стала отмена цензуры, Дравич публикуется в основном в нелегальных изданиях (*drugí obieg*), и одной из его постоянных тем в это время становится так называемая «вольная» (*wolna*) литература⁶² и в частности, Солженицын. В том, как Дравич истолковывает Солженицына, немало примет времени, т. е. высказанное Дравичем помогает понять и общую ситуацию польского восприятия современного русского писателя, ставшего живой легендой.

Итак, обращение организаторов конференции «Лики России» с письмом именно к Солженицыну более чем неслучайно: «Его значение для мира, в котором мы живем, — пишет в 1984 г. Дравич, — огромно, даже, наверное, беспрецедентно. <...> Он каждому, а прежде всего жителям свободного мира, дал понять, что такое современный коммунизм и какую смертельную опасность несет в себе вызов, брошенный тоталитаризмом»⁶³.

Многие, в том числе и писатели, по Дравичу, предостерегали человечество от этой угрозы, но только феномен Солженицына оказал-

⁶⁰ Цит. по: *Grz. Przebinda. Pielgrzym urzeczony. A. Drawicz — wspomnienie z lat 80 // Tygodnik Powszechny*, 1997, № 31.

⁶¹ Ibidem.

⁶² См., например: *A. Drawicz. Wolna literatura rosyjska. Warszawa*, 1986.

⁶³ Цит. по: *A. Drawicz. Węzły Aleksandra Sołżenicyna // A. Drawicz. Spór o Rosję. Warszawa*, 1992, s. 229.

ся по-настоящему убедительным, только его «Сумма против тоталитаризма»⁶⁴ (так Дравич истолковывает все написанное Солженицыным, понимая отдельные произведения как части единого целого) качественно изменила общественное сознание, и, несомненно, сыграла, может быть, не первую, но и далеко не последнюю роль в процессе ослабления «фальшивого сияния коммунистической идеи»⁶⁵.

Говоря об этой особой роли человека, создавшего понятие «узел», Дравич видит «главный узел»⁶⁶ судьбы самого Солженицына в убеждении, сформировавшемся задолго до появления «Архипелага ГУЛАГ»: то, что пережил он и страна, должно быть описано. Важным для Дравича является также и то, что, по Солженицыну, спасенная его жизнь — это дар Божий. Исключительность такого явления, как Солженицын, диктует необходимость рассматривать его жизнь и произведения как единый текст, наделенный, как считает Дравич, следующими чертами:

1. Ощущение особого предназначения.

Отсюда — пафос глашатая неоспоримых истин.

2. Сосредоточение на самом главном.

Главным, как это и должно быть в российской перспективе, в данном случае является нераздельность пережитого лично и того, что испытал весь народ. Сначала основным делом писателя было художественное исследование лагерного опыта (произведения по «Архипелаг ГУЛАГ» включительно), сменившееся впоследствии задачей более широкого масштаба — исследовать опыт исторический («Красное колесо», осознаваемое автором как дело всей жизни). Эту черту также можно назвать целеустремленностью.

3. Личный опыт как точка опоры.

4. Страсть к исследованию и документальности. Солженицын — реалист в лучшем значении этого слова: он достигает эффекта правды (равно как и самой правды) огромным усилием знания и стремления к документальной точности как в описании собственно истории, так и в исследовании еще не ставшей историей современности.

5. Энергия, динамизм⁶⁷.

Таким образом, сама материя солженицынской прозы предопределена зачастую сугубой функциональностью; вся она подчинена главному замыслу, и Солженицын «почти всегда доказывает или убежда-

⁶⁴ Там же, s. 230.

⁶⁵ Там же, s. 230.

⁶⁶ Там же, s. 220.

⁶⁷ Подр. см.: A. Drawicz. Węzły Aleksandra Solżenicyna..., s. 223–225.

ет, защищает или обвиняет»⁶⁸. На «чистую» литературу и незаинтересованное созерцание, как полагает Дравич, писатель осознанно не тратит времени, отпущенного ему судьбой. Это, с одной стороны, делает Солженицына-художника неровным и не всегда реализующим изначальные художественные задачи, но, с другой стороны, именно эта намеренная и последовательная функциональность определила ответственное Солженицыну место в деле уничтожения тоталитаризма.

Так, о символике «Ракового корпуса» (сам корпус — страна, болезнь — коммунизм в его нечеловеческом воплощении, самая опасная стадия заболевания — сталинизм — заканчивается, и каждый хочет жить, и жить по-новому, но густая тень болезни лежит на всем) и о желании автора придать произведению высший смысл, превратив раковый корпус в метафору заболевшего смертельной болезнью отечества, Дравич пишет: «Это намерение Солженицын реализовал только частично»⁶⁹.

Больничная тематика и метафора, к которым прибегает Солженицын, немедленно рождают сравнение с «Палатой номер 6», автор которой, как известно, отрицал присутствие в своем рассказе символического смысла, несомненного для большинства интерпретаторов. В отличие от Чехова, как считает Дравич, Солженицын, несомненно, хотел, чтобы его произведение было прочитано как большая метафора, и, может быть, именно эта изначальная установка помешала «идеально уравновесить все элементы значений»⁷⁰, как это было сделано в чеховском рассказе. Однако художественное несовершенство повести Солженицына (осознанное впоследствии и самим автором), по мнению Дравича, теряется на фоне эпохальности ее значения и того, что сам Солженицын считал важным: «Стране необходим шок осознанной правды, нести которую по воле Провидения призван он, писатель»⁷¹.

Кроме того, от «Ракового корпуса» тянутся нити к синтетической художественной формуле «Архипелага ГУЛАГ» — произведения, которое Дравич рассматривает как «исполненную миссию сопротивления» (название статьи об «Архипелаге ГУЛАГ») и, вопреки мнению самого автора, считает делом его жизни.

Ощущаемая Солженицыным обязанность представить по возможности полное свидетельство предопределила, как считает Дра-

⁶⁸ Там же, s. 225.

⁶⁹ A. Drawicz. Chory kraj, chorzy ludzie: co dalej? «Oddział chorych na raka» Aleksandra Solżenicyna // Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Kraków, 1993, s. 116.

⁷⁰ Там же, s. 103.

⁷¹ Там же, s. 116.

вич, выбор концепции «Архипелага» и общий смысл произведения: «Это должен был быть лагерный *Opus Magnum*, энциклопедия лагерной жизни — в самом широком смысле этого понятия, отвечающем определению мира за пределами лагерей как Большой Зоны. Следовало не только описать сам жестокий феномен, но и показать его <...> как в процессе возникновения, так и в сосуществовании <...> со всеми сферами общественной жизни. Затем: ГУЛАГ как следствие и синтез большевизма. А также: ГУЛАГ как ни с чем не сравнимое, гигантское преступление против человечества, совершенное в отношении народов Советского Союза. И наконец: ГУЛАГ как особой силы попытка спровоцировать разложение отдельной личности и общества в целом, единственный в своей жестокости эксперимент по уничтожению, позволяющий поставить принципиальный вопрос: сколько человек может и должен вынести» ⁷².

Организирующим началом в том сложном жанровом образовании, каким является «Архипелаг ГУЛАГ», может считаться постоянное присутствие авторского голоса, звучащего всегда в высшей степени напряженно, и в этом Солженицын идет наперекор всем сложившимся нормам. Повышенная эмоциональность считалась заранее исключенной как надрызг, неизбежно чреватый фальшью, — такой Дравич видит традицию писавших о лагерях, палачах и жертвах Т. Боровского, В. Шаламова и других: «Чтобы представить преступление тоталитаризма, самого большого зла нашего века, авторский голос должен был присутствовать в произведении как можно более сдержанно» ⁷³ — нет ли в этом парадокса? В контексте этой традиции художественный риск, на который идет Солженицын, не боясь пафосности, является беспрецедентным: «Используя всю существующую эмоциональную партитуру, Солженицын делает материал ГУЛАГа субъективным, как бы умножая его на собственную судьбу и видение мира. Это огромная смелость и свобода» ⁷⁴. В результате, как констатирует Дравич, ни одна из книг XX века не повлияла с такой силой на состояние умов читателей и в итоге не содействовала перемене хода истории.

Принципиальной была и убежденность Дравича в том, что, хотя Солженицын принадлежит русской культуре, значение сделанного

⁷² A. Drawicz. Spełniona misja sprzeciwu. «Archipelag GULag» Aleksandra Solżenicy-na // Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Kraków, 1993, s. 121–122.

⁷³ Там же, s. 125.

⁷⁴ Там же, s. 126.

им не знает географических границ и особенно важно оно для стран, прошедших через опыт тоталитарного режима, в частности, для Польши: «К счастью, существует некая традиция, некая эстафета, передаваемая российской интеллигенцией. Это эстафета независимо-сти мышления, интеллектуального сопротивления, заботы о делах общества, роли судьи, защитника и, если потребуется, обвинителя. Все это, правда, начал разрушать большевистский режим, но, к счастью, не уничтожил окончательно, потому что иначе у н а с (разрядка моя. — Н. С.) не было бы Солженицына»⁷⁵.

5. На протяжении всей жизни Дравича интересовала проблема механизмов существования (выживания) культуры вообще и литературы в частности в условиях так называемого «реального социализма» (симптоматичен в этой связи последний, оставшийся неосуществленным, творческий замысел критика — написать фундаментальный труд под условным названием «Большевизм и русская литература»). Дравич полагал, что на так называемую «русскую советскую литературу» следовало бы смотреть как на «подверженное беспрестанному давлению поле битвы этой литературы за свою свободу и возможность выполнять собственные задачи»⁷⁶, иначе невозможно будет понять закономерности ее развития и феномен существования. Такая точка зрения во многом определила предложенную Дравичем еще в начале 90-х гг. периодизацию русской литературы XX века⁷⁷:

1. 1895–1929 (литература нормальности и пошатнувшейся нормальности);

2. 1929–1953 (литература в неволе);

3. 1953–1985 (литература освобождения и отмежевания);

4. с 1986 (освобожденная литература).

Два периода (1917–1921 и 1941–1945) могут считаться временем «чрезвычайного положения».

Примечательно, что в «Истории русской литературы XX века» под редакцией А. Дравича, вышедшей в свет в 1997 году⁷⁸, периодизация та же, «не сохранились» только условные названия периодов (не исключено, что в конце 90-х гг. их пафосность, естествен-

⁷⁵ Przeskoczyć komunizm. Z A. Drawiczem rozmawia Z. Skrok // Nowe książki, 1991, № 1, s. 1.

⁷⁶ A. Drawicz. Nowe czasy, nowe kłopoty, nowe nadzieje. Propozycje pod rozważę // Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. Warszawa, 1992, s. 13.

⁷⁷ Там же, s. 13.

⁷⁸ Historia literatury rosyjskiej XX wieku / Pod red. A. Drawicza. Warszawa, 1997.

ная и понятная в начале десятилетия, показалась автору неуместной или вообще излишней).

Несомненно, этот — оказавшийся последним — труд Дравича является не просто ценнейшим историко-литературным исследованием, но своего рода итогом создававшейся на протяжении нескольких десятилетий «польской» истории русской литературы, тем документом «оптики восприятия», без которого представление о польской рецепции русской литературы советского периода было бы неполным; однако работы Дравича 60-х — 80-х гг. от вполне академической «Истории...» отличает неповторимое (и бесценное для компаративиста) «присутствие эпохи», и потому они наиболее репрезентативны, если вести речь о польско-русском диалоге.

Указатель имен

- Аверинцев С. С. — 166
Айги Г. — 181, 188, 196
Аксаков И. С. — 128, 130, 159
Аксаков К. С. — 104
Аксенов В. П. — 210
Александр I, рос. имп. — 19, 89, 122
Александр II, рос. имп. — 44, 129, 143
Альберт Великий — 66
Амальрик А. — 181, 182
Андерс Вл. — 19, 51, 207
Анджеевский Е. — 193, 194
Андреев Л. — 34, 172
Андреевская В. Д. — 111
Аптекарь П. А. — 206
Апухтин — 49
Аристотель — 66, 75
Астафьева Н. — 189, 190, 191, 198
Ахмадулина Б. — 210, 212
Ахматова А. А. — 179, 212, 223
- Байрон Дж. Н. Г. — 92, 125
Бальцежан Э. — 185, 189
Баран Х. — 170
Бараньчак С. — 178
Барбье О. — 76
Барт Р. — 211
Белинков А. — 181
Белый А. — 167
Бенкендорф А. Х., гр. — 80
Берия Л. П. — 201
Берггольц О. А. — 186
Бердяев Н. А. — 34, 156, 157, 160, 161, 172-175
Бестужев А. — 98
Бжозовский С. — 40, 42-44, 46, 47, 50, 51
Бжозовский Т. — 196
Битов А. — 210
Блок А. А. — 173-175
Блоньски Я. — 185
Блют Р. — 97
Бобжиньский М. — 41
Бобышев Д. — 188
Богомоллов В. — 210
Богров Д. — 143
- Божидар — 195
Бокль Г. Т. — 41, 43
Боков В. — 189
Большаков К. — 195
Бонаккорси Ф. — 86
Бонхеффер Д. — 62
Боровский Т. — 227
Бродский И. А. — 177, 178, 180-183, 185, 188, 191, 195, 208, 212
Бронеvский В. — 46, 47
Брун Ю. — 46
Бруни Л. — 66
Брыль Э. — 190, 194
Брюсов В. Я. — 171, 174
Бугай Н. Ф. — 201
Буковский В. — 181, 183
Булгаков М. А. — 180, 212, 214, 219-223
Булгаков С. Н. — 156
Бунин И. А. — 34
Бурич В. — 189, 191, 196
Буховицкий А. — 116, 117, 119
Бялокозович Б. — 103, 155, 210
- Вайда А. — 193
Валицкий А. — 51, 163
Василий II (Темный), вел. кн. моск. — 56
Василий III, вел. кн. моск. — 70
Ват А. (С. Берггольц) — 45, 46, 178
Вацлав-Вячеслав (св. Вацлав), чешск. король — 168
Вачков — 189
Введенский А. — 210
Введенский Арс. — 130
Вебер М. — 38
Великодная И. Л. — 122
Велопольский А. — 28, 46
Велопольский В., гр. — 136
Вениамин, домин. монах — 72
Веселовский А. — 156
Видаха Я. — 156, 158
Визель Э. — 62
Вирпша В. — 197
Висковатов П. — 156

- Виткаций — 194
Витте С. Ю., гр. — 138, 144
Владимов Г. — 183, 212
Влодковиц П. — 66
Вознесенский А. — 212
Войнович В. — 180, 182, 183
Волошин М. — 210
Вольтер (М. Ф. Аруэ) — 18
Вордсворт У. — 94
Воронич Я. П. — 90
Ворошильский В. — 181, 189, 195, 216, 219, 223
Воячек — 188
Выка К. — 185
Высоцкий В. С. — 197
Выходцев П. — 210
Вяземский П. А., кн. — 93, 105, 120–125
Гайденок П. П. — 197
Галич А. А. — 182
Галчинский К. И. — 191
Гегель Г. В. Ф. — 161
Гедройц Е. — 51, 176, 177
Гелескул А. — 191
Геллер М. — 177, 181
Гельгуд, ген. — 114
Геннадий, архиеп. новг. — 72
Герек Э. — 47
Герлинг-Грудзинский Г. — 51, 176, 178
Герман А. — 197
Герцен А. И. — 93, 94, 100, 128
Гершензон М. И. — 166
Гессен С. — 105
Гете И. В. — 76
Гжегож, архиеп. крак. — 65
Гжешак М. — 189
Гидини К. — 165
Гиппиус З. Н. — 156
Гитлер А. — 22, 48
Глинка Кс. — 136
Глинка М. И. — 173
Глюзиньски Т. — 196
Гоголь Н. В. — 34, 51, 93, 220
Голиков — 76
Голявкин В. — 188
Гомбрович — 194
Гомер — 194
Горбаневская Н. — 177, 178, 181, 183
Горбовский Г. — 210
Горланов О. А. — 203
Грабовецки С. — 185
Грабовский, гр. — 78
Грабский В. — 145
Грабский С. — 28
Греч Н. И. — 100, 101
Григорьев А. А. — 131
Гробский В. М. — 210
Гроховяк С. — 189
Губайдулина — 197
Гуревич А. Я. — 87, 171
Гуро Е. — 195
Гурьянов А. Э. — 203, 204, 206
Гутьяр Н. М. — 126
Давыдов Ю. — 197
Даль В. И. — 108
Данилевский Н. — 103
Данте — 94
Деймек — 193
Демарчик Е. — 197
Демосфен — 66
Денисов — 197
Джойс Дж. — 195
Дзеконский (Дзяконский), ген. — 112, 113, 115
Дзержинский Ф. Э. — 36, 50
Димитрий Иоаннович (Донской), вел. кн. моск. — 70
Длугош Я. — 65
Дмитриев М. В. — 69
Дмовский Р. — 138–142, 145
Добецкий Е. — 136
Довлатов С. — 183
Доманьски Ю. — 67
Домбровская М. — 49, 51
Домбровский В. — 188
Домбровский Ю. — 210, 219

- Домбровский Я. Х. — 24
Домбровский, ген. — 114
Достоевский Ф. М. — 34, 36, 42, 43, 50, 62, 132, 165, 169, 220
Дравич А. — 51, 110, 181, 182, 190, 208-229
Друцкий-Любецкий, кн. — 46
Дроздовский — 190
Дуда К. — 183
Дудек А. — 183
Дьяконов М. — 70
Дю Бо Ш. — 169
- Егоров Б. Ф. — 163
Езерский, гр. — 78-81
Екатерина II, рос. имп-ца — 27, 89, 95
Елисеева Н. Е. — 206
Ельцын Б. Н. — 34
Ермолов А. — 141
Ерофеев Вен. — 177, 181, 212
Ефремова Н. — 71
- Желтковский, ген. — 113
Жеромский С. — 39-44, 46, 49
Жолковский А. К. — 150
Жуковский В. А. — 87, 103-105, 107, 108, 121, 122, 125
Жулковский С. — 47
- Заборовский С. — 68
Зайцева О. А. — 206
Залуцкий А. — 12
Замойский А. — 125
Замойский М. — 145
Зверев И. — 208
Здзеховский М. — 50, 155-161
Зелинский Я. — 177
Зиновьев А. — 180, 181, 182
Зощенко М. М. — 220
- Иван II, вел. кн. моск. — 70
Иван III, вел. кн. моск. — 70, 71, 72
Иван IV (Грозный), русск. царь — 34, 70, 71, 72, 74, 86, 186
- Иванов Вяч. — 162-170, 172-175
Ивашкевич Я. — 51, 193
Игнатьев И. — 195
Ильюшина М. Г. — 110
Иоанн XXIII, папа римск. — 56
Иоанн Павел II, папа римск. — 56, 58, 169
Иосиф Волоцкий, иг. — 72
Иодковский Э. — 186
Исидор, митр. — 56
Искандер Ф. — 219
- Кавалерович Е. — 193
Казаков Ю. — 210
Казимир Великий, польск. король — 65
Каменский В. — 195
Каменьска А. — 189
Каминьский А. — 39
Камознс Л. — 94
Камю А. — 195
Кандинский В. В. — 196
Каневски М. — 177, 178
Карамзин Н. М. — 41, 43, 86-89
Карл Великий, имп. — 55
Карпович Т. — 188
Кассирер — 198
Катков М. Н. — 127, 128, 159
Кафка Ф. — 195
Качалов В. — 221
Киреевский И. В. — 158
Кирилл Туровский — 190
Кириллов Н. — 103
Клюшников В. П. — 126
Ковальска Х. — 183
Козел У. — 185, 189
Козинцев Г. — 212
Козловски Л. — 162
Коковцев В. — 143
Кокурин А. — 203
Колаковский — 197, 198
Коллонтай Х. — 47
Кольбе М. — 62
Комаровский Е. Е., гр. — 105
Конарский Ш. — 115

- Конецкий В. В. — 210
Конрад Дж. — 49
Константин Великий (св. Константин),
виз. имп. — 52, 66, 73
Конэчны Ф. — 70
Копелев Л. — 183
Коперник М. — 169
Корвин-Милевский И. — 146
Коржавин Н. — 212
Косиков Г. К. — 211
Коссак-Щуцкая З. — 45
Костюшко Т. — 24, 43, 44, 174
Котт Я. — 47
Кохановский Я. — 185, 190
Красинский В., ген. — 112, 123
Красинский З. — 23
Красицкий И. — 121
Крестовский Вс. В. — 126
Круковецкий, ген. — 113, 115
Крученых А. — 195
Крылов И. А. — 43
Кукольник Н. — 108, 109
Кунински М. — 182
Курбский А., кн. — 75, 86
Куронь Я. — 213
Кутузов М. И. — 80
Кухажевский Я. — 45
Кушнер А. — 192, 210, 212
Кюхельбекер В. К. — 108
- Лавров П. Л. — 43
Лазарев Л. — 190
Латкин В. — 71
Лашкевич Ф. — 118
Лебедева Н. С. — 202
Левик В. — 99
Левитанский Ю. — 212
Левитин-Краснов А. — 181
Ледницкий В. — 51, 89, 97, 106
Лелевель И. — 97
Лем С. — 194
Ленин В. И. — 35, 161, 178, 198
Лермонтов М. Ю. — 43, 102, 103, 106,
107
- Лесков Н. С. — 126, 127, 129-132
Лец Ст. Е. — 190
Лещиньский Р. — 69
Либурска Л. — 183
Липатов А. В. — 21, 23, 28, 86, 90
Литвинюк — 189
Лободовский Ю. — 178
Лужны Р. — 182
Лукаевич — 189
Лунин М. С. — 94
Любецкий, кн. — 78, 79, 80
Лютославский — 197
- Мадзиак-Мишевская А. — 30
Маккиавелли Н. — 67, 68
Максим Грек — 75
Максим Триволис — 75
Максимов В. — 180-183
Макульский Ф. — 30
Малевич К. С. — 196
Мальковати Ф. — 165
Мандельштам Н. Я. — 212
Мандельштам О. Э. — 34, 179, 195, 209,
212
Маритен — 198
Маркевич Г. — 176
Маркс К. — 161
Маркушевский Е. — 213
Мархлевский Ю. — 36
Матвеева Н. — 210
Мацкевич Ю. — 45, 46
Маяковский В. В. — 212, 214-219
Мейендорф И., прот. — 70
Мейерхольд Вс. Э. — 212
Менкин Е. — 140
Мень А., прот. — 62
Мережковский Д. С. — 156
Мерошевский Ю. — 48, 49, 51
Метнер Э. К. — 167
Метченко А. — 215
Милова О. Л. — 206
Милош Ч. — 38, 51, 178, 182, 191
Милютин Н. — 135
Мирославский Л. — 80

- Михаил Керулариос (Керуларий), конст. патр. — 54, 55
 Михаил Палеолог, виз. имп. — 56
 Михайлов М. — 43
 Мицинский Т. — 162, 163
 Мицкевич А. — 10, 23, 31, 36, 39, 43, 76, 77, 85, 87-89, 92-99, 102, 121, 163, 164, 168, 169, 174, 194
 Мнишек М. — 174
 Модзалевский Л. — 105
 Моисей, прор. — 53
 Молотов В. М. — 22, 143
 Моравский Ф. — 120-125
 Моравский, ген. — 112
 Мориц Ю. — 210, 212
 Морозинский О., ген. — 112
 Мохнацкий М. — 43
 Мрожек С. — 194
 Муравьев М. — 135, 140
 Мусоргский М. П. — 173
 Мышкин И. — 43
 Мюльберг, ген. — 112
 Мякотин В. — 139

Нагаев И. М. — 206
 Наполеон I — 27, 83, 89
 Нарушевич А. — 87
 Наумов Е. — 215
 Неведенский С. — 128
 Неверли И. — 51
 Некрич А. — 177, 181
 Неселовский Кс., ген. — 112
 Нечаев С. — 43, 50
 Нибур Н. Р. — 74
 Николай I, рос. имп. — 78, 80, 89, 93, 109, 148, 150, 151, 153, 185, 187
 Николай II, рос. имп. — 136
 Николай Николаевич, вел. кн. — 144, 162
 Новак Т. — 189, 192, 198
 Норвид Ц. — 23, 188, 194

Одоевский А. И. — 94, 103
Ожеховский С. — 69
 Окуджава Б. Ш. — 180, 212
 Олейников Н. — 210
 Ольбрыхский Д. — 194
 Оруэлл Дж. — 195
 Оссолинский Х. — 69
 Остроруг Я. — 65, 67

Падеревский И. — 139
 Паперно И. М. — 127
 Паршов И. — 103
 Пастернак Б. Л. — 34, 180, 195, 212
 Паустовский К. Г. — 210
 Пендерецкий — 197
 Пересветов — 75
 Петников Г. — 195
 Петр I, рос. имп. — 25, 77, 81, 82, 89, 95
 Петр, ап. — 53
 Петрарка Ф. — 94
 Петров Н. В. — 201, 202
 Петровых М. — 212
 Петшак Я. — 197
 Петшицка-Бохосевич К. — 183
 Пигарев К. — 165
 Пигонь Ст. — 102
 Пикассо П. — 197
 Пименов Р. — 187
 Писарев Д. И. — 127
 Писемский А. Ф. — 128, 131
 Платон — 75
 Платонов А. — 212
 Полевой Н. — 109
 Поллак С. — 189, 195
 Помян Е. — 197
 Помяновски Е. — см. Каневски М.
 Понятовский Ю. — 24
 Посвятовская Г. — 189
 Поскребышев В. — 221
 Поуп А. — 76, 77
 Пумпянский Л. В. — 76
 Пушкин А. С. — 20, 23, 24, 26, 43, 76, 77, 80-83, 85, 86-89, 91-94, 96-100, 103, 106, 107, 164, 171, 220
 Пшебинда Г. — 182, 213
 Пшибыльский Р. — 51

- Пшибышевска — 193
Пыпин А. Н. — 19, 156
- Радзивилл В. (?)**, кн. — 125
Разны А. — 182, 183
Редель, ген. — 113
Рейн Е. — 188
Рембек С. — 51
Ремизов А. М. — 220
Риббентроп И. — 143
Розен Е. — 108
Рокоссовский К. — 50
Робинсон А. — 71
Рогинский А. Б. — 201-203
Родченко А. — 219
Роланд, полк. — 113-115
Романовский А. — 213
Романус И. В. — 117
Россет А. О. — 93
Рублев А. — 34, 190
Рудзевич И. — 182
Ружевиц Т. — 186
Рутъе А., полк. — 114
Рылеев К. Ф. — 98
Рымкевич Я. М. — 34, 189
- Сазонов С.** — 144
Салиас де Турнемир Е. А., гр. (Евгения Тур) — 130
Салтыков-Щедрин М. Е. — 34
Самаев М. — 191
Самойлов Д. — 186, 187, 189, 192, 210, 212
Сапов В. — 167
Сахаров А. Д. — 31, 35
Сенкевич Г. — 89
Сенницкий М. — 69
Сергеев А. — 191
Сергий Радонежский, св. — 70
Сигизмунд-Август, польск. король — 68
Силард Л. — 165
Синявский А. (А. Терц) — 177, 178, 180
Скобцова М. — 62
Скочински Я. — 156
- Скрябин А. Н. — 169
Слободник — 189
Словацкий Ю. — 23, 168, 169
Слонимский А. — 189
Слуцкий Б. — 186, 187, 192, 194, 210, 212
Смит Ф. — 83
Солженицын А. И. — 31, 34, 177, 178, 180, 182, 183, 214, 223-228
Соловьев Вл. С. — 34, 155-157, 159, 160, 162, 175
Соловьев С. М. — 70
Сологуб Ф. К. — 220
Софья Палеолог — 70
Соснора В. — 188, 196
Спасович А. — 46
Спевак Я. — 189
Срочиньский Р. — 210
Ставар А. — 46
Сталин И. С. — 22, 48, 189, 201, 221
Станислав из Скарбимежа — 67
Стафф Л. — 190
Стахеев Б. Ф. — 191
Стахура Э. — 188
Стемповский Е. — 51, 178
Стерн А. — 189
Столыпин А. П. — 143
Столыпин П. А. — 141-143
Страхов Н. Н. — 130
Стромилов С. — 103
Стрыйковский — 194
Суворов А. В. — 107, 108
Суворов В. — 177
Сумкин, купец — 111
Суханек Л. — 182, 183
Сухо-Кобылин А. В. — 220
- Тарасова А.** — 221
Тарковский А. — 190, 210, 212
Татаркевич В. — 66
Тейяр де Шарден — 198
Тереза (мать Тереза) — 62
Терлецкий В. — 51
Тертуллиан — 53

- Терц А. — см. Синявский А.
Толстой Л. Н. — 34, 51, 129, 130, 132,
147-150, 153-157, 160
Томас Д. — 195
Томицкий, ген. — 112
Томицкий, еп. — 68
Трифонов Ю. Н. — 210
Трубецкой Г. Н., кн. — 144, 156
Трубецкой Е. Н., кн. — 156
Трубецкой С. Н., кн. — 156
Тур Е. — см. Салиас де Турнемир Е. А.
Тургенев А. И. — 121
Тургенев И. С. — 34, 127, 132
Тхоржевский С. — 188
Тюрин И. А. — 110, 116
Тютчев Ф. И. — 29, 103, 104, 107, 165,
171, 187

Уитмен У. — 191
Уэллек Р. — 176
Уоррен О. — 176
Успенский И. В. — 206
Уткин А. — 100
Уфлянд В. — 188

Философов Д. — 51
Филофей — 72
Флоровский Г., прот. — 72
Фрейтаг Г. — 37

Ханушкевич А. — 194
Харасымович Е. — 189
Хармс Д. А. — 210
Хеллман Б. — 170
Хемпель Я. — 46, 47
Херберт З. — 192
Херц — 47
Хитрово Е. М. — 80, 93, 94
Хлебников В. — 195, 209, 212
Хлопицкий, ген. — 78, 79
Хмелев Н. — 221
Хмельницкий Б. — 86
Хейзинга Й. — 72
Хомяков А. С. — 104, 108, 156, 158, 159

Хорев В. А. — 191
Хумберт, кардинал — 55
Хурка — 49

Ц
Цветаева М. И. — 179, 209
Целков О. — 196
Цехновицер О. — 170
Цицерон — 66, 75, 166
Цыбенко Е. З. — 103

Ч
Чаадаев П. Я. — 20, 76, 82, 90-92, 100
Чапский Ю. — 51, 176
Черкасский В. — 135
Чернышевский Н. Г. — 127, 128, — 131
Черторынский А. Е. — 28
Чехов А. П. — 34, 226
Чижевский, ген. — 112
Чич С. — 185, 189
Чичерин Б. Н. — 159
Чупринин С. — 186

Ш
Шажиньски С. — 185
Шайна — 194
Шайтанов И. О. — 76
Шаламов В. — 34, 181-183, 227
Шафф — 47
Шебеко И. — 146
Шекспир У. — 94
Шестов Л. — 34
Шишков А. — 103, 108
Шкловский В. — 150, 210
Шлатер А. — 125
Шнитке А. — 197
Шопен Ф. — 23, 169
Шпенглер О. — 83
Штамп С. — 71
Шукшин В. М. — 180, 210
Шульц Б. — 194

Щ
Щебальский — 130
Щукин В. — 212

Э
Эджертон В. — 127
Энгельс Ф. — 161

- Эппель А. — 191
Эренбург И. Г. — 187
Яблоновский В. — 142
Baczko B. — 18, 85
Białokozowicz B. — 103, 147, 155
Braudel F. — 87
Brzostowski T. — 72
Chwin S. — 30
Ciosek St. — 213
Czerkawski J. — 66
Danilewicz-Zielińska M. — 177
Davies N. — 66
Dmowski R. — 136, 139, 141
Doktor G. — 200
Domański J. — 66, 67
Drawicz A. — 181, 184, 208, 210, 212, 214-219, 221-228
Duda K. — 183
Dudek A. — 166
Dziadek A. — 177
Edwards D. — 85
Fedecki Z. — 213
Fentress J. — 18, 85
Glinka K. — 136
Głowiński M. — 176
Grabski A. F. — 90
Grodzińska St. — 213
Grzegorzczak P. — 147
Hall A. — 213
Huisinga J. — 72
Janion M. — 91
Kalita Z. — 74
Karpiński W. — 19
Ядвига, польск. королева — 65
Ярослав Мудрый, русск. кн. — 70
Ясперс К. — 84
Яструн — 47
Kądziela Ł. — 30
Kepiński A. — 19
Klimowicz T. — 183
Koenig J. — 212
Koneczny F. — 70
Korwin-Milewski H. — 141
Kostkiewiczowa T. — 176
Kowalik J. — 177
Kraushar A. — 121
Kucharska E. — 103
Kuderowicz Z. — 163
Kułakowski M. (J. Zieliński) — 138, 139
Kuroń J. — 21
Kuryłowicz M. — 69
Lazari A. — 19
Lednicki W. — 89, 106
Lipatow A. W. — 22
Lipińska O. — 213
Litwinow J. — 183
Łaptos J. — 18, 85
Łużny R. — 155, 162
Markuszewski J. — 213
Mencwel A. — 42
Middleton D. — 85
Mirowski L. — 81
Naumow A. — 69
Niebuhr N. R. — 74
Ochman J. — 70
Okopień-Sławińska J. — 176
Orłowski J. — 19, 101, 162
Olszewski J. — 33
Pawelec A. — 74

Pigoń St. — 102
Piltz E. — 136
Piłat W. — 183
Podhorski K. — 200
Podraza-Kwiatkowska M. — 163
Pomianowski J. — 213
Popiński K. — 203
Poręmba G. — 184
Poręmba S. — 184
Przebinda Grz. — 213, 224

Radoń S. — 69
Romanowski A. — 213
Rymkiewicz J. M. — 33

Skoczyński J. — 155, 156
Skrok Z. — 228
Sławiński J. — 176, 181
Staliś T. — 200
Stefanowska Z. — 28
Suchanek L. — 181, 183
Szacka B. — 18, 85

Szwarc A. — 146

Tazbir J. — 86
Tokarczyk R. — 69
Tynecki J. — 163

Walichnowski T. — 200
Walicki A. — 19, 86, 163
Wieczorkiewicz P. — 146
Wickham C. — 18, 85
Widacha J. — 155, 156
Wołodźko A. — 183
Wojniłowicz E. — 136, 141
Woroszyński W. — 178, 216, 219, 223
Wójcik J. — 213

Zieliński J. — 177
Zimand R. — 181

Żmigrońska M. — 91
Żółkiewski S. — 176

Научное издание

**Поляки и русские:
взаимопонимание и взаимонепонимание**

Издательство
«Индрик»

117218, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 34

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Подписано в печать 03.10.2000 г. Формат 60×90 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1
Печ. л. 15,0 Тираж 1000 экз. Заказ № 6440
Отпечатано с оригинал-макета
в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, д. 403.
Тел. 554-21-86

